

## Annotation

Чонкин жил, Чонкин жив, Чонкин будет жить!

Простой солдат Иван Чонкин во время Великой Отечественной попадает в смехотворные ситуации: по незнанию берет в плен милиционеров, отстреливается от своих.

Кто он?

Герой самой смешной политической сатиры советской эпохи. Со временем горечь политического откровения пропала, а вот до слез смешной Чонкин советскую власть пережил!

Впервые – в новой авторской редакции!

---

- [Владимир Войнович](#)

- [Часть первая](#)

- [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
    - [12](#)
    - [13](#)
    - [14](#)
    - [15](#)
    - [16](#)
    - [17](#)
    - [18](#)
    - [19](#)
    - [20](#)
    - [21](#)
    - [22](#)

- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)

○ [Часть вторая](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)

- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)

- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)

- [notes](#)

- [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
-

**Владимир Войнович**  
**Претендент на престол**

**Часть первая**

**От тюрьмы да сумы...**

*Нач. АХО тюрьмы № 1  
т. ТИМОФЕЕВУ С. П.*

*Для помыва з/к Чонкина И.В. прошу Вашего распоряжения о выдаче мыла хозяйственного – 20 гр.*

*Ст. надзиратель ПОТАПОВ*

*Зав. складом т. КУДЕЯРОВОЙ*

*Выдать для помыва з/к Чонкина мыла жидкого  
15 гр.*

*ТИМОФЕЕВ*

*Заведующей баней № 1  
Долговского райкоммунхоза  
т. ФРУКТ*

*Прошу обеспечить санобработку и помыв з/к  
Чонкина с выделением для этой цели воды горяче-  
холодной не менее 8 (восьми) шайко-объемов.*

*Нач. АХО тюрьмы № 1*

### **СПРАВКА**

*Чонкин И. В. санобработку прошел.*

*Завбаней С. ФРУКТ*

**ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  
КАМЕРЕ № 1 ТЮРЬМЫ № 1**

1. Нары простые деревянные – 3 яруса
2. Табуретка простая деревянная – шт. 1
3. Судно канализационное деревянное (параша)  
– шт. 1

*Ст. надзиратель ПОТАПОВ*

*Примечание. Лица, виновные в  
предумышленной порче, или порче по  
неосторожности, или в иных действиях, которые  
могли бы привести к порче социалистического  
имущества, будут нести ответственность по  
законам военного времени.*

*Командиру войсковой части  
полевая почта № 249814  
Срочно, секретно*

*4 сентября в селении Красное арестован по  
обвинению в дезертирстве военнослужащий вашей  
части рядовой Чонкин И. В. При аресте у  
обвиняемого изъята винтовка Мосина образца  
1891/30 г. и патроны к ней в количестве – шт. 4.  
Прошу срочно сообщить, когда, при каких  
обстоятельствах обвиняемый скрылся из части с  
приложением личной характеристики.*

*ВРИО начальника*

*отдела НКВД*

*Долговского района*

*лейтенант ФИЛИППОВ*



*ВРИО начальника  
отдела НКВД  
Долговского района  
лейтенанту ФИЛИППОВУ  
Срочно, секретно, со спецкурьером*

*В ответ на ваш запрос сообщаяю: рядовой Чонкин Иван Васильевич был направлен в селение Красное для несения караульной службы по охране самолета «У-2» 634805321, потерпевшего аварию и совершившего вынужденную посадку вблизи указанного населенного пункта. При себе имел винтовку Мосина образца 1891/30 года и патроны к ней в количестве шт. 20.*

*В результате вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз часть получила задание спешно перебазироваться в район военных действий. В связи с невозможностью своевременного отзыва рядового Чонкина к месту службы последний зачислен в списки пропавших без вести. Вместе с тем авторитетная комиссия в составе подполковника Опаликова С.П. (председатель), техника-капитана Кудля Ю.И. и старшего моториста сержанта Чебурданидзе А.Г., изучив соответствующую документацию, пришла к заключению, что указанный летательный аппарат подлежит списанию ввиду полной выработки им самолета – и моторесурса (акт заочной технической экспертизы прилагается).*

*Полностью доверяя органам следствия, командование части просит сообщить окончательное решение по делу Чонкина И.В.*

*Командир войсковой части*

*полевая почта № 249814*

*п/полковник ПАХОМОВ*

## **ХАРАКТЕРИСТИКА**

*Рядовой Чонкин Иван Васильевич, 1919 года рождения, русский, холостой, беспартийный, образование незаконченное начальное, проходил службу в войсковой части № 249814 с ноября 1939 года, исполняя обязанности ездового. Во время прохождения службы отличался недисциплинированностью, разгильдяйством, халатным отношением к своим служебным обязанностям. За неоднократные нарушения воинской дисциплины и несоблюдение Устава РККА имел 14 взысканий (впоследствии снятых).*

*Обладая низким образованием и узким кругозором, на занятиях по политической подготовке проявлял пассивность, конспекта не вел, слабо разбирался в вопросах текущей политики и теоретических положениях научного коммунизма.*

*Общественной работой не занимался.*

*Политически выдержан, морально устойчив.*

*Командир в/ч п/п № 249814*

*п/полковник ПАХОМОВ*

*Комиссар части*

*ст. политрук ЯРЦЕВ*

*Начальнику управления НКВД*

*по ...ской области*

*подполковнику тов. ЛУЖИНУ Р.Г.*

*В ответ на Ваш запрос (исх. № 014/209) сообщаю: ордер на арест Чонкина И.В., обвиняемого в дезертирстве, был выписан на*

*основании заявления за подписью «жители д. Красное» бывшим начальником нашего учреждения капитаном Милягой А.П. и санкционирован райпрокурором т. Евпраксеиным П.Т.*

*Во время ареста обвиняемый при содействии своей сожительницы Беляшовой А. оказал вооруженное сопротивление, в результате которого сержант Свинцов получил тяжелое ранение.*

*Капитан Миляга, прибывший к месту происшествия позднее, затем бежал и погиб при не выясненных пока обстоятельствах.*

*В настоящее время преступник захвачен и содержится под стражей в тюрьме № 1 города Долгова. Прошу дальнейших указаний.*

*Лейтенант ФИЛИППОВ*

– Давай, вали дальше! – потребовали сверху.

– Дальше-то? – Чонкин задумался.

Вся камера № 1 возбужденно ждала продолжения.

Время было – после отбоя. Чонкин лежал на средних нарах между блатным пареньком Васей Штыкиным по прозвищу Штык и паном Калюжным, пожилым дядькой с вислыми усами.

Чонкин пытался собраться с мыслями, его торопили, сбивали с толку, кричали снизу и сверху: «Ну телись же ты, падло!», словно он был коровой.

– Ну вот, – сказал он, поправляя под собой шинель, – сижу, значит, я с пулеметом в кабинке, Нюрка хвост заворачивает, бутылки летят, а эти кричат «сдавайся!» А как же сдаваться, я ж не могу, я на посту, мне ж не положено. И тут вдруг что-то ка-ак сверканет, и так у меня в голове все поплыло, и сделалось так хорошо, и дальше ничего не помню, лежу как мертвый.

Вся камера притихла, как бы почтив молчанием память Чонкина, а пан Калюжный, лежа на спине, быстро перекрестился и сказал тихо: «Царствие небесное».

– Ну вот, – помолчав, продолжал Чонкин, – очинаюсь это я, значит, в животе бурчит, башка будто чужая, открываю глаза и вижу передо мной...

– Черт, – подсказал кто-то снизу, но на него цыкнули, и он умолк.

– Не черт, – поправил Чонкин, – а генерал.

– Ха-ха, генерал, – засмеялись уже наверху. – А может, маршал?

– Закрой хлебало! – оборвали и этого.

– Закрой, – сказал и Чонкин. – Ну вот. Я и сам сперва не поверил и говорю: «Нюрка, это же генерал». А он мне: «Да, – говорит, – сынок, я и есть, – говорит, – генерал». Ну, я встаю, калган гудит, но, как положено, пилотку поправил, руку к виску... – Чонкин приподнялся на локте и, как бы вытягиваясь перед воображаемым начальством, на всю камеру прорывкал: «Товарищ генерал, за время вашего отсутствия никакого присутствия не было». А он... – Чонкин обмяк и усталым, отчасти даже старческим голосом изобразил: «Спасибо, сынок, за службу». И сымает с себя... ну, это...

– Штаны, – подсказали из-под нар.

– Дурак, – оскорбился Чонкин за своего генерала. – Не штаны, а этот... Ну, круглый такой... ну, орден.

Штык на своем месте заерзал, приподнялся, наклонился над Чонкиным.

– Орден? – переспросил недоверчиво.

– Орден, – подтвердил Чонкин.

– Какой?

– Ну, этот... Ну, Красного этого...

– Знамени?

– Ну да. Ну, Знамени.

Штык поднес к носу Чонкина руку со скрюченным указательным пальцем:

– На, разогни.

– Чего это? – ожидая подвоха, Чонкин недоверчиво смотрел на согнутый палец.

– Да разогни же.

– А на кой?

– Разгинай, не бойся.

Пожав плечами, Чонкин разогнул. Он не знал этой нехитрой шутки и не понял, почему все смеются.

– Ну и свистун, – сказал Штык. – Генерал, орден...

– Не веришь? – оскорбился Чонкин. – Да вот же ж она, дырка.

– За гвоздь зацепился, – сказал Штык.

– Штык! – окликнули его снизу. – Отвали, падло, не мешай человеку. Давай, Чонкин, трави, не тушуйся.

– А ну вас! – махнул рукой Чонкин.

Он обиделся, замолчал и, встав на карачки, долго расправлял шинель на узком пространстве между Штыком и паном Калюжным. Его звали, ему обещали больше не перебивать, его упрасивали, он не ломался, он просто молчал, думал. Защищая свой пост, он не знал, что совершает что-то особенное, а теперь по интересу слушателей и даже по их недоверию понял, что совершил что-то особенное и даже по своему выдающееся, а вот не верят, и некому подтвердить.

Народ в камере был разношерстный. Некий индивидуум, которого звали почему-то Манюней, сказал Чонкину:

– За дезертирство это тебе сразу вышку дадут, расстреляют.

– Манюня! – окликнул его востоковед (в Долговской тюрьме были люди самых диковинных профессий) Соломин. – Перестаньте пугать человека.

– Да я не пугаю, – возразил Манюня. – Я говорю: раз дезертирство, значит, вышка. Это если б он, скажем, в самоволку пошел или, допустим, от эшелона отстал, ну тогда, конечно, можно бы ограничиться штрафной ротой, а когда дезертирство, да еще с сопротивлением властям, тут уж без вышки никак... – Манюня помолчал, подумал. – Ну, вообще-то сейчас расстрел гуманный. Раньше-то было как. Раньше тебя выводят во двор; отделение с винтовками, прокурор, доктор. Приговор читают, глаза завязывают, потом командуют: «Отделение, приготовиться!» Жуть! Теперь все не так. Теперь гуманно. Повели тебя, скажем, в баню, а по дороге – бац в затылок, и все. Охо-хо! – зевнул он. – Поспать, что ли.

Народ еще крутился на нарах, переговариваясь о том о сем, перекидываясь шуточками. Грузин Чейшвили рассказывал, как на воле жил сразу с двумя певицами. Другой голос излагал длинный и скучный анекдот, вся соль которого заключалась в том, что в нем действовали русский, еврей и цыган.

– Когда мне бывает трудно, – сказал бывший профессор марксизма-ленинизма Зиновий Борисович Цинубель, – я всегда читаю Ленина.

– Легче становится? – спросил кто-то.

– Напрасно иронизируете, – отозвался Цинубель. – Когда-нибудь вы поймете, что у Ленина есть ответы на все вопросы.

– А за что сидишь, батя? – спросил Чонкин пана Калюжного.

– А бис його знае. За якийсь процкизм, чи шо, – беспечно ответил Калюжный.

– И давно?

– Та давно. З тридцять четвертого року. Только раньше я сидив за воровство, за мошенничество, за бродяжничество, а теперь ото за процкизм.

– А на волю хочется? – спросил Чонкин.

– На волю? – удивился Калюжный. – Ни. А шо там хорошего?

– Как? – всполошился Чонкин. – Дак как же чего хорошего? Ну, там... это... солнышко светит, птички поют.

– А на шо тоби та птичка? Шоб вона тоби на голову какнула?

Чонкин растерялся и не знал, что ответить.

– Ото ж уси кажутъ: воля, воля, – развивал свою мысль пан Калюжный, – а разобраться, так вона никому и не нужна. Тут тэбэ утречком разбудылы, несут баланду. Много чи мало, а принесут. А на воли хто тоби принесе? Та никто. В мене жинки немає, а сестра пише письма. Цей пид поезд попав, другий от пьянки вмер, третий утонув, четвертый ше шось... И це ж только в мирное время. А колы война, то ще хуже. Тут свистить, тут бабахае, та ты шо! У тюрми луче. Тут люды яки сидять – профессура! А на воле шваль одна осталась, ей-бо!

Пан Калюжный еще долго убеждал Чонкина в преимуществах тюремной жизни, вдруг неожиданно смолк на полуслове и захрапел.

Чонкин повернулся на другой бок, лицом к Штыку, подтянул к подбородку колени, накрылся свободной полкой шинели, полежал – неудобно. Спина прикрыта, перед открыт, в грудь дует. Лег на спину, попробовал обе полки на себя с двух боков натянуть, опять на все не хватает. Лег на левый бок, спереди шинель на себя завернул, спина мерзнет. А пока вертелся, шинель снизу сбилась в один комок, пришлось опять на карачках ползать, вызывая неудовольствие и пана Калюжного и Штыка.

Всегда считал себя Чонкин неприхотливейшим существом, а тут, к собственному удивлению, обнаружил, что за время жизни у Ньюры разнежился, привык к пуховой подушке, пуховой перине и ватному одеялу. Здесь ему было и тесно, и жестко, и холодно.

Поэты-романтики-орденоносцы немало лирических стихов насочиняли о солдатской шинели, будто на ней замечательно спать, одновременно ею же укрываясь. А еще лучше, если делается это на снегу или в крайнем случае под дождем, то есть чтобы она была непременно и мокрая, и пулями пробитая, и как-нибудь в боях обожженная. Вот тогда-то, мол, спать на ней и ею же укрываться очень уж романтично. Романтично, это, пожалуй, да, но сказать, чтоб очень уж удобно, это, конечно, нет.

Крутился Чонкин, крутился – постепенно как-то устроился, как-то особенно съежился, как-то примирился с жесткой реальностью, осознав, что, как ни плоха шинель для спанья, голые нары – хуже. Приспособился, приладил щеку к завернутому рукаву и заснул в сильно скрюченном положении.

И как только впал в забытие, так сразу, а может быть, даже не совсем сразу, может быть, по прошествии какого-то времени, приснилось ему, что не скрюченный на нарах и завернувшись в шинель он лежит, а на пуховой перине, под ватным одеялом и с Нюрой. Лежит Нюра с ним рядом, пышет жаром, как печка, и пахнет вкусно, как мармелад. И потянулся он томно к Нюре, прижался к ней, положил руку на спину, а потом ниже, а вторая рука уже шарилась на том же уровне, но с другой стороны. И, ухватившись за все, на что рук хватало, воспылал он неодолимым желанием, задышал глубоко и часто, кинулся на Нюру с рычанием и впился в нее, как паук.

Он не понял, почему она сопротивляется, почему отпихивается коленями и руками, ведь не только ему с ней, но и ей с ним было всегда хорошо.

Он пытался сломить ее сопротивление, но она схватила его за горло, он проснулся и увидел перед собою Штыка.

– Опять, сука, педрило попался, – шипел и плевался Штык. – Что вы ко мне, падлы, липнете!

Проснулись, заворочались на нарах другие. Кто-то наверху спросил, что происходит, другой голос лениво ответил:

– Новенький Штыка хотел трахнуть.

– А-а, – отозвался первый голос без удивления: видать, здесь ко всему все привыкли.

Чонкин спросонья тряс головой, пялился на Штыка, не понимая, в чем дело, а когда разобрался, сконфузился.

– Нюрка наснилась, – объяснил он и повернулся на другой бок, чтоб избежать повторения неприятности. Штык тоже спиной к нему повернулся и долго еще чего-то бухтел, пока не заснул, а Чонкин лежал, досадуя, что так неудобно все получилось, но постепенно досада его ослабла, и он снова заснул.

И опять, как ни странно (а впрочем, что уж тут странного?), приснилась ему перина и подушка, приснилось ватное одеяло и Нюра под ним. Помня во сне, что, обнимая Нюру, получил он в ответ какую-то неприятность, Чонкин на этот раз долго лежал недвижно, но запах Нюрино тела и волны жара, идущие от нее, опять его одурманили, опьянили, он потянулся к ней робко, потом смелее, и она на этот раз не противилась, и она потянулась к нему. И вот тела их коснулись друг друга по всей длине, и вжались друг в друга, и его руки торопливо



оглаживали и мяли ее, а ее руки то же самое делали с ним, и хотя показалась она ему какой-то костлявой и жесткой, накиннулся он на нее, впился в ее губы своими губами, и она его целовала, и она бурно дышала, и она страстно шептала почему-то по-украински:

– Ты мэнэ хочешь?

– Хочу! Хочу! – жарко выдыхал Чонкин.

Ошалев совершенно, он грыз ее губы, он касался языком ее языка, и единственное, что ему сейчас мешало, что раздражало его, были ее усы.

– Зачем тебе усы? – спросил он недоуменно.

– А шоб тэбэ имы колоты, – смущенно хихикнула Нюра, и он, просыпаясь, увидел совсем близко отвратительное лицо пана Калюжного, который, целуя его врасос, одной рукой прижимал к себе его голову, а другой шарил в том месте, куда Чонкин не допускал еще никого, кроме Нюры.

– Ты что? Ты что? – забормотал Чонкин, отпихивая и убирая блудливую руку Калюжного. – Тронутый, что ль?

– Та тише ты, – испуганно зашептал пан Калюжный. – Хлопцев разбудишь.

– А чего ты лезешь? – сердился Чонкин. – Чего лезешь?

– Тю на тэбэ! – возмутился в свою очередь Калюжный. – Та кому ты нужен. Сам пристае то до одного, то до другого. Тю!

Опять наверху завозились, и кто-то спросил, что происходит. И опять кто-то сказал, что новенький хотел изнасиловать пана Калюжного.

– Так он и до нас скоро доберется, – предположил первый голос, впрочем, совершенно беззлобно.

Чонкин, раздосадованный, спустился вниз и сел посреди камеры на табуретку. На ней, клюя носом и ерзя, просидел до подъема.

После завтрака вошел в камеру заспанный вертухай, ткнул пальцем в Чонкина:

– Ты! – и еще в кого-то: – И ты, на выход!

– С вещами? – засуетился тот, второй, маленький тщедушный человек без двух верхних зубов.

– С клещами, – беззлобно сказал вертухай. – Когда с вещами, по фамилии вызывают.

Он привел их в уборную, довольно-таки грандиозное помещение с двумя дюжинами дырок в цементном полу.

– На уборку даю сорок минут, – сказал вертухай. – Ведра, метлы и тряпки в углу.

С этими словами он вышел. Чонкин и его напарник остались стоять друг против друга, работать не спешили.

От резкого запаха хлорки и застоявшейся мочи свербило в носу, слезились глаза и кружилась слегка голова.

Напарник Чонкина, как уже сказано, был маленького роста, может быть, даже меньше Чонкина, хотя и сам Чонкин, как читатель, вероятно, помнит, тоже не великан. Но держался напарник прямо, развернув плечи и выпятив узкую грудь. При маленьком росте у него была крупная голова с выдающейся вперед нижней челюстью и внимательными немигающими глазами.

Когда напарник улыбнулся, это было так неожиданно, что Чонкин даже вздрогнул. Напарник, улыбаясь Чонкину, не спеша засунул руку в карман, казалось, он вынет оттуда пистолет, но вынул он тусклый металлический портсигар, нажал кнопку, крышка отщелкнулась, в портсигаре лежали папиросы «Казбек».

– Прошу! – сказал напарник и протянул портсигар Чонкину.

Смутившись еще больше, Чонкин сунул руку в портсигар, долго ковырялся в нем своими корявыми пальцами, наконец вытащил одну папиросу из-под резинки. Он долго ее разглядывал, как небольшое чудо, – такие папиросы он и на воле видел только издалека.

Закурили. Чонкин зажал папиросу, как сигарку, большим и указательным пальцами, напарник держал по-интеллигентному – между указательным и средним пальцами. С аппетитом затянувшись и

пустив дым ровными кольцами, напарник опять улыбнулся Чонкину и сказал:

– Позвольте представиться: Запятаев Игорь Максимович, латинский шпион.

Чонкин посмотрел на него с любопытством, но не сказал ничего.

– Не верите? – усмехнулся шпион. – А я вот вам сразу поверил. Потому что моя история, будучи совершенно реальной, выглядит гораздо фантастичнее вашей. Да-да, не удивляйтесь. Вот вы, например, сколько их уничтожили?

– Их? – переспросил Чонкин. – Кого это?

– Я имею в виду большевиков. Кого же еще? – пояснил Запятаев, несколько раздражаясь.

– Большевиков? – снова не понял Чонкин.

– Слушайте, Чонкин, – возбудился Запятаев, – я же вам не следователь. Зачем вы со мной дурака валяете? Вы вчера рассказывали, как сражались с целым полком. Было это или нет?

– А что ж, я врать буду? – обиделся Чонкин.

– Я и не говорю, что врите. Я верю. Именно поэтому я и спрашиваю: сколько вы их уничтожили?

– Так ведь несколько.

– Вот-вот, – обрадовался шпион. – Как раз к этому я и клоню. У вас были пулемет, винтовка, несколько пистолетов, вы стреляли и не убили ни одного. А почему? – Он смотрел на Чонкина, чуть прищурясь и слегка потряхивая головой, лицом показывая, что ответ ему совершенно ясен, но он хочет услышать его от Чонкина. – Почему?

– Не попал, – сказал Чонкин растерянно. Сейчас ему стало даже неловко, что он оказался таким растяпой.

– Вот видите! – удовлетворенно сказал Запятаев. – Ни одного. Не попали. Ну, а если б и попали, то сколько могли бы убить? Одного, двух, трех, ну десяток от силы. То есть это в лучшем случае. А вот я... – Он переложил папиросу из правой руки в левую, резко нагнулся и, как фокусник, извлек из штанины какой-то маленький предмет, оказавшийся огрызком химического карандаша.

– Вот, – торжественно сказал Запятаев и потряс огрызком над головой. – Вот оно, современное оружие, которое страшнее пулемета и страшнее картечи. Этот предмет я берегу, как священную реликвию. Он достоин того, чтобы быть помещенным в музей на

самое видное место. Этим безобидным на вид предметом я вывел из строя и уничтожил полк, дивизию, может быть, даже армию.

Чонкин посмотрел внимательно на огрызок, на тщедушного Запятаева. «Псих какой-то», – подумал он, холодея.

– Теперь вы мне не верите? – улыбнулся понимающе Запятаев.

– Верю, верю, – поспешно сказал Чонкин. Затянувшись последний раз, он затоптал окурок и пошел в угол, где стояли два ведра и несколько метел.

– Нет, вы послушайте, – засуетился Запятаев, хватая его за рукав.

– Опосля. – Чонкин выбрал метлу получше, взял ведро и пошел в другой угол к водопроводному крану.

– Да послушайте же! – побежал за ним Запятаев. – Вам будет интересно.

– Некогда, – сказал Чонкин. – Работать надо.

Набрав воды, он поставил ведро на пол, обмакнул в него метлу и пошел махать ею вдоль стены.

– Ну, как хотите.

Запятаев обиделся, спрятал карандаш и тоже пошел за метлой и ведром.

Некоторое время трудились молча. Чонкин махал метлой и с опаской, но не без любопытства поглядывал на Запятаева. Обладая конкретным воображением, он попытался представить себе вооруженное до зубов воинство и маленького Запятаева, размахивающего своим огрызком.

– Это ж надо, – засмеялся Чонкин. – Карандашом, говорит, дивизию. Ну и сказанул!

– Если бы вы послушали, – сказал Запятаев обиженно, – вы бы согласились, что в этом ничего невероятного нет.

– Ну ладно, валяй, рассказывай, – великодушно согласился Чонкин. Он понял, что хотя Запятаев, может, и псих, но в данных условиях, очевидно, безвредный. Чонкин поставил метлу перед собой, упер ручку в подбородок и приготовился слушать.

Теперь Запятаев заартачился, говоря, что Чонкин сбил настроение. Но все-таки, видно, уж очень хотелось ему кому-нибудь поведать свою историю. Он ждал «вышки» и боялся, что никто никогда не узнает о его героической деятельности.

– Ну так слушайте, – сказал он торжественно. – Вот в двух словах мое начало. Выходец из петербургской дворянской, не очень знатной, но состоятельной семьи. Дом с лакеями, боннами, собственным автомобилем еще перед прошлой войной. Я гимназист, юнкер, подпоручик в армии Врангеля. Когда все бежали, я остался, чтобы продолжать борьбу с советской властью, которую тогда ненавидел даже больше, чем сейчас. Перебрался в Москву, сочинил себе пролетарское прошлое, болтался в разных кругах, искал себе подобных – безуспешно. Попадалась, правда, разная шантрапа, но это было совсем не то, что я искал. Одни писали заумные стишки, другие курили гашиш, третьи увлекались свальным грехом и спиритизмом. Некоторые тискали на гектографе жалкие прокламации и с парой заржавленных пистолетов готовили военный переворот. Ну и, конечно, рано или поздно все попадали куда? На Лу-бян-ку. И поэты, и спириты, и те, которые с револьверами. Я вовремя понял – от таких надо подальше. Нет, я не сдался, я хотел продолжать борьбу. Но с кем и как? Приглядываюсь, вижу: Советы с каждым годом все крепнут и крепнут. Реальной оппозиции нет, тайная деятельность невозможна. Всеобщая бдительность, все друг на друга доносят, чека каждого видит насквозь. Все ужасно. Для серьезной борьбы нужна организация, нужны единомышленники, но где они? Никому нельзя открыться, никто никому не верит. Я долго думал над происходящим, скажу вам откровенно, я начал впадать в отчаяние. Если никакая борьба невозможна, то для чего же я здесь остался? Чтобы стать таким же, как все, и послушно есть из того же корыта? И тут я сделал открытие, которое без ложной скромности можно назвать каким? Ге-ни-аль-ным! Да, – сказал Запятаев и счастливо засмеялся. – Именно гениальным, на меньшее я не согласен. Вот вы, – он отпрыгнул от Чонкина и ткнул в него пальцем, – скажите мне, что вы считаете основной особенностью нынешней власти? В чем ее достоинства? Какая она?

– Она-то? – Чонкин задумался. – Ну, вообще-то хорошая.

– Остроумно, – улыбнулся Запятаев. – Ну, а если без шуток, я вам скажу по секрету... – Он приблизился к Чонкину и снизил голос до шепота: – Запомните раз и навсегда – основная, главная, замечательная особенность этой власти состоит в том, что она до-вер-чи-ва. Да, именно доверчива, – повторил он громко и опять отскочил. – Вы скажете: ка-ак? – Он вытаращил глаза и раскрыл рот, изображая

невероятное удивление Чонкина. – А вот так, дорогой мой Иван... как вас... Васильевич?... Именно так. Вы скажете, какая там доверчивость, когда она всех во всем подозревает, когда она хватается и уничтожает главных своих идеологов и столпов по мельчайшему подозрению. Вы мне скажете – Троцкий, вы мне скажете – Бухарин с Зиновьевым, вы мне скажете – Якир с Тухачевским. Да, конечно, она подозрительна, она своим не доверяет, но таким, как я, она верит как? Без-гра-нич-но. К сожалению, я сделал это открытие не сразу. Я тогда уже был не в Москве, а здесь, в области. Работал мелким служащим в одном важном учреждении. В таком важном, что даже сейчас боюсь сказать. А руководителем у нас был некий Рудольф Матвеевич Галчинский. Не помните? Ну, был такой известный большевик, герой Гражданской войны, личный друг Ленина. Такой преданный, такой доверенный, что он из-за границы, знаете ли, не вылезал. Добывал какое-то там военное оборудование, какие-то секреты и, если не ошибаюсь, руководил общей подрывной деятельностью, то есть подготавливал мировую революцию. Очень вредный был человек. И вот когда я сделал свое открытие, я его на этом самом Галчинском и испытал. Взял я как-то клочок бумаги, этот вот самый огрызок (он был чуть-чуть побольше), натянул на левую руку перчатку и написал: «Во время пребывания в Англии Галчинский был завербован британской разведкой». И подписал простенько, без затей: «Зоркий Глаз». А? Как вам нравится?

Постепенно Запятаев входил в раж, отбросил метлу, размахивал руками, сам себе задавал вопросы и сам на них отвечал, расчленяя слова на слоги. Смеялся, подмигивал, при этом одна половина лица, как на шарнирах, поднималась вверх, а другая, наоборот, опускалась.

– Но тут... – Запятаев помолчал и покачал головой. – Меня ждало первое испытание. На другой день на работе я подошел по какому-то делу к секретарше нашего начальника, к этой очаровательной жирной свинье Валентине Михайловне Жовтобрюх, и делаю ей походя комплимент: «Валентина Михайловна, какой на вас прекрасный жакет». Сволочь была невероятная, а все-таки женщина. Вся зарделась, краска сквозь жир проступила: «Правда, вам нравится?» – «Прекрасный, – повторяю, – жакет, и очень вам к лицу». А она и вовсе расцвела: «Это мне, – говорит, – Рудольф Матвеевич из-за границы привез». – «Из Англии?» – спрашиваю. «Нет, из Бельгии. А в Англии он никогда не бывал». – «Как? – сказал я. – А в последний раз?» – «Вот

именно в последний раз он был в Бельгии и Голландии. До этого в Германии, во Франции и даже в Канаде, а в Англии никогда. Да что вы так поблбеднели? Что с вами?»

Вы представляете, что я чувствовал, если даже не смог скрыть своего состояния? Несколько суток после этого я не находил себе места. День проходил еще кое-как в работе, а ночью – сплошные кошмары. Я забирался под одеяло и дрожал, даже не фигурально, а самым обыкновенным образом. Чего только мне не мнилось. Остановилась внизу машина – за мной. Дверь хлопнула – за мной. Я не трус, Иван Васильевич. Но мне было до слез обидно, что вот так глупо, с первого раза... Но вот однажды иду на работу, поднимаюсь по лестнице и глазам своим не верю: два молодца в форме и один в штатском ведут под белы ручки нашего героя, то есть самого Рудольфа Матвеевича, бледного, без очков. Я посторонился... И даже, кажется, поздоровался, но он меня не заметил, а один из молодцов буркнул мне: «Не путайтесь под ногами». Поднимаюсь в приемную, там как после погрома: ящики столов вынуты и стоят на полу, бумаги рассыпаны, а у окна в углу плачет Валентина Михайловна. Я, разумеется, к ней: «Валентина Михайловна, что случилось?» Она платочком глаза промокнула и смотрит на меня строго: «Рудольф Матвеевич оказался британским шпионом. Не могу себе простить, рядом была, а не заметила». Я, конечно, – Запятаев подмигнул радостно, – с удовольствием стал ее успокаивать, мол, не переживайте, ведь еще ничего не доказано, все еще может разъясниться. Ведь Рудольф Матвеевич, кажется, в Англии никогда не бывал. Тут она как завизжит: «Что значит кажется! Что значит не бывал? Вы что же, нашим органам не доверяете?» Мне же пришлось заверить ее, что доверяю. Прошло сколько-то времени, и в газетах – вы, может быть, помните – появилось сообщение о суде над врагом народа Галчинским. Говорилось, что под тяжестью предъявленных улик подсудимый полностью признал, что во время пребывания в Англии он был что? За-вер-бо-ван.

Тут Запятаев замолчал, задумался, и Чонкин, решив, что рассказ окончен, пробормотал что-то вроде того, что, мол, да, бывает, и взялся за метлу, но Запятаев его остановил:

– Нет, вы послушайте, что было дальше. Свалив Галчинского, я ободрился. Я понял, что выбрал правильный путь. Я купил несколько

тетрадей в линейку и принялся за работу. Вижу какого-нибудь активного большевика, и тут же сигнал: завербован такой-то разведкой. Вижу, в Красной Армии появился какой-нибудь выдающийся командир – сигнал на него. Вижу, какой-нибудь ученый, какой-нибудь талант новоявленный собирается то ли необыкновенную машину создать, то ли урожай небывалый вырастить – сигнал. Ну, с талантами, знаете ли, расправляться проще простого. Если он в науку свою или в искусство свое углубился, он вокруг себя ничего не видит и непременно глупости понаделает. На собрания не ходит, когда предлагают выступить, старается отмолчаться, а если уж и скажет что-нибудь, то обязательно невпопад. Уничтожать таланты, Иван Васильевич, самое приятное и безопасное дело. Витает он где-то там в своих эмпириях, а его вдруг на землю спустят и спрашивают: а что вы, милейший, думаете относительно, скажем, левого уклонизма или правого оппортунизма? А он, видите ли, как раз про это ничего и не думал. Да как же можно об этом не думать? Сейчас, когда обостряются противоречия, когда во всем мире сложная обстановка и капиталисты предпринимают новые атаки. И ведь не сразу, Иван Васильевич, и не всякого человека волокут в кутузку, а еще поиграют с ним, как кошка с мышкой, пусть выйдет, мол, на трибуну, пусть политические свои ошибки признает, а он упирается, он хочет, чтоб его поняли. «Что вы, товарищи, я политикой вовсе не интересуюсь». А ему в ответ головой покачают, да пальчиком погрозят, да подмигнут. «Брось, – говорят, – ты человек, конечно, умный, но зачем же нас-то за идиотов держать? Мы же понимаем, что отход от политики – это тоже политика». А он: «Да что вы, да я...» А иной начнет хорохориться. Как же, я талант, я гений, на мое место ведь кого попало не поставишь. А вот и поставим, а вот и поставим. То есть не то что даже кого попало, а самого последнего идиота возьмем и поставим. – Тут Запятаев захихикал, затрясся, а когда успокоился, продолжал: – Эх, Иван Васильевич, как вспомню, так плакать хочется, сколько через мои руки людей самых выдающихся прошло. Физики, ботаники, писатели, ваятели, артисты, партийные работники. Элита. Сливки общества. Я две дюжины тетрадей на них извел вот таких, общих. И ведь почти каждый раз без промаха. Нет, вы уж не говорите, доверчивей этой власти на свете нет. И каких только глупостей я не писал, во все верят. Про одного, например, сообщил, что в день открытия бухаринского процесса он вышел из дома с



заплаканными глазами. Я же не писал, почему он был заплакан. Может, его жена скалкой побила, а не то чтобы он Бухарину особенно сочувствовал. А его взяли. Про другого очень заслуженного товарища я сообщил, что он в интимной беседе с таким-то отрицательно отзывался о нашем о чем? О кли-ма-те. Пропал и этот. И тот, который его слушал, тоже пропал. А как же! Разве можно о нашем климате отрицательно отзываться? – Запятаев подмигнул, перекосясь, похихикал. – Вот, Иван Васильевич, и судите сами, какое оружие в современных условиях страшнее: пулемет, картечь или этот вот маленький огрызок.

Внезапно появился вертухай и, увидев, что работа не двигается, стал грозить обоим карцером. Но двух «Казбеков» – одного в зубы и другого про запас, за ухо – оказалось достаточно, чтобы смягчить его душу. Он удалился, а Запятаев, угостив Чонкина и сам закурив, продолжал свой рассказ:

– Любой преступник, Иван Васильевич, каким бы он ни был хитрым и ловким, рано или поздно попадает, и подводит его что? Бес-печ-ность. Нет, сначала он, конечно, бывает осторожен и осмотрителен и потому действует безнаказанно. Но как раз безнаказанность постепенно и неизбежно приводит к беспечности. Так было и со мной. Сначала я писал свои так называемые сигналы левой рукой, в перчатке, бросал в почтовые ящики подальше от дома, и всегда в разные, принимал другие меры предосторожности и не попадался. Но со временем становился все беспечнее, все нахальнее. То забуду надеть перчатку, то поленюсь нести в дальний ящик. И, естественно, дело кончилось полным чем? Про-ва-лом. Как-то вечером, возвращаясь с работы домой, иду я по тротуару, вдруг скрип тормозов, кто-то сказал: «Эй, товарищ!» Я оглянулся, и в этот момент какая-то сила оторвала меня от земли, по-моему, я сделал даже что-то вроде сальто, а пришел в себя уже на заднем сиденье «эмки» между двумя верзилами в шляпах, надвинутых на глаза. Я, конечно, пытался протестовать: по какому, мол, праву и так далее, но один из них сказал: «Сиди и молчи», – и я замолчал. Короче говоря, привозят меня к серому зданию, въезжаем во двор, выходим, поднимаемся по лестнице и оказываемся в кабинете самого Романа Гавриловича Лужина, главного их начальника. Если вы не знаете, что такое Лужин, я вам скажу: это чудовище. Впрочем, с виду похожее на человека. Сидит за

большим столом уродливое существо, ростом с карлика, говорит с кем-то по телефону вполголоса, кажется, даже любезничает, улыбается и острит, но я-то знаю, что этому дяденьке ничего не стоит перестрелять хоть тысячу человек одновременно.

Стою ни жив ни мертв. Существо поговорило по телефону, положило трубку, выбирается из-за стола, подкатывается ко мне на коротких ножках вплотную и разглядывает в упор. Я понимаю – игра окончена, теперь главное – твердость, спокойствие и выдержка. Теперь-то я уж кое-что успел сделать. Но все-таки, знаете, к расплате сколько ни готовься, а когда доходит до нее, то, как бы вам сказать, приятного мало. И вдруг слышу:

– Так вот он, значит, и есть тот самый легендарный Зоркий Глаз? Долго же вы от нас скрывались. Чудовищно долго. (Это его любимое слово – «чудовищно».) И что же, так вот все и действовали в одиночку?

Когда он заговорил, я как-то сразу опомнился, чувствую, что взял себя в руки, и отвечаю с вызовом, дерзко:

– Да, в одиночку.

И тут произошло нечто для меня совсем неожиданное. Лицо его расплывается в широкой улыбке.

– Видали, – кивает он тем, которые меня привели, – какой герой? В одиночку.

Вижу, и эти улыбаются благожелательно. И опять голос Лужина.

– И напрасно, – говорит, – в одиночку. Вы для нас много сделали, спасибо, конечно, но время натпинкертонов прошло, давайте действовать сообща, давайте объединим наши усилия, давайте вместе бороться за нашу советскую власть.

Я смотрю на него и понять ничего не могу. Что значит – за, я же против, это же очевидно. Дурака валяет? Смеется над жертвой? Но слышу, он спрашивает что-то уж совсем несусветное – почему я до сих пор не в партии. Не знаю, как отвечать, что-то мямлю, а он опять улыбается и сам подсказывает:

– Считаете себя недостойным?

– Да-да, – хватаюсь я за эту соломинку, – именно недостойн.

Он доволен. И эти довольны.

– Скромность, – говорит он, – конечно, украшает человека, но ведь и самоуничижение паче гордости. Так что чего уж там

скромничать, вступайте, мы поможем.

Короче говоря, обласкал он меня, с ног до головы елеем обмазал. Только один раз заминка вышла. Спросил он меня про материальные дела, а я сдуру возьми и ляпни: я, мол, не за деньги, а бескорыстно.

Тут он первый раз с начала нашего разговора нахмурился. Посмотрел на меня подозрительно, и я понял: ему бескорыстные непонятны. Надо сказать, меня спасло то, что я тут же перестроился и сказал, что, вообще-то говоря, от денег отказываться не собираюсь.

– Да-да, – он радостно закивал, – мы все, конечно, трудимся не за деньги, но мы материалисты и этого не скрываем.

Он обещал мне помочь, как у них говорят, материально. И вообще много раз повторял одну и ту же фразу: «Мы поможем». А потом проводил до дверей, долго жал руку.

– Идите, товарищ Запятаев, работайте. И помните: такие товарищи, как вы, нам нужны.

Я вышел на улицу совершенно ошалелый. Еще час назад, когда они везли меня в машине, я готовился к чему угодно – к тюрьме, к пытке, к смерти, а тут... Я шел, я улыбался, как дурак, а в ушах у меня все звучало: «Такие товарищи нам нужны». Ну, думаю, если вам нужны такие товарищи...

Тут Запятаев согнулся в три погибели, схватился за живот и мелко затрясся, словно в припадке. Чонкин испугался. Он думал, с напарником что-то случилось.

– Эй! Эй! Ты что? – кричал Чонкин, хватая его за плечо. – Ты чего это, а?

– Нет, – трясся Запятаев, медленно разгибаясь и рукавом вытирая слезы. – До сих пор, как вспомню, не могу удержаться от смеха. Нет, вы представляете, – повторял он, тыча себя пальцем в грудь, – им нужны такие товарищи...

Он смеялся до икоты, до судорог, пытался продолжить рассказ, но опять давился от смеха и корчился, и опять тыкал себя пальцем в грудь, на все лады повторяя слова «такие товарищи». Потом кое-как пришел в себя и стал рассказывать дальше.

После того как он побывал у Лужина, дело его значительно облегчилось. Ему уже не надо было прибегать к таким жалким ухищрениям, как писание левой рукой и в перчатке. Теперь он открыто составлял целые списки людей, которые, по его представлению, были

еще на что-то способны, и со списками не бегал к отдаленным почтовым ящикам, а смело шел Куда Надо (правда, с черного все-таки хода) и передавал написанное из рук в руки. Постепенно и на работе дела у него пошли на лад. Он вступил в партию и стал делать головокружительную карьеру. Стоило ему подняться на очередную ступеньку служебной лестницы, как уже и следующая вскоре не без его участия освобождалась. И нажимались тайные пружины, и отступали на задний план другие претенденты, и Запятаев поднимался все выше и выше.

Но чем выше он поднимался, тем чаще сталкивался с неожиданной проблемой. Язык, на котором он говорил, резко отличался от языка новых хозяев жизни.

– Вы понимаете, – размахивал он руками, – я же дворянин. Я петербуржец. Меня бонна воспитывала. Я не умел говорить по-ихому... тьфу... вот видите, а теперь отучиться не могу. А тогда у меня просто язык не поворачивался. Ну, с манерами-то было полегче. Целовать дамам ручки я отвык быстро. Не подавать пальто и первому ломиться в дверь я более или менее научился. И когда мне кто-нибудь говорил о хороших манерах, я уже вполне привычно возражал, что женщина в нашем обществе такой же равноценный товарищ и ее можно отпихивать плечом, потому что и ей позволено делать то же самое.

С языком было хуже. Элементарные слова вроде «позвольте», «благодарю вас», «будьте добры» вызывали недоумение, на меня смотрели удивленно, и я сказал самому себе: так дальше продолжаться не может. Ты, сказал я себе, можешь сколько угодно притворяться своим среди этих людей, ты можешь делать вид, что полностью разделяешь их идеи, но, если ты не научишься говорить на их языке, они тебе до конца никогда не поверят.

И вот я, как ликбезовец, засел за учебу. О боже, какой это был тяжелый и изнурительный труд! Вы знаете, я всегда был способен к языкам. В детстве меня учили французскому и английскому. Потом я неплохо знал немецкий, болтал по-испански и даже по-фински немного читал. Но этот язык... Этот великий, могучий... Нет, вы даже представить себе не можете, как это трудно. Вот некоторые умники смеются над нынешними вождями, над тем, как они произносят разные слова. Но вы попробуйте поговорить, как они, я-то пробовал, я

знаю, чего это стоит. Итак, я поставил перед собой задачу в совершенстве овладеть этим чудовищным языком. А как? Где такие курсы? Где преподаватели? Где учебники? Где словари? Ничего нет. И вот хожу я на разные собрания, заседания, партийные конференции, слушаю, всматриваюсь, делаю пометки, а потом дома запрюсь на все задвижки и перед зеркалом шепотом воспроизвожу: митирилизем, импирикритизем, экпроприцея экпроприторов и межродный терцинал. Ну, такие слова, как силисиский-комунисиский, я более или менее освоил и произносил бегло, но, когда доходило до хыгемонии прилитырата, я потел, я вывихивал язык и плакал от бессилья. Но я проявил дьявольское упорство, я совершил величайший подвиг. Уже через год совсем без труда и даже почти механически я произносил килуметр, мулодежь, конкретно. Но иногда я употреблял такие выражения и обороты, что даже искушенные партийные товарищи не каждый раз могли сообразить, что это значит. Ну вот, например, по-вашему, что это: сисификация сызясного призводства? Поняли?

– Не, – признался Чонкин, – не понял.

– Естественно. Это означает интенсификация сельскохозяйственного производства. Это уж высший класс. Когда я овладел этим языком в совершенстве, некоторые товарищи смотрели на меня с умилением. Иные пытались подражать, не всем удавалось. Теперь благодаря таким товарищам и новому языку передо мной все дороги были открыты. Вскоре я занял тот самый пост, с которого сбросил когда-то кого? Рудольфа Матвеевича. Я к тому времени уже женился и, между прочим, на ком? На Валентине Михайловне Жовтобрюх. И детишек завел двоих. И делал карьеру, но цели своей главной не забывал никогда. Правда, карандашик мне уже был не нужен. Я уже работал в иных масштабах. Я всех самых лучших инженеров и конструкторов прямиком отправлял к таким товарищам. Я это дело, которым руководил, разваливал, как только мог. И вы думаете меня за это схватили? Как бы не так, меня за это орденом наградили. Меня ставили в пример как проводника образцовой кадровой политики. Меня уже в Москву собирались перевести. Вот бы где я развернулся. Но тут... – Запятаев двумя руками схватился за голову и покачал ею, – тут, Иван Васильевич, я совершил такую глупость, такую глупость, что даже стыдно рассказывать. Как вы помните, меня поднял кто? Я-зык. А кто меня погубил? Я-зык. Вы

знаете, не хочется продолжать. Трудно. Давайте быстренько уберем, а то придет надзиратель, орать будет.

– Да не будет, – сказал Чонкин. – Ты давай дуй дальше, а я сам, я мигом.

Он выплеснул на пол ведро воды и стал метлой гнать ее к середине.

– Ну ладно, – согласился Запятаев, – трудно, но доскажу. Так вот, – продолжал он, стараясь держаться так, чтобы Чонкин мог его видеть, – в один прекрасный день прибыл в нашу контору с инспекцией первый секретарь обкома товарищ Худобченко. Дядя на вид простоватый, ходил в вышитой украинской рубаше, говорил на том же языке, что и я, может быть, без моей виртуозности, но все-таки в этом смысле кое-чего тоже стоил. Был тоже бдительным, искал у нас шпионов, вредителей и диверсантов, нашел только двоих, я до него хорошо поработал. Товарищ Худобченко остался мной очень доволен, собрал совещание, хвалил меня, ставил другим в пример, и дело, как обычно, закончилось большой пьянкой за казенный, разумеется, счет.

Народу набилось порядочно. Пили, пели «Йихав козак на вийноньку» (любимая песня Худобченко) и плясали гопака. Публика, доложу вам, собралась отборная. Все говорили на том же языке, что и я, все занимались тем же, чем я, то есть совершенно явно и открыто наносили максимальный ущерб тому делу, которым руководили, все при этом гордились своим рабочим или крестьянским происхождением. И вдруг мне, идиоту, спьяну, что ли, померещилось, что я в тесном кругу самых интимных единомышленников, которые так же, как и я, хорошо знают, что делают. И мне вдруг захотелось их как-то раскрыть, сказать, бросьте, мол, притворяться, здесь все свои. Да если бы я так сделал, это было бы меньшей глупостью, чем то, что я сделал на самом деле. Я встал... и вот, если вы даже попытаете представить себе, какую невероятную глупость я мог сделать, если даже у вас очень развито воображение, вы будете думать три дня, но, уверяю вас, ничего подобного не придумаете. Я встал и начал... язык не поворачивается признаться... и начал читать кого? Вер-ги-ли-я! И мало того что Вергилия, но на чем? На ла-ты-ни! О боже! Конечно, я сразу понял, что совершаю что-то ужасное, я еще только начал, а вижу, что лица у моих слушателей вытянулись, они переглядываются между собой, потом на Худобченко вопросительно смотрят. Смотрю, тот тоже

поначалу насупился, а потом заулыбался, поманил меня пальцем. Вот так. Как собачку. И я приблизился, виляя хвостом. А Худобченко спрашивает очень доброжелательно:

– Що це ты, интересно, такое балакал?

– Та так, – в тон ему отвечаю, – Вергилия немного балакал.

– Кого?

– Вергилия. Вы разве не узнали?

– Ни, не узнав. И на какому ж языку?

– Сам точно не знаю, – говорю, – может быть, на латинскому.

– Ого! – удивился Худобченко. – И много ж ты знаешь подобных Вергилиев?

Понимаю, что дело плохо, плету какую-то чушь, что в нашей церковно-приходской школе был учитель, он знал немного латынь и нас учил.

– То, шо он знал, – перебивает Худобченко, – это неувидительно. Он, может, из буржуев был. А вот шо ты это запомнил, шо голова у тебя так устроена, это мне непонятно. Вот вы, хлопцы, – повернулся он к остальным, – кто из вас кумекает по-латинскому?

Те молчат, но видом своим каждый дает понять, что не он.

– И я не кумекаю. Ни. Потому шо мы с вами деревенские валенки, мы знаем только, как служить нашей партии, нашей советской власти и как бороться с ихими врагами. А если и заучиваем шо наизусть, то только исторические указания товарища Сталина. А вот товарищ Запятаев, он и по-латинскому понимает, а может, и еще по-какому.

И тут все добродушие с него вмиг слетело, лицо стало жестким и холодным, как промерзший кирпич.

Я попытался исправить положение, пробовал даже и гопака сплясать, но Худобченко, посмотрев, заметил вскользь, что и гопад у меня получается «по-латинскому».

В ту же ночь меня взяли прямо из постели, допрашивал лично Роман Гаврилович Лужин, разбил нос, выбил два зуба, и вот теперь я латинский шпион.

Запятаев вздохнул, вытащил из кармана свой портсигар, угостил Чонкина «Казбеком» и сам закурил.

– Что же делать, – сказал он, – винить некого, кроме себя. А ведь как шел! Как шел! Мне бы только до Москвы добраться, а уж там бы я... В условиях военного времени я бы столько мог наворочать. Да вот

промахнулся. Но я знаю, я не один. Таких, как я, много. Они везде. Днем и ночью, все вместе и каждый по отдельности, они делают свое дело, и они непобедимы, потому что никто из них никогда, ни при каких обстоятельствах не должен раскрываться. А если попадетсЯ такой дурак, как я, он должен немедленно и безжалостно уничтожаться. Чтобы никто, никогда, ничего... – Запятаев бросил папиросу, сжал пальцы в кулаки, потряс ими и хотел заплакать, но тут в дверях появился вертухай и спросил:

– Кто из вас Чонкин? На выход! – и посторонился, уступая дорогу.



Подследственный Иван Чонкин сидел на табуретке у стены по правую руку от лейтенанта Филиппова, но на большом расстоянии от него, ближе к двери. Расстояние определялось инструкцией, предусматривавшей возможность нападения на следователя. Над белобрысой головой лейтенанта висел портрет Сталина с девочкой на руках. Девочка всем своим видом выражала Сталину глубокую признательность за свое счастливое детство. На стене напротив висела цитата из речи Сталина, оформленная в виде красочного плаката:

«Мы должны организовать беспощадную борьбу со всеми...» – прочел Чонкин и, устав от чтения, перевел взгляд на окно, которое было прямо перед ним. Нижняя половина была закрашена белой масляной краской с подтеками, в левом углу было процарапано одно недлинное слово, которое Чонкину приходилось читать и раньше.

Если бы была закрашена не нижняя половина окна, а верхняя или вообще никакая, то Чонкин мог бы увидеть неширокую пыльную площадь и Ньюру, стоящую посередине, раскручивая сумку в руке. Чонкин не может видеть Ньюру, и Ньюра не может видеть его. Его видит ворона, взлетевшая на верхушку полувывсохшего тополя. Ворона сидит на ветке и равнодушно косит глаза на Чонкина. Ей все равно, на кого или на что смотреть – на корову, на Чонкина или на столб. Вот она всполошилась, захлопала крыльями, тяжело поднялась, исчезла за левым краем окна, но тут же вновь появилась и села на ту же ветку.

Глядя на ворону, Чонкин задумался. «Это ж надо, – думал он, – сколько на свете всяких тварей. И вороны, и собаки, и индюки, и клопы, и люди, и гадюки, и рыбы, и всякие пауки. И каждая тварь для чего-то живет и чего-то хочет, а кто знает, чего?»

– Фамилия?

Чонкин вздрогнул и, оторвав взгляд от вороны, перевел его на лейтенанта, который, занеся над бумагой ручку, смотрел на Чонкина выжидательно.

– Чия? – спросил удивленно Чонкин.

– Ваша, – терпеливо объяснил лейтенант и обмакнул ручку в чернила.

– Наша? – еще больше удивился Чонкин. Он думал, может быть, самонадеянно, что его фамилия лейтенанту известна.

– Ваша, – повторил лейтенант.

– Чонкины мы, – скромно сказал Иван и посмотрел на лейтенанта с опаской – может, чего не так.

– Через «о» или через «ё»?

– Через «чи», – сказал Чонкин.

В кабинете лейтенанта была совсем веселая (не сравнить с камерной) обстановка. С треском топилась высокая круглая железная печь дореволюционного образца с надписью в виде эллипса: «Железоделательный завод Кайзерлаутерна». Волны тепла набегали на Чонкина, располагая ко сну, и вопросы лейтенанта казались лишними и даже, может быть, неуместными.

– Год рождения, образование, национальность, социальное происхождение....

– Чего? – переспросил Чонкин.

– Родители ваши кто?

– Так ведь люди, – ответил он, не понимая сути вопроса.

– Я понимаю, что не коровы. Чем занимаются?

– В гробе лежат.

– То есть умерли?

Чонкин посмотрел на лейтенанта удивленно: что он, лук ел или так одурел?

– Неужто живые? – сказал он и сделал гримасу, выражающую крайнюю степень недоумения.

– Чонкин! – повысил голос лейтенант. – Перестаньте валять дурака и отвечайте на вопросы, которые вам задают. Если родители мертвые, значит, так и надо сказать – мертвые.

– Вот тоже... – Как бы ища поддержки, Чонкин оглянулся на печку, потом на портрет Сталина. – Кабы ты спросил, какие они, я бы тебе сказал: мертвые. А ты спрашиваешь, чем занимаются...

– Не ты, а вы, – поправил лейтенант.

– Мы-ы? – переспросил Чонкин, вконец запутавшись. – Ты про кого спрашиваешь?

– Я говорю, Чонкин, что к следователю, тем более к старшему по званию, нужно обращаться на «вы». Ты меня понял?

– Понял, – сказал Чонкин, впрочем, не очень уверенно.

– Ну ладно, – сказал лейтенант. – Это оставим. Перейдем к другому. Скажи мне, как ты очутился в деревне Красное?

– Как очутился?

– Ну да.

– В деревне Красное?

– Ну да, да, – повторил лейтенант несколько раздраженно. – Как ты очутился в деревне Красное?

– А то ты не знаешь.

– Чонкин! – Лейтенант стукнул по столу кулаком.

– А чо Чонкин, чо Чонкин! – стал сердиться подследственный. – Будто ты сам не знаешь, как солдат очучивается где-либо. Старшина послал.

– Какой старшина?

– Ха, какой! – Чонкин развел руками и опять посмотрел на печку, на Сталина, на девочку, как бы призывая их в свидетели непроходимой тупости лейтенанта. Не знает, какой еще может быть старшина.

– Ну этот же, – сказал он. – Ну как его... Ну Песков же.

– Значит, старшина Песков? – переспросил лейтенант, записывая. – Проверим. А может, не было никакого старшины, а, Чонкин? – Филиппов хитро посмотрел на Чонкина и подмигнул. – Может, ты сам сбежал? Может, ты так решил: пусть, мол, Родину защищают всякие дураки, а я умный, я лучше с бабой где-нибудь полежу. Может, так было дело?

– Нет, – хмуро ответил Чонкин. – Не так.

– А с какой же ты тогда целью поселился у Беляшовой?

– У Беляшовой?

– Д-да, у Беляшовой. С какой целью ты у нее поселился?

– Так ведь с целью, чтоб жить с Нюркой, – объяснил Чонкин правдиво.

Лейтенант встал и ногой отодвинул стул к стене. Он не был доволен результатами допроса, который принимал дурацкое направление. Лейтенант нервничал. Он только утром вернулся из области, где подполковник Лужин всю ночь вынимал из него душу, въедливо выспрашивая все подробности и детали того случая, когда оперативный отряд под руководством Филиппова в полном составе был захвачен одним плохо вооруженным красноармейцем.

– Чудовищная история, – сказал Лужин. – Нет, я этого понять не могу. Тут что-то не так. Что-то ты от меня скрываешь. Может быть, ты сделал это намеренно, а?

– Зачем? – спросил Филиппов.

– Если бы я знал, зачем, – вздохнул Лужин, – я бы тебя расстрелял. Я этого не делаю только потому, что не хочу привлекать к этому делу внимание. Да. Потому что с меня тогда тоже спросят. Так что пока иди, но помни: я могу передумать.

– А как же быть с Чонкиным? – спросил лейтенант.

– С Чонкиным? – переспросил Лужин. – Как быть? Оформить как дезертира и – в трибунал. Дело не раздувать, никого не втягивать. Но чтобы я фамилию Чонкин никогда больше не слышал, нет.

Филиппов вернулся в Долгов на рассвете невыспавшийся и злой. Ему хотелось действительно с этим Чонкиным закончить как можно скорее, а для этого получить от него нужные показания. Но Чонкин явно над ним издевался и валял дурака.

– Ну так что же, – сказал лейтенант, приближаясь к Чонкину, – все более или менее ясно. Неясно только одно: как вы, советский человек из простой крестьянской семьи, докатились до того, что теперь сидите в тюрьме, как это понимать, а, Чонкин?

Чонкин пожал плечами и хотел сказать, что и сам он не понимает, как же это все действительно получилось, но ничего не сказал, потому что вдруг увидел перед собой ствол направленного на него револьвера.

– Застрелю-у-у! – завопил лейтенант.

Чонкин инстинктивно дернулся головой и ударился затылком о стену.

В кабинете сразу стало вроде бы неудобно. От револьвера пахло ружейным маслом и смертью.

– Сейчас, сука, падло, выпущу в тебя всю обойму! – зверел на глазах лейтенант. – Да я тебя... в рот и в нос, и в печенку...

Тут автор вынужден остановиться в полном бессилии. Боясь оскорбить нравственное чувство читателя, он и дальнейшую речь лейтенанта не может изобразить иначе, как точками, а отдельные печатные слова, которые случайно в ней попадались, приводить нет никакого резона, ибо, вырванные из контекста, они не передают ни

глубины, ни яркости, ни даже смысла употребленных в данном случае выражений.

Сидя на табуретке, Чонкин пытался уклониться от револьвера. Он откидывал голову и стучался затылком о стену. Дырка ствола плавала перед глазами, двоилась, троилась и вызывала в переносице ощущение невыносимого зуда. Чонкин морщился. Верхняя губа его при этом непроизвольно задиралась и ползла к носу, обнажая редкие зубы.

Красное от возбуждения лицо лейтенанта то заслоняло, то открывало портрет Сталина с девочкой на руках. Сталин улыбался девочке и одним глазом сочувственно косил на Чонкина, как бы говоря ему: «Ты же видишь, что он психически ненормальный, ты уж лучше не сердь его, не запирайся, а скажи сразу все как есть».

Чонкин вовсе даже не запирался, но от страха у него залипал язык и не мог вытолкнуть наружу ни единого слова. Лейтенант же воспринимал молчание подследственного как неслыханное наглое упорство. И был бы хоть человек, а то так, недотепа какой-то, с которым, если б не обстоятельства, можно делать все, что хочешь, можно посадить, можно расстрелять, а можно и просто выпустить в лес, на свободу, и пусть живет себе на дереве, как обезьяна.

– Встать! Сесть! – закричал Филиппов. – Встать! Сесть! Встать! Сесть!

Чонкин встал, сел, встал, сел, встал, сел – дело привычное.

– Будешь говорить?

Чонкин молчал.

– Руки вверх! Лицом к стенке! Ты чувствуешь, падло, сука, чем это пахнет?

Стволом револьвера он почесал Чонкину затылок, а коленом уперся в зад.

Чонкин чувствовал, чем это пахнет, ему было ужасно неприятно. Он уткнулся носом в стену. Хотелось влипнуть в стену и просочиться через нее.

Открылась дверь. Чонкин краем глаза увидел – вошла секретарша Капа. Нисколько не удивившись происходящему, Капа отозвала лейтенанта в уголок и стала шептать что-то, но что именно, Чонкин не разобрал. Он разобрал только, как лейтенант спросил: «А что ей нужно?» – но ответа Капы не слышал.

– Ну вот, – громко и недовольно сказал Филиппов. – Не дают работать. Ходят, ходят, ходят тут всякие...

Как любой уважающий себя человек, лейтенант был уверен, что он один занят стоящим делом, а остальные только и думают, как бы самим ничего не делать и других оторвать от работы.

– Опустит руки! – приказал он Чонкину. – И не поворачивайся. Так и стой лицом к стене, пока я не вернусь.

С этими словами он вышел.

Через промежуток времени, который можно считать ничтожным, лейтенант Филиппов появился на крыльце Учреждения и увидел Ньюру, стоящую под деревом, на котором сидела ворона. Здесь между Ньюрой и лейтенантом состоялся разговор, который длился недолго.

Вернувшись в свой кабинет, Филиппов застал Чонкина, как и оставил, стоящим лицом к стене. Но даже и по стриженному затылку последственного было видно, что за время отсутствия лейтенанта он о многом успел передумать.

– Повернись! – беззлобно приказал лейтенант, проходя к своему столу. – Сядь! – кивнул он на табуретку.

Чонкин сел, шморгнув носом, а рукавом утерся.

– Ну так что же, Чонкин, будем признаваться в совершенных преступлениях прямо и чистосердечно или будем запираяться, юлить, лгать и пытаться обвести следствие вокруг пальца?

Чонкин сглотнул слюну и промолчал.

– Чонкин! – повысил голос лейтенант. – Я вас спрашиваю. Признаете ли вы себя виновным? – Он снова вынул наган и слегка постучал по столу рукояткой.

– Признаю, – еле слышно сказал Чонкин и покорно кивнул головой.

– Так! – оживился лейтенант и быстро записал что-то в протоколе. – А в чем именно вы признаете себя виновным?

– А именно виновным себя признаю у во всем.

– Ну что ж, тогда распишитесь вот здесь.

И Чонкин расписался. Как умел. Долго выводил заглавное «ч», обмакнул ручку в чернила, написал «о», еще раз обмакнул, написал «н» – и так всю фамилию через весь лист. Лейтенант бережно взял лист протокола и долго дул на драгоценный автограф.

– Вот и молодец, – сказал он. – Хочешь яблочка?

– Давай, – сказал Чонкин, махнув рукой.

Чонкина потом спрашивали строгие люди: что ж ты, мол, так тебя и растак, лопух ты этакий, да как же ты сразу слабинку показал и под всем подписался?

– Спужался больно, – отвечал наш горе-герой и улыбался застенчиво.

Ему говорили:

– Да как же так, ведь ты же до этого проявил, можно сказать, чудеса героизма.

– Свистел он все, – сказал Штык.

– Кто? Я? – ударял себя Чонкин кулаком в грудь. – Да что мне... Ты спроси у лейтенанта. Он же знает.

– Ладно, – махнул рукой Штык. – Теперь все ясно. Пришел, насвистел, с полком сражался.

Чонкин страдал. Ему не так было обидно, что подписал он чего-то, обидно было, что не верили. И как после такого поверить? Ладно бы применяли к нему какие-то особые меры, загоняли б иголки под ногти, зажимали бы в дверях отдельные члены тела, тут хоть деревянным будь, можешь не выдержать. А с ним-то ведь ничего подобного не вытворяли. Ну, сунули под нос револьвер, ну, кто спорит, неприятно, конечно, но терпеть-то все-таки можно.

А вот не вытерпел и подписал, что во время несения караульной службы неоднократно нарушал устав, пел,пил, ел, курил, отправлял естественные надобности, покинул пост, вступил в сожителство с Анной Беляшовой, передвинул объект охраны, нарушал форму одежды (появлялся среди местного населения в одном белье), пьянствовал, вел аморальный и даже разнузданный образ жизни; узнав о начале войны, не принял никаких мер, чтобы явиться к месту службы, уклонившись тем самым от исполнения своего воинского долга, что равносильно дезертирству.

Вот и развеян миф о легендарном герое Чонкине. И разочарованный автор пребывает в сомнении, стоит ли ему продолжать жизнеописание этой личности. Автор смущен. Как быть и что делать? Как держать ответ перед суровым читателем? Ведь он не только суров, он доверчив. Ну ладно, смирился он. Пусть этот Чонкин кривоног и



лопоух, и размер головы в общем-то невелик, но ведь не зря же автор именно такого героя подсовывает, должен же он, если уж назван героем, подвиг какой-нибудь большой совершить.

Да, должен. Но боится. Чем больше подвиг, тем его совершать страшнее.

Каждое утро Нюра приходила на площадь перед Учреждением и стояла под тем самым деревом, верхушку которого видел Чонкин из кабинета лейтенанта Филиппова. Она приходила, стояла, вертела в руках свою почтальонскую сумку и разглядывала входную дверь, надеясь неизвестно на что. Подняться на крыльцо и войти в эту дверь она не решалась, а просто так стоять – для чего ж?

Работники Учреждения шли по утрам мимо Нюры и скрывались за этой таинственной дверью. Некоторые из них были Нюре знакомы, но появились и новые. Знакомым Нюра кивала головой и издали кричала: «Эй, здравствуй!» Одни из них вздрагивали, недоуменно смотрели на Нюру и, пробурчав что-то себе под нос, двигались дальше. Другие же проходили, даже не вздрогнув, словно колебания атмосферы никак не влияли на их барабанные перепонки. Нюра невольно робела, не решаясь подступить к столь важным персонам с такой ерундой, как Чонкин.

Топталась под деревом, потом шла на почту, набивала сумку письмами, возвращалась сюда же, опять топталась и только к вечеру добиралась до Красного. Разносила письма, кормила оголодавшую за день скотину, а сама ела ли, нет ли – бог знает. А потом была бесконечная ночь, и мокрая от слез подушка, и привычный путь в город Долгов, и бессмысленное стояние под деревом.

В сумке ее лежал узелок, а в нем – два засохших пирога с картошкой, пяток варенных вкрутую яиц и набитый махоркой кисет с витой надписью, вышитой бледными мулине: «Ване от Нюры с приветом».

Однажды ей повезло. Она стояла так же под деревом, когда к ней подошла дамочка в сапогах и с папиросой, спросила у Нюры, кого она ждет и зачем, сказала «сейчас» и скрылась в дверях Учреждения. Нюре пора уже было быть на почте, но не упускать же такой случай. Она подождала, и вскоре в тех же дверях появился лейтенант Филиппов в новой форме и хорошо начищенных сапогах. Он вышел как будто просто так, посмотрел на небо, потянулся, опустил глаза и увидел Нюру.

– Эй, здравствуй! – крикнула ему Нюра и приветливо улыбнулась.

– Вы ко мне? – спросил лейтенант, глядя на Нюру, как на незнакомую женщину.

– К тебе, – кивнула Нюра и, осмелев, приблизилась к лейтенанту. – Как он там-то?

– Это кто же? – благодушно спросил лейтенант.

– Да Ванька же, – доверчиво сказала Нюра, не поняв игры.

– Какой Ванька?

– Да Чонкин же.

– Чонкин, Чонкин... – повторил лейтенант, как бы мучительно припоминая. Достал из кармана папиросу, закурил. – Чонкин... – пробормотал он, поморщив лоб. – Что-то вроде слышал. А как звать-то?

– Иваном, – уныло сказала Нюра. До нее дошло, что лейтенант шутит, но ответить ему тем же она не могла.

– Иван Чонкин! – звучно произнес лейтенант, как бы пробуя это имя на вкус. – Кажись, есть такой. А вы ему, собственно говоря, кем доводитеесь?

– Сам знаешь! – Нюра начала сердиться.

– Я не знаю, – улыбнулся лейтенант доброжелательно. – Может быть, он ваш муж?

– Муж, – мрачно кивнула Нюра.

– А где это записано?

– А нигде. Я с ним жила без записи.

– Мало ли кто с кем жил, – заметил лейтенант философски. – У нас в деревне один с козой жил. Документ какой есть, что вы вместе жили?

Нюра не ответила. Раскручивая в руке сумку то в одну сторону, то в другую, она исподлобья смотрела на лейтенанта.

– Значит, нет документа? – допытывался лейтенант. – Ну вот, я так и думал. Значит, вы ему посторонняя. А посторонним справки не выдаются. Ясно? – Он выплюнул погасшую папиросу и посмотрел на Нюру.

– Да как же... – начала было Нюра.

– А вот так же! – Лейтенант вдруг озверел и, сбегав с крыльца, приблизился к Нюре. – Вот так же! – закричал он ей в лицо. – Нет никакого Чонкина! Нет, не было и не будет! А ты тут лучше не ходи и не путайся под ногами, а то и тебя возьмем как соучастницу.

– Так ведь я... – сказала Нюра и заплакала.

– И плакать нечего, – сбавил тон Филиппов. – Тебе никто ничего плохого не делает. Мы тебя потому и не берем, что ты к нему никакого отношения не имеешь, потому что посторонняя. И запомни это как следует: по-сто-ронняя.

С этими словами он повернулся, взбежал на крыльцо и скрылся за дверью.

Перед столом председателя Голубева стоял инструктор райкома Чмыхалов, высокий худой мужчина с красным, вероятно от пьянства, носом на длинном унылом лице. Он стоял в надетом поверх телогрейки длинном брезентовом плаще с откинутым капюшоном, а в руках держал плетку-треххвостку, которой постукивал по голенищу резинового сапога.

За окном, привязанная к крыльцу, понуро мокла на осеннем дожде гнедая лошадь Чмыхалова.

В конторе было жарко натоплено. Чмыхалов потел, утирался рукавом, шмыгал носом и в который раз спрашивал председателя, почему в колхозе не производится уборка хлеба.

– Посмотри в окно, увидишь, – отвечал председатель.

– А мне в окно смотреть нечего, – скучно гундосил Чмыхалов. – Я смотрю в партийные указания.

– Во, – сказал председатель и покрутил у виска пальцем. – Указания, указания... Укажи дождю, чтобы он перестал. Вы там, в райкоме, сидите и не знаю чем думаете. Уперлись в свои указания, как бараны.

– Как кто? – переспросил быстро Чмыхалов.

– Как овечки, – смягчил свое определение Голубев.

– Сразу, значит, пошел на попятную. – Чмыхалов преобразился, и глаза его заблестели. – Выходит, значит, по-твоему, в райкоме сидят бараны?

– Ты мне политику не шей, – сказал председатель, поднимаясь. – Я тебе говорю, дождь идет, а в дождь убирают только дураки и вредители.

– Ну и договорился! – развел руками Чмыхалов. – Значит, в райкоме сидят бараны, дураки и вредители. И значит, вся наша партия...

Договорить он не успел. Голубев выскочил из-за стола, схватил Чмыхалова одной рукой за шкурку, другой за штаны и, согнув в три погибели, поволок к выходу.

Нюра Беляшова, появившись к тому времени у конторы, видела, как на мокром крыльце, несогласованно болтая ногами и руками,

неожиданно возник Чмыхалов. Длинное его лицо было озарено разнообразными переживаниями. Нюра не успела удивиться и понять, в чем дело, когда Чмыхалов, взмахнув руками, как птица, оторвался от крыльца и полетел. Полы плаща раскинулись, а капюшон вздулся, как парашют. Полет был недолгим. Перелетев через все ступени, Чмыхалов коснулся земли, подпрыгнул и побежал, однако нижняя его часть не смогла догнать верхнюю, и он рухнул в грязь, вытянув вперед руки, словно ловил курицу.

Поднимался он медленно. Его руки, живот, колени и даже одна щека были в грязи. Размазав по щеке грязь кулаком с зажатой в нем плеткой, Чмыхалов подошел к покорно ожидавшей его лошади, отвязал ее и прыгающей ногой долго не мог попасть в стремя. Наконец это ему удалось, он взгромоздился в скользкое седло, повернул к Голубеву грязное и жалкое лицо и сказал чуть не плача:

– Ничего, я тебе еще покажу! – Отъехал на несколько шагов, обернулся и крикнул смелее, хотя и визгливо: – Покажу! Покажу-у! – и угрожающе поднял руку с плеткой. Лошадь с перепугу рванула. Чмыхалов повалился на спину и задрал ноги, но резким движением вернулся в нормальное положение и быстро стал удаляться. Председатель проводил его задумчивым взглядом и перевел глаза на Нюру.

– Ты ко мне?

– С почтой, – сказала Нюра.

– Заходи.

В кабинете председателя она выложила на его стол газеты, журнал «Крестьянка», «Блокнот агитатора», четыре письма, три открытки и один толстый пакет. Голубев схватил «Правду» и стал читать сводку Совинформбюро о положении на фронте, а когда поднял глаза, Нюра все еще стояла перед ним, переминаясь с ноги на ногу. В одной руке она держала сумку, другую с какой-то бумагой протягивала Голубеву.

– Что это? – посмотрел на бумагу Голубев.

– Тимофеич, подпиши, а?

Счетовод Волков сидел в соседней комнате и одной рукой крутил сигарку, помогая себе плечом и подбородком. Из председательского кабинета доносился какой-то шум. Волков послунил газетку и замер, прислушиваясь. Сначала он услышал голос председателя: «Ну ты даешь!», потом что-то сказала Нюра, потом опять председатель: «Не

могу, и не проси, никак не могу. Да ты что, в тюрьму меня посадить хочешь?»

Отложив недокрученную сигарку, Волков заглянул к председателю. Он увидел заплаканное лицо Нюры, смущенное лицо Голубева и услышал его голос:

– Ты пойми, Нюра, я бы рад, но как же я могу? Я же председатель, я не могу подписывать такие бумаги.

Нюра всхлипнула, утираясь концами полушалка.

Председатель увидел Волкова и поманил пальцем:

– Поди сюда. Ты посмотри, что она дает мне на подпись.

Волков подошел к председателю, взял протянутую ему бумагу и медленно, вдумываясь в содержание, прочел:

### ***СПРАВКА***

Дана настоящая Беляшовой А.А. в том, что она действительно жила с военным служащим Чонкиным Иваном.

– Это ты сама писала?

– Сама. – Нюра с надеждой глядела на Волкова.

– Это тебе в сельсовет надо идтить с этой справкой. А мы колхоз, мы таких справок не выдаем.

– Да и в сельсовете не подпишут, – сказал Голубев.

– Пожалуй, не подпишут, – подтвердил Волков, положив справку на стол.

– Ну как же не подпишут? – сказала Нюра. – Я ж не чего-нибудь... я ж с ним по правде жила.

– По правде, по правде, никто ж не спорит, – сказал председатель. – Но справку тебе никто не даст. А ты вот что, – Голубев поднялся и вышел из-за стола, – ты иди прямо в райком, к Ревкину прямо. И как в кабинет войдешь, так сумку на пол кидай и сама на пол кидайся, глаза вытараскивай и кричи... – Голубев в самом деле вытарасил глаза, побагровел и вдруг, изображая, как должна вести себя Нюра, завизжал: – «Я беременная!»

– Ой, батюшки! – Нюра со страху даже присела. – Спужал-то как!

– Спужал? То-то! – Председатель подмигнул Волкову, который смотрел на все без интереса и без живости в глазах. – Он тоже спужается. На горло его бери. Кричи: «Беременная! Отдай мне моего Ивана!» – кричи.

– Думаешь, поможет? – заинтересовалась Нюра.

Голубев подумал, посмотрел на Волкова.

– Пожалуй, что не поможет, – признал он нехотя.

– Для чего ж кричать?

– Ну так. Душу отведешь.

Нюра взяла бумагу, сказала: «Ну ладно, тогда до свидания». Пошла к выходу, взялась уже за ручку двери, остановилась.

– Тимофеич, – сказала она, смущаясь. – А ведь я и вправду того...

– Чего того? – не понял Иван Тимофеевич.

– Чижолая я, – сказала она, заливаясь краской.



Двое или трое суток, с перерывом на ночь, просидела Нюра на скамейке перед приемной секретаря райкома Ревкина, который то выезжал по вызову какого-то начальства, то сам вызывал к себе кого-то, то проводил какие-то конференции, то готовился к бюро райкома. И хотя на дверях его была помещена табличка с указанием дней и часов приема, ожидание Ревкина было похоже на езду в поезде, который идет без расписания, неизвестно, в каком направлении, и неизвестно, дойдет ли когда до конечного пункта.

Райком жил напряженной будничной жизнью, по коридорчику деловито сновали, разнося бумаги на подпись, секретарши в белых блузках и важно скрипели хромовыми сапогами местные начальники в полувоенных, а то и целиком в военных костюмах. Иногда появлялся и сам Ревкин, и тогда сидящие на скамеечке вскидывали головы и смотрели на него, как на высшее существо, не решаясь приблизиться. А если кто и решался, то тут же из ничего возникала секретарша, пожилая тетя в очках, и, применяя физическую силу, кричала:

– Гражданин! Гражданин! Вы же видите, что товарищ Ревкин очень занят. Как только у него будет свободное время, он всех примет.

Пока она это говорила, пока она отпихивала растерянного гражданина, товарищ Ревкин успевал скрыться за дверью, а уж туда пробиться к нему не было никакой возможности.

На третьи или на четвертые сутки всем ожидавшим под дверью приемной было объявлено, что в течение нескольких дней товарищ Ревкин вести прием не будет, потому что он готовится к предстоящему очень важному заседанию бюро, а вместо него всех примет товарищ Борисов. Некоторые из очереди были этим разочарованы, Нюра же на первых порах начальников не различала, для нее они все были на одно лицо.

Сколько еще она прождала своей очереди, сейчас, за давностью лет, установить никак невозможно, но настойчивость ее была вознаграждена, и она попала в конце концов в кабинет, где за столом сидел человек, выразивший своим скучным видом, что все человеческое ему совершенно чуждо.

Он смотрел на Нюру без всякого любопытства, как бы заранее понимая, что дело, с которым она осмелилась его беспокоить, никакого интереса не представляет, особенно теперь, на фоне совершающихся грандиозных событий. Он сидел, молча смотрел на Нюру, и она, не дождавшись никакого вопроса, вынуждена была сказать, что пришла хлопотать «за своего мужика».

– За какого? – Борисов в первый раз разомкнул губы, и стало ясно, что он не статуя.

– За Ивана, – сказала Нюра и расплакалась.

Он пошевелился, достал карманные часы и стал смотреть на них, то ли давая понять, что он человек занятой, то ли засекая, сколько времени Нюра проплачет. Может быть, Нюра плакала дольше, чем полагалось, он не выдержал и сказал, не повышая голоса:

– Гражданка, здесь слезам не верят.

Слова эти, сказанные так просто, произвели на Нюру должное впечатление, ей и в самом деле тут же плакать расхотелось.

– Теперь, – сказал Борисов, продолжая смотреть на часы, – излагайте быстро фамилию Ивана, что с ним случилось и чего вы хотите.

Она начала излагать, назвала фамилию, он оживился и быстро переспросил: «Как? Как?» Она повторила: «Чонкин».

– Чонкин, – задумчиво повторил он и записал фамилию на листке настольного календаря. – Значит, вы говорите, что он арестован? Так что же вас беспокоит?

– Да как же? – сказала Нюра.

– А что – как же? – спросил Борисов. – Раз он арестован, значит, будет суд. Если этот ваш Чонкин виноват, его накажут, если нет... – Тут Борисов, может быть, хотел сказать «оправдают», но, подумав, сказал: – ...тогда суд примет другое решение.

– Дак а как же я? – сказала Нюра.

– А что вы?

Нюра заплакала и, утираясь концом платка, стала путано объяснять, что ее считают посторонней, а на самом деле она не посторонняя, потому что она с ним, то есть с Иваном, хотя и без справки, жила.

Появились признаки того, что Борисов начал терять терпение.

– Гражданочка, – сказал он, барабанил пальцами по столу, – что вы мне городите? Какое мне дело до того, с кем вы жили? Неужели вы думаете, что райкому больше нечего делать, как заниматься такими глупостями? Идите отсюда!

– Куда? – сквозь слезы спросила Нюра.

– Не знаю. К прокурору или еще к кому. Идите!

Но Нюра не уходила. Она стояла и плакала. А Борисов сидел и удивлялся: неужели эта глупая женщина не может понять, кто она, где находится и перед кем стоит. Возмущенный этим, он вышел из-за стола и стал теснить Нюру к выходу:

– Ну ладно, нечего здесь плакать. Здесь вам не это самое. Здесь мы никому хулиганничать не позволим. Здесь и не таким рога обламывали.

Отступая под его напором, Нюра пятилась до самой двери и, задом вышибая дверь, выскочила из нее как ошпаренная.

Прокурор Павел Трофимович Евпраксеин в трезвом виде всегда знал, что он делает и для чего. Он понимал, что многие другие лица не обладают подобным знанием, и поэтому обычно не удивлялся странности их поведения.

Нюра, уйдя от Борисова ни с чем, пришла к выводу, что вела себя неправильно. Теперь она решила действовать так, как советовал ей Иван Тимофеевич Голубев. Но одно дело решить, а другое – сделать. Когда она вошла в кабинет и увидела крупного важного человека за большим столом под большим портретом, она как-то сразу же оробела и, переступая с ноги на ногу, попятилась даже слегка назад, но, вернувшись к порогу, остановилась.

– Вы ко мне? – спросил прокурор приветливо.

– К вам, – сказала Нюра так тихо, что сама слов своих не слышала.

– И по какому же делу?

– Я беременная, – сказала Нюра.

Если бы она последовала совету Голубева в полном объеме, то есть завизжала, кинула на пол сумку и сама кинулась на пол, может быть, это и произвело бы на прокурора должное впечатление. Но она смутилась, покраснела и эту фразу произнесла так тихо, что не была уверена, услышал ли ее прокурор или нет.

– Не понял. Какая? – Прокурор приложил к уху ладонь.

– Беременная, – пролепетала Нюра, смутившись еще больше.

– Громче.

Когда она произнесла то же слово в третий раз, прокурор наконец-то ее услышал. Он улыбнулся и вышел из-за стола.

– Беременная? – переспросил он и, мягко взяв Нюру за плечи, подвел к окну. – Если беременная, вам не сюда, вам во-он куда надо.

И показал ей стоящее на другой стороне улицы обшито тесом здание, в котором, как указывали вывески, находились родильный дом и женская консультация.

– Нет, – сказала Нюра, – я не насчет этого, я насчет мужика.

– От фронта никого не освобождаем, – быстро сказал прокурор.

– Да нет, – сказала Нюра.

– А если насчет алиментов, то пока рано. Только после рождения ребенка.

– Да не в том, – улыбнулась Нюра. По сравнению с тем, что предполагал прокурор, истинное ее дело показалось ей гораздо более простым и легкоразрешимым. – Мужика-то у меня посадили.

– А-а, – сказал прокурор. – Теперь понял. И за что же его?

– А ни за что, – простодушно сказала Нюра.

– Ни за что? – удивился прокурор. – А вы в какой стране проживаете?

– Как это? – не поняла Нюра.

– Ну, я спрашиваю, где вы живете? В Англии, в Америке или, может, в фашистской Германии, а?

– Да нет же, – объяснила Нюра. – Я в Красном живу, в деревне, отсюда семь километров, может быть, слышали?

– Что-то слышал, – кивнул прокурор. – И что, в этом вашем Красном советской власти нет, что ли, а?

– В Красном нет, – подтвердила Нюра.

– Как, совсем нет?

– Совсем нет, – сказала Нюра. – Сельсовет-то у нас в Ново-Клюквине, за речкой. А у нас только колхоз.

– А, понятно, понятно, – ухватил прокурор. Он взял лист бумаги и стал на нем что-то чертить. – Вот это, значит, речка, здесь, за речкой, советская власть, вот мы ее так заштрихуем. А с этой стороны стало быть, совсем ничего. Да-а, – сказал он, разглядывая с интересом чертеж, – тогда совсем, конечно, другое дело. А то уж я было подумал, как это: советская власть и ни за что. Я лично как прокурор, ну и вообще как советский человек, о таких безобразиях никогда не слышал. Нет, конечно, бывают у нас отдельные лица, которые по глупости или с умыслом распространяют разные злостные слухи, ну таких-то людей мы, конечно, сажаем. За клевету на наш строй, на наше общество, на наш народ, но это же нельзя сказать – ни за что. Так же?

– Так, – согласилась Нюра.

– Ну и чего же вы от меня хотите?

– Так я ж насчет своего мужика, – напомнила Нюра.

– А я-то тут при чем? – развел руками Павел Трофимович. – Я же советский прокурор. И власть моя распространяется только на советские территории. А где советской власти нет, там я бессилен.

Из сказанного прокурором Нюра не поняла ничего и сидела, ожидая продолжения разговора. Но прокурор никакого разговора продолжать не собирался. Он достал из пластмассового футляра очки, напялил их на нос и, раскрыв папку с надписью «Дело №», начал читать лежавшие в ней документы. Нюра терпеливо ждала. Наконец прокурор поднял глаза и удивился:

– Вы еще здесь?

– Так я насчет...

– ...свово мужика?

– Ну да, – кивнула Нюра.

– Разве я непонятно объяснил? Ну что ж, попробую иначе. Запомните и зарубите себе на носу, – он повысил голос и стал грозить пальцем, – у нас в Советском Союзе ни за что никого не сажают. И я, как прокурор, предупреждаю вас самым строгим образом: вы такие разговорчики бросьте. Да-да, и нечего прикрываться своей беременностью. Мы никому – ни беременным, ни всяким прочим не позволим. Ясно?

– Ясно, – оробела Нюра.

– Ну вот и хорошо, – быстро помягчел прокурор. – В основном договорились. А что касается частностей, то их можно и обсудить. Если в отношении вашего мужа были допущены отдельные нарушения закона, мы их пресечем, а виновных, если они есть, накажем. Это я вам обещаю как прокурор. Как фамилия вашего мужа?

– Чонкин, – сказала Нюра. – Чонкин Иван.

– Чонкин? – прокурор вспомнил, что когда-то подписывал ордер на арест именно Чонкина, и потом слышал, что этот же Чонкин оказался главарем какой-то банды и что эта банда была разгромлена. – Чонкин, Чонкин, – бормотал прокурор. – Значит, вы говорите, Чонкин. Одну минуточку. – Он вежливо улыбнулся. – Будьте добры, подождите меня в коридоре, я все выясню и тогда вам скажу.

Нюра вышла в коридор и там провела какое-то время. В это самое время прокурор Евпраксеин кому-то позвонил по телефону и разговаривал стоя и шепотом, прикрывая трубку ладонью и поглядывая на дверь. Затем он вышел в коридор, пригласил Нюру к себе, сам сел за стол, а она осталась стоять.

– Значит, вы говорите – Чонкин? – спросил прокурор. – А ваша как фамилия?

– Беляшова, – неохотно сказала Нюра, понимая, что этот вопрос задан ей неспроста.

– Правильно, – сказал прокурор. – Беляшова. В браке вы с этим Чонкиным не состоите. Так? Так. То есть, собственно говоря, вы к этому Чонкину, которого, кстати сказать, ждет очень суровое наказание, никакого отношения не имеете.

– Да как же, – сказала Нюра, – я ж беременная.

– Тем более, – убежденно сказал прокурор. – Зачем же вам связывать свою судьбу и судьбу будущего ребенка с этим преступником?

Тут он понес какую-то околесицу и стал говорить от имени какого-то множественного лица, которым или частью которого он как бы являлся.

– Мы, – сказал он, – не сомневаемся, что вы хорошая работница и настоящий советский человек и что ваша связь с этим Чонкиным была совершенно случайной. Именно поэтому мы вас и не привлекаем к ответственности. Но именно поэтому вы должны от этого Чонкина решительно отмежеваться...

Дальше пошла и вовсе какая-то тарабарщина: трудное время... сложная международная обстановка... противоборство двух миров... нельзя сидеть между двух стульев... необходимо определить, по какую сторону баррикад...

– И поэтому, – закончил он свою мысль, – с вашей стороны, было бы правильно не защищать вашего Чонкина, а, наоборот, порвать с ним самым решительным образом. Было бы уместно заявить даже письменно, что я, такая-то и такая-то, вступила в интимную связь с Чонкиным случайно и неосмотрительно, не зная его звериной сущности, о чем сожалею. А? Как вы думаете, можно так написать?

Прокурор посмотрел на Нюру и увидел ее глаза, полные слез.

– Дяденька, – сказала Нюра, хлюпая носом, – он ведь, Ванька, хороший.

– Хороший? – Прокурор нахмурился и отвел глаза. – Интересно, за что же его арестовали, если он хороший?

– Так ни за что же, – сказала Нюра.

– Ни за что? – сердито переспросил Евпраксеин. – Ну что же, Беляшова, вы, я вижу, не просто заблуждаетесь. Вы упорствуете в

своих заблуждениях. Я вижу, для вас время, проведенное с этим Чонкиным, не прошло даром. Я вижу, он таки успел вас обработать.

Думая, что прокурор имеет в виду ее беременность, Нюра кивнула и согласилась сквозь слезы:

– Успел.



Сейчас, конечно, в Долгове уже мало кто помнит прокурора Павла Трофимовича Евпраксеина, хотя в те времена невообразимо было предположение, что его вообще когда-то можно будет забыть. Тогда слава его была прочной, гремела на весь район и даже выходила иногда за пределы. Все знали и говорили или, вернее, шептали, что прокурор Евпраксеин – это зверь. Что к нему попадешь – живым не выйдешь. Что спуску никому не дает и ни слезой его не разжалобишь, ни взяткой не размягчишь.

И вид у него был зверский, и вел он себя по-зверски, и никто бы тогда не поверил, что на самом деле был он человек в общем-то добрый, но уж очень запуганный. И оттого что был запуганный, до смерти он боялся, что доброту его кто-нибудь разгадает, разглядит и раскусит. И чтобы этого не случилось, Павел Тимофеевич изо дня в день скрывал свою истинную сущность, и скрывал так умело, что иные слабые духом люди от одного только прокурорского взгляда чуть не падали в обморок.

Конечно, среди прокуроров встречались разные люди. Распространен среди них был тип и истинно жестокого существа, которому что человек, что муха. Но такой жестокий, зная, что он жестокий, и потому не рискуя разоблачением, мог какую-то жертву и упустить по забывчивости, по пьянке или из корыстного соображения.

А вот Евпраксеин, чувствуя в себе склонность к чему-то хорошему, очень боялся, что пронюхают и узнают, и потому не упускал ничего и никого.

Но у него была одна слабость, распространенная даже среди прокуроров, – он любил выпить. И когда выпивал, раскрывался.

В тот день, после разговора с Нюрой, он зашел в чайную, с кем-то там встретился, с кем-то там выпил и возвращался домой поздно вечером. Пальто на нем было расстегнуто, шарф торчал из рукава, а шапку он забыл в чайной.

Прокурор шел нетвердой походкой, качаясь из стороны в сторону, спотыкаясь, останавливаясь и размахивая руками.

– Дура! – говорил он воображаемой собеседнице. – Подумаешь – я беременная. Я, может, тоже беременный. А если беременная, так что

же тебя, на руках носить? Беременная! Тоже невидаль, ха-ха, беременная. Так тебя ж никто не сажает. С тобой по-хорошему. К тебе гуманизм проявляют. Отрекись от него – и все, и никто тебя не тронет. Так нет же. Дяденька, он хороший. А чего в нем хорошего? Да мне, если бы разрешили, я, может, еще лучше был бы. Да не могу, потому что я кто? Я прокурор. Да, прокурор. – Он взмахнул рукой, и перед глазами его мелькнула пестрая лента. «Змея!» – догадался Павел Трофимович. – Змея! – закричал он не своим голосом и кинулся со всех ног бежать. Споткнулся, упал, ударился головой о дорогу. К счастью, в те времена улицы города Долгова еще не имели твердого покрытия. Сейчас, правда, многое переменилось. Впрочем, твердого покрытия, кажется, нет и сейчас. Ну а тогда если бы было покрытие, то одним прокурором могло бы стать меньше. А прокуроров нужно беречь. Вы скажете, а чего их беречь, их много. Это, конечно, так. Но все-таки жалко и прокуроров.

Ударившись головой, прокурор Евпраксеин лежал пластом на дороге и не подавал сколько-нибудь отчетливых признаков жизни.

Потом, придя в себя, он слышал, что кто-то подошел, кто-то склонился над его распростертым телом. Прокурор застонал.

– Вы живы? – участливо спросил незнакомый мужской голос.

– Не знаю. – Евпраксеин стал подбирать под себя руки, чтобы опереться, и опять увидел, что к нему ползет что-то длинное.

– Опять змея! – сказал он удрученно и уронил голову.

– Что вы, гражданин, какая змея? Это ваш шарф.

– Шарф? – Прокурор приоткрыл один глаз, подергал рукой, и то длинное тоже подергалось. – Ты смотри, шарф. А я думал – змея. А я змей не люблю. Я их боюсь. Ты думаешь, я ничего не боюсь? Нет, боюсь. Потому что я живое существо, а все живое боится.

С помощью незнакомца он поднялся на ноги и качался, не решаясь сдвинуться с места.

– Спасибо, друг! – бормотал он. – Спасибо! Не знаю даже, чем тебя отблагодарить. Что для тебя сделать?

– Прикурить не найдется? – спросил незнакомец и вынул из-за уха сигарку.

– Сейчас, – заторопился прокурор. Он был преисполнен благодарности, и ему действительно хотелось сделать что-то хорошее для этого незнакомца, но, безусловно, доброго человека. – Одну

минуточку. – Он полез в левый карман, для этого ему пришлось почему-то обернуться на триста шестьдесят градусов влево. В левом кармане спичек не оказалось. Тогда он полез в правый карман и опять сделал полный оборот вокруг своей оси вправо. Нашел в правом кармане коробок, открыл и стал доставать спички, рассыпая их по земле. Наконец выловил одну спичку и, замахиваясь ею, как саблей, попытался чиркнуть по коробку.

– Дайте, я сам, – сказал незнакомец.

– Нет-нет, – сказал прокурор. – Я хочу проявить ува... ува... уваже...

Руки дрожали, спички ломались. Наконец одна из них зашипела и вспыхнула. Евпраксеин поднял ее на уровень своего лица. Незнакомец с сигаркой потянулся к огню, глянул на Евпраксеина, вздрогнул и отшатнулся.

– Вы прокурор? – спросил он взволнованно.

– Прокурор, – кивнул Евпраксеин.

Легким порывом ветра задуло спичку. Прокурор достал вторую, чиркнул и увидел, что незнакомец быстро удаляется от него.

– Да куда же ты? – растерялся Павел Трофимович. – На, прикури. Слышь, друг! Братишка! Остановись!

Он даже пробежал несколько шагов за незнакомцем, но потом махнул рукой, остановился и, сказав: «Эх ты, дурак!», плюнул.

Затем вытащил из рукава шарф, намотал его поверх воротника пальто и пошел дальше, рассуждая с самим собой:

– Тоже мне трус поганый, прокурора испугался. И правильно делаешь, что боишься, – сказал Павел Трофимович, обращаясь к оказавшемуся на пути телеграфному столбу. – Правильно! Ты думаешь, человек человеку кто? Друг? Товарищ? Братишка? На-ка выкуси! Человек человеку люпус ест! Человек человеку волчище вот с такими клыками. Да, конечно, я – прокурор. Я прокурор! – повторил он и пошел дальше. – Я коммунист. Я солдат партии. Я не имею права на мягкотелость. Вот побьем немцев... Вот коммунизм построим, и тогда всем по потребности... Тогда будем каждого по головке... гладить. А сейчас не время... – Он остановился, подумал. – И вчера было не время. – Он еще подумал и оглянулся. – И завтра будет не время. – И снова повысил голос. – Но все равно! Я боец! Я солдат!! Я

палач!!! Я убийца!!!! Я сволочь!!!! – завизжал он и стукнул себя кулаком в грудь.

Азалия Михайловна, или просто Аза, жена прокурора, сидела перед зеркалом и растирала на скулах крем.

Было поздно. Дети Аленка и Трофимка давно легли спать. Тарелка репродуктора едва дребезжала, передавая легкую музыку. За дверью слышались шаги. Аза насторожилась. Дверь распахнулась, и на пороге в расстегнутом грязном пальто появился Павел Трофимович.

– Господи! Опять? – ужаснулась Аза.

– Опять, – кивнул Павел Трофимович. – А ты все это? – Он потер под глазами, как будто тоже мазался кремом. – Хочешь быть молодой? Не поможет. Нет. Жизнь кого хочешь сморщит, даже жену прокурора.

– Паша! – сказала она с упреком.

– А что Паша? Что Паша? – Он погладил пальцем ее халат. – Халатик-то шелковый.

– Ну, Паша, ты же сам купил мне его ко дню рождения.

– Да, конечно. – Расхаживая по комнате, он делал замысловатые движения руками. – Я купил. К дню рождения. А на какие шиши? А за что мне эти шиши платят? А шиши мне эти платят за то, что я людей... – он приблизил к ней красное лицо и резко выдохнул: – ... убиваю.

– Паша! – закричала она. – Подумай, что ты говоришь!

– Ха-ха, – засмеялся он, – подумай. Давно подумал. А что делать? У меня семья, и все вы жрать хотите!

– Паша! – сказала она с упреком. – Ты же детей разбудишь.

– Ах, детей! – Он ворвался в детскую и, отпихивая повисшую на руке жену, заорал: – А ну вставайте, паразиты! Я хочу вам объявить, что ваш отец палач и убийца!

Они не спали. Семиклассница Аленка и пятиклассник Трофим сидели каждый на своей кровати, подтянув к подбородкам одеяла и прижимаясь к стенке.

– Аленка! Трофимка! – широко расставив руки, мать загораживала их от отца. – Не слушайте папу. Папа пьяный.

– Да, я пьяный. И потому говорю правду.

Он вышел в переднюю и на листе, вырванном из Аленкиной тетради, держа ручку в кулаке, разбрызгивая чернила, написал: «Я, прокурор Евпраксеин П. Т., находясь в здравом уме и трезвой

(зачеркнуто), признаю свое соучастие и объявляю о своем выходе из. Я знаю, на что иду, но у меня больше нет сил, и мой поступок продиктован моей гражданской совестью и».

На этом он закончил и, не поставив ни точки, ни многоточия, ни времени, ни числа, расписался. И щедрым жестом протянул бумагу жене:

– На, отнеси!

– Кому?

– Им.

– Хорошо, – сказала она покорно, – я отнесу. Ты разденься и отдохни, а я отнесу.

– Отнесешь? – Он вскочил. – Посадить меня хочешь? – загремел, торжествуя. – Дай сюда! – Он вырвал бумагу и разорвал. – Я знал, что ты такая, что только и ждешь, как бы избавиться. Вот ко мне сегодня приходила... простая русская женщина... даже не расписана, а готова ради него... А ты-ы!.. Под расстрел меня хочешь? Сволочь! Не дождешься. Я сам...

И тут повторилось то, что случилось не раз. Он сорвал со стены двустволку и закричал:

– Выходи!

– Паша, – сказала она грустно, заранее зная, что ее довод не подействует. – Ты хоть бы детей постеснялся.

В прежние времена дети кидались к отцу, хватали его за ноги и кричали: «Папочка!» Теперь они сидели в своей комнате и с испугом следили за происходящим через открытые двери.

– Выходи! – торопил прокурор.

– погоди, я хоть сапоги надену.

– Ну да, еще сапоги пачкать. И так хороша будешь.

Босую, покорную, в одном халате, надетом на голое тело, он вывел ее к общественной уборной. Было холодно, но светло, полная луна выплыла из-за туч и равнодушно освещала место грядущей казни.

– Именем Российской Советской Федеративной... – торжественно произнес прокурор, поднимая ружье.

Раньше, когда случалось такое, выбегали соседи. Теперь же не было никого. Только одно окно растворилось, и женский голос спросил:

– Ну, чего там?

А другой, тоже женский, ответил:

– Прокурор обратно Азалию на расстрел вывел.

Окно тут же захлопнулось. Прокурор невольно оглянулся на посторонние звуки, а когда повернулся опять, Азалии возле уборной не было. Тут и луна закатилась, стало совсем темно.

– Аза! – крикнул прокурор в темноту. – Выходи! Не препятствуй исполнению приговора.

Азалия не отзывалась. Павел Трофимович обошел уборную, заглянул в обе ее половины, вступил в кучу, наваленную перед входом, выругался и с ружьем наперевес пошел домой. Но дома дверь оказалась запертой изнутри. Прокурор стучал в дверь кулаками и ногами, кричал: «Аза! Открой! Именем закона! Я больше не буду!», – но, не дождавшись никакого ответа, лег спать на половик под дверью.

Утром он, как обычно, ползал перед женой на коленях, хватал ее за ноги, умолял простить и обещал выбросить ружье на помойку или продать.

После этого, отчасти прощенный, напившись крепкого чаю, пошел на работу и исполнял свои обязанности твердо, как полагалось.

Нюра шла и шла по длинным коридорам учреждений, которые слились для нее в один бесконечный коридор с грязными полами, обшарпанными лавками. На лавках в робких и выжидательных позах сидели просители, то есть люди, которые еще чего-то хотели от этой жизни, искатели правды, борцы за справедливость, кляузники, униженные и оскорбленные в драных телогрейках, в лохмотьях, в лаптях, в чунях, в галошах на босу ногу и вовсе босые, старики и старухи, бабы с детишками, молодой парнишка на костылях, пожилой матрос с перевязанной головой, старик в суконном пальто, по которому стадами бродили бледные вши, рахитичный младенец, жевавший хлеб в грязном тряпичном узелке.

Бледный небритый мужчина с лихорадочным блеском в глазах рассказывал Нюре, как следователь отбивал ему почки, объясняя свои действия идеологической войной и сложностью мировой обстановки.

– Перед самой войной, – говорил мужчина, – меня освободили, но я теперь ни на что не способен.

Он показывал Нюре свое длинное заявление, в котором предлагал ввести статус инвалида идеологической войны, а ему лично дать первую группу с предоставлением бесплатного проезда в городском транспорте.

Была тетка, потерявшая карточки. Она ходила по инстанциям, говорила, что у нее трое детей, что они помрут с голоду. Ей отвечали: «Здесь не богадельня. О детях надо было раньше думать. У нас нет специальных фондов для ротозеев».

Один весьма невзрачного вида гражданин вступил на путь борьбы вовсе из-за ерунды. Как-то ему понадобилось перекрыть крышу, и он обратился к директору совхоза с просьбой о выписке нужного ему количества соломы. Директор отказал на том основании, что проситель недостаточно активно проявлял себя в общественной жизни, то есть не посещал самодеятельность, не выпускал стенгазету, не ходил на собрания, а если и ходил, то не лез на трибуну и пассивно участвовал в общих аплодисментах.

Вместо того чтобы просто украсть эту солому (как делали одни) или дать директору трешку (как делали другие), соломопроситель

решил действовать законным путем, писал жалобы всем, включая Калинина. Ответы возвращались к тем, на кого он жаловался, дважды (один раз в дирекции совхоза, один раз в милиции) он был бит, три месяца его лечили в сумасшедшем доме, однако до конца, как видно, не вылечили.

Все люди, которых встретила Нюра в этом бесконечном коридоре перед бесконечным рядом дверей, сидели здесь иногда сутками, как на вокзале. Время от времени выкликалась фамилия кого-нибудь из сидевших, и тот, заранее снявши шапку и кланяясь, входил в долгожданную дверь, чтобы через минуту выскочить оттуда с помутневшим взором, а то и с воплем, словно из кабинета зубного врача.

За теми дверьми сидели важные лица. Все они работали без наркоза. Они каждого посетителя воспринимали как гидру, желавшую непременно что-нибудь ухватить у нашего рабоче-крестьянского государства. Сами не вырабатывая ничего, кроме ненужных бумаг, они попрекали каждого входящего, будто именно он и живет на шее у государства, будто и так получил слишком много и теперь явился за лишним.

В этом бесконечном коридоре, озаренном постоянным сумеречным светом, всегда сыром и холодном, словно не бывало здесь смены дня и ночи и времен года, текла размеренная и как бы потусторонняя жизнь.

Нюра шла из кабинета в кабинет, из кабинета в кабинет. Временами она забывала, чего хотела добиться, главной целью ее уже было сперва попасть в кабинет, а попав, покинуть его. Лица принимавших ее начальников слились для нее в одно лицо с надутыми щеками и бесчувственным взглядом. Это объединенное Лицо подхватило идею прокурора Евпраксеина и стало развивать ее дальше. И в одном кабинете Лицо сказал, что не просто надо осудить поведение Чонкина, не просто отмежеваться, а сделать это публично, где-нибудь на собрании. А в другом кабинете было сказано, что еще лучше не на собрании, а в печати. А в третьем кабинете было сказано, что еще лучше даже и на собрании, и в печати. Предлагалось ей осудить и свое собственное поведение за политическую близорукость и отсутствие бдительности. Чем дольше, тем больше требовали от нее, не предлагая уже ничего взамен.



Но, заливаясь слезами, впадая в отчаяние, Нюра шла все дальше и дальше и, попав однажды в редакцию газеты «Большевицкие темпы», постучалась в дверь, где висела табличка «Ответственный редактор т. Ермолкин Б.Е.»

Борис Евгеньевич Ермолкин был замечательный в своем роде человек. Это был старый газетный волк, как он сам себя с гордостью называл. Но не из тех волков, которые, высунув язык, гонятся за свежими новостями. Нет, от новостей он как раз всегда шарахался в панике. И если в городе или районе случалось что-нибудь достойное внимания, то есть действительно какая-нибудь новость, Ермолкин делал все, чтобы именно она никак не попала на страницы его газеты. Бывало, читая где-нибудь, что даже какая-то буржуазная газета не могла скрыть чего-то, Ермолкин только руками разводил. Да что ж это в буржуазной газете редактор такой, если чего-то скрыть не может.

Ничем не примечательный с виду человек, обладал Ермолкин испепеляющей страстью – любую статью или заметку выправить от начала до конца так, чтобы читать ее было совсем невозможно. С утра до позднего вечера, не замечая ни дождя, ни солнца, ни времени суток, ни смены времен года, не зная радости любви или выпивки, забыв о собственной семье, проводил он время в своем кабинете за чтением верстки. Ему приносили эти сырые листы, шершавые от вдавненного в них шрифта с кривыми строками. Эти листы и в руки-то взять было бы противно, а он вцеплялся в них, как наркоман, дрожа от нетерпения, расстилал на столе, и начиналось священнодействие.

Нацелив на верстку острый свой карандаш, Ермолкин пристально вглядывался в напечатанные слова и ястребом кидался, если попадалось среди них хоть одно живое. Все обыкновенные слова казались ему недостойными нашей необыкновенной эпохи, и он тут же выправлял слово «дом» на «здание» или «строение», «красноармеец» на «красный воин». Не было у него в газете ни крестьян, ни лошадей, ни верблюдов, а были труженики полей, конское поголовье и корабли пустыни. Люди, упомянутые в газете, не говорили, а заявляли, не спрашивали, а обращали свой вопрос. Немецких летчиков Ермолкин называл фашистскими стервятниками, советских летчиков – сталинскими соколами, а небо – воздушным бассейном или Пятым океаном. Особое место занимало у него в словаре слово «золото». Золотом называлось все, что возможно. Уголь и нефть – черное золото.

Хлопок – белое золото. Газ – голубое золото. Говорят, однажды ему попала заметка о старателях, добытчиках золота, он вернул заметку ответственному секретарю с вопросом, какое именно золото имеется в виду. Тот ответил – обыкновенное. Так потом и было написано в газете: добытчики золота обыкновенного.

Глядя на Ермолкина, трудно было поверить, что родила его обыкновенная женщина, и что пела ему на русском языке колыбельные песни, и что слышал он своими ушами уличные голоса, и что читал он хоть когда-нибудь Пушкина, Гоголя или Толстого. Глядя на Ермолкина, казалось, что родила его типографская машина и завертывала вместо пеленок вот в эти самые гранки и верстки, и, как в эту серую бумагу, навсегда впечатались в его сознание и в каждую его клетку несъедобные и мертвые слова.

Вот к этому удивительному человеку и попала Нюра однажды. Постучав в дверь и услышав «войдите», застала она в кабинете самого редактора, иссохшего на своей работе, и другого, полного, но подвижного и резкого в движениях. Этот другой был некто Константин Цыпин, называвший себя фенологом. Этот фенолог бегал из угла в угол по кабинету и заламывал руки.

– Борис Евгеньевич, – взывал он к редактору. – Я вас очень прошу, не правьте мою заметку, ведь она такая маленькая.

– Ишь чего захотел, – ответил редактор, помешивая ложечкой остывший в стакане чай, – как не править, когда вы пишете: «Наступила пора бабьего лета». У нас, в нашем обществе, баб нет. У нас женщины, труженицы, они стоят у станков, они водят трактора и комбайны, они заменили своих мужей, ушедших на фронт, а вы их оскорбительно называете бабами.

– Я не их, а лето называю бабьим, так говорят в народе.

– Если все слова, что в народе говорят, да в газету... – Редактор покачал облысевшей своей головой.

– Но ведь не писать женское лето, – сказал фенолог.

– Именно женское.

– А может быть, дамское?

– Нет, дамское нам не подходит. А женское – в самый раз.

– Борис Евгеньевич, – завопил фенолог, – вы меня убиваете. Спросите у любого человека, хотя бы у этой посетительницы... Девушка, – обратился он к Нюре, – вы вот, я вижу, из народа. У вас

такое время, когда осень и когда тепло, когда солнышко светит, как называется?

– Кто как хочет, так и называет, – сказала Нюра уклончиво. Ей не хотелось идти против редактора.

– Вот видите, – оживился редактор. – А у нас газета. Мы не можем называть кто как хочет. Вы по какому делу? – благосклонно спросил он у Нюры.

– Да я насчет мужика свово, насчет Чонкина.

Услышав эту фамилию, редактор отодвинул в сторону стакан с чаем, выпрямился и одеревеневшими губами сказал:

– Слушаю вас.

Фенолог Цыпин тут же исчез, словно его и не было.

– Слушаю вас, – повторил редактор.

– Так я вот насчет того же, что как же мне быть, – сказала Нюра, приближаясь к столу. – Чонкин-то мой мужик, а прокурор говорит, отказаться надо.

– Ну, раз прокурор говорит, значит, так и надо сделать, – сказал Ермолкин.

– Как же, – сказала Нюра, покачав головой, – я ведь беременная.

– Беременная? – удивился Ермолкин. – Это меняет дело. Подождите, я должен подумать.

Он обхватил голову двумя руками, закрыл глаза, и похоже было, что действительно погрузился в глубокое размышление. Нюра смотрела на него с интересом, к которому примешивался и испуг, и уважение. Так, обхватив голову руками, Ермолкин просидел, может быть, несколько секунд, но Нюре показалось, что счет шел на минуты. Ермолкин вдруг тряхнул головой и, как бы приходя в себя, долго смотрел на Нюру. Достал из ящика чистый лист бумаги, подсунул Нюре и сказал тихо:

– Вот здесь внизу распишитесь.

– Зачем? – поинтересовалась Нюра.

– Мы здесь напишем заметку от вашего имени, нужна ваша подпись.

– Какую еще заметку? – насторожилась Нюра.

– Мы напишем, что вы как будущая мать от себя и от имени вашего ребенка решительно отмежевываетесь от так называемого

Чонкина и заверяете, что будущего сына своего или дочь воспитаете истинным патриотом, преданным идеалам партии Ленина – Сталина.

– Вона чего, – сникла Нюра. – Везде одно и то же.

– А что вам не нравится? – искренне спросил Ермолкин. – Это же все делается для вашего блага. Неужели вам хочется, чтобы ваш будущий ребенок носил фамилию преступника, всю жизнь носил на себе это несмываемое пятно?

– Ладно, пойду, – сказала Нюра, поднимаясь.

– Ну, как знаете. Люди для вас стараются, хотят сделать как лучше, а вы... Вы знаете, может быть, вам ваше упрямство кажется правильным, может быть, вы даже хотите выглядеть в глазах людей этакой героиней, но я считаю, что поведение ваше продиктовано трусостью и только ею. Если бы вы действительно были искренни, вы бы сказали: «Да, я ошиблась». Вы бы отреклись от этого Чонкина и заклеили его навсегда позором. Я понимаю, такое решение трудно принять, но если вы настоящая советская женщина, вы должны выбрать, кто вам дороже – Чонкин или советская власть.

Нюра смотрела на него полными слез глазами. Она не знала, почему обязательно выбирать, почему в крайнем случае нельзя совместить то и другое.

– Да, – помолчав, грустно сказал Ермолкин, – вы, я вижу, и в самом деле упорствуете. Мне это, честно говоря, не очень понятно. Может быть, у меня, с вашей точки зрения, несколько устарелые взгляды, но я ко всему отношусь иначе.

Он встал из-за стола и – руки в брюки – прошелся по комнате.

– Вот у меня есть сын, – продолжал он на более нервной ноте. – Он маленький. Ему всего лишь три с половиной года. Я его очень люблю. Но если партия прикажет мне зарезать его, я не спрошу за что. Я... – он посмотрел на Нюру, и взгляд его как бы остекленел. – Я...

– Мама! – не своим голосом завопила Нюра и кинулась вон из кабинета. Почти до самого Красного она бежала бегом, не оглядываясь. Почти до самого Красного ей казалось, что за ней с ножом в зубах гонится редактор Ермолкин.

Почему-то встреча с Нюрой подействовала на Ермолкина странным образом. Может быть, потому, что вспомнил о сыне. Такой белокурый, с большим лбом мальчик, похожий на маленького Володю Ульянова. Вот ведь все люди как-то заботятся о своей семье, чего-то друг о друге хлопчут, а он все о работе, все о работе, сидит здесь день и ночь, пожелтел от табачного дыма, а когда был последний раз дома – напрягся, вспомнить не мог. Нет, хватит, сказал он себе самому, пора подумать и о семье. Сегодня он решил уйти с работы раньше обычного, то есть не просто раньше на час или два, а уйти по окончании рабочего дня, как все простые служащие. В конце концов, сформулировал он свою мысль, я человек и имею право на отдых и на личную жизнь.

Все же перед уходом он еще раз просмотрел оттиск газеты, который ему принесли для окончательной проверки.

Начал, как обычно, с передовой. В передовой его всегда интересовали не тема, не содержание, не, скажем, стиль изложения, его интересовало только, чтобы слово «Сталин» упоминалось не меньше двенадцати раз. О чем бы там разговор ни шел, хоть о моральном облике советского человека, хоть о заготовке кормов или о разведении рыбы в искусственных водоемах, но слово это должно было упоминаться двенадцать раз, можно тринадцать, можно четырнадцать, но ни в коем случае не одиннадцать. Почему он взял минимальным именно это число, а не какое другое, просто ли с потолка или чутье подсказывало, сказать трудно, но было именно так. Вот же не существовало на этот счет никаких исходящих сверху инструкций, никаких особых распоряжений, а не только Ермолкин, но, пожалуй, каждый редактор, хоть в местной газете, хоть в самой центральной, днем и ночью слеп над серым, как грязная скатерть, газетным листом, выскивал остро отточенным карандашиком это самое слово и шевелил губами, подсчитывая.

Нет, конечно, за время работы в печати Ермолкину случалось встречать всяких людей. Попадались и отчаянные сорвиголовы, которые то ли по молодости, то ли по отсутствию журналистского нюха горячились, доходя до кощунства, а почему, мол, именно

двенадцать, а не восемь или даже не семь. В таких случаях Ермолкин только покачивал головой и грустно усмехался: эх, мол, молодо-зелено, высоко взлетишь, низко сядешь. Некоторые и садились, и весьма низко, и не за то, возможно, что упоминали какое-то слово реже, чем полагалось, а потому, что, усомнившись в одном правиле, человек непременно распространяет свои сомнения дальше, потом трудно бывает остановиться.

Итак, Ермолкин начал с передовой. Сегодняшняя передовая была прислана сверху, править ее Ермолкин не мог, не считая, конечно, грамматических ошибок. Все же, водя по строчкам карандашом, он подсчитал, и, к его не то чтобы удивлению, а, точнее сказать, удовлетворению, нужное слово повторялось именно двенадцать раз, видно, вышестоящий сочинитель в своей литературной работе придерживался того же правила, что и Ермолкин. Статья призывала народ в трудное для него время с особым вниманием и даже с сердечным волнением, и даже еще с какими-то более глубокими переживаниями прислушаться к указаниям вождя и воспринимать их как руководство на все случаи жизни. «Указания товарища Сталина, – говорилось в статье, – для всех советских людей стали мерилom мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития общества». Эта фраза чем-то задержала внимание Ермолкина, он еще раз пробежал по ней рассеянным взглядом, стал читать дальше, но почувствовал, что ничего не соображает.

– Устал, – вслух подумал Ермолкин и провел рукой по лицу. – Да, устал.

Медленными движениями он снял с себя потертые нарукавники, положил их в ящик стола и, прежде чем покинуть редакцию, заглянул к ответственному секретарю Лившицу.

– Вот что... э-э... Вильгельм Леопольдович, – сказал он, слегка зевая. – Я передовую прочел, а остальное уж, пожалуйста, вы. Только повнимательней, ладно? А я пойду домой.

– Домой? – удивился Лившиц.

– А что, рано? – спросил Борис Евгеньевич.

– Да нет, не рано, а... – Лившиц сначала и сам не понял, чему удивился, но потом подумал и понял, что никогда не видел Ермолкина уходящим домой. – Хорошо, – сказал он. – Идите, Борис Евгеньевич, и не беспокойтесь, все будет в порядке.

– Ну, смотрите, – предупредил Ермолкин. – Я оставляю вас за себя и надеюсь, что все будет как надо. Я думаю, что ваша... э-э... слабость сейчас не...

– Что вы! Что вы! – перебил Лившиц. – Вы же знаете, я бросил окончательно. Уже целый месяц ни капли не принимал.

– Ну-ну, я вам верю. – С этими словами Борис Евгеньевич покинул свой кабинет. Весть о том, что он идет домой, молнией облетела редакцию. Сам Борис Евгеньевич этого не заметил, но, когда он шел по коридору, все двери редакции отворились, и сотрудники провожали его долгими изумленными взглядами.

Очувтившись на улице, Борис Евгеньевич прошел несколько шагов в неведомом ему направлении и тут же остановился. И стал в растерянности вертеть головой. Он хорошо знал только два адреса: в райком и в типографию, а вот дорогу к собственному дому забыл. «Где же я живу?» – стал он мучительно думать и даже обхватил руками свою небольшую голову и наморщил лоб, но к видимым результатам эти усилия не привели.

В памяти, до отказа забитой казенными словосочетаниями, смутно маячили деревянный мостик через какую-то канаву, кусок какого-то плетня, голубая скамейка, и это все. «Совсем заработался», – объяснил Ермолкин свое состояние самому себе и решил спросить дорогу у кого-нибудь из прохожих.

– Гражданочка, – обратился он к первой встречной женщине с двумя кошелками, – вы не скажете, как мне пройти... – Он не договорил и устался на женщину отупело.

– Куда? – спросила женщина.

– Одну минуточку, – заторопился Ермолкин. Он достал из кармана свой паспорт и стал искать в нем адрес, по которому был прописан и которого совершенно не помнил. – Да вот. – Он прочел вслух название улицы, указанной в соответствующей графе, и женщина, как ни была удивлена, словоохотливо и со многими лишними подробностями объяснила, как идти и где куда поворачивать.

Ермолкин пошел, как ему было указано, и вскоре был бы дома, но по пути у перекрестка двух улиц увидел людей, которые, сбившись в кучу, кружились на небольшом пяточке, перемещаясь, меняясь местами и что-то выкрикивая, словно искали друг друга. Это был так называемый хитрый рынок, знакомый ему по временам его юности.

Ермолкин удивился. Он думал, что эти хитрые рынки навсегда отошли в прошлое, во всяком случае, в своей газете он давно о них ничего не читал. На страницах его газеты жизнь рисовалась совершенно иной. Это была жизнь общества веселых и краснощеких людей, которые только и думают о том, как собрать небывалые урожаи, сварить побольше стали и чугуна, покорить тайгу, и поют при этом радостные песни о своей баснословно счастливой жизни.

Люди, которых видел Ермолкин сейчас, слишком уж оторвались от изображаемой в газетах прекрасной действительности. Они не были краснощеки и не пели веселых песен. Худые, калеченые, рваные, с голодным и вороватым блеском в глазах, они торговали чем ни попадя: табаком, хлебом, кругами жмыха, собаками, кошками, старыми кальсонами, ржавыми гвоздями, курами, пшенной кашей в деревянных мисках и всяческой ерундой. Что-то похожее на любопытство проснулось в прокисшей душе Ермолкина, он вступил в круг этих людей, обуреваемых жаждой наживы, и его закружило в водовороте.

Однорукий мужик в подпоясанной веревкой телогрейке стоял над раскрытым мешком с махоркой, во всю глотку выкрикивая:

– Табачок – крепачок, покурил – и на бочок!

– Самогон – первачок! – повторял за ним другой мужичонка, с большим чайником в руке, видно, сам он ничего нового придумать не мог.

Разбитная баба в ватных штанах торговала двумя кусками мыла, черного, как деготь:

– Навались, подешевело, расхватали, не берут.

Городская старуха с надменным лицом держала на растопыренных руках лису с костяными пуговицами вместо глаз и ничего не кричала. Лиса была потертая, побитая молью, как и сама старуха.

Молодой человек в темных очках сидел, поджав под себя ноги, в пыли и держал на груди плакат:

**ПАДАЙТЕ ОТ РАЖДЕНИЯ СЛЕПОМУ И ГЛУХОМУ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ НЕСЧАСТНОЙ ЖИЗНИ КТО СКОЛЬ МОЖЕТ.**

– Трах-бах-тарарах, приехал черт на волах, на зеленом венике из самой Америки...

Инвалид на колесиках, в тельняшке и бескозырке, раскидывал на грязном вафельном полотенце три карты – два туза пиковых и один –



бубновый.

– Кручу-верчу, за это гроши плачу. Рупь поставишь, два возьмешь, два поставишь – хрен возьмешь. Заметил – выиграл, не заметил – проиграл. Замечай глазами, получай деньгами. Кто замечает – в лоб получает. Трах-бах-тарарах... Ну что, батя, – он обратился к Ермолкину, – что глаза вылупил? Попробуй счастья.

– Нет-нет, – сказал Ермолкин и отошел.

У одной тетки купил он два леденцовых петушка и у другой – глиняную свистульку в виде петушка же для ребенка. И стал выбирать.

Он собрался покинуть хитрый рынок, когда внимание его привлек старый еврей в длинном плаще и потертом танкистском шлеме. Старик сидел на деревянной скамеечке рядом с клеткой, в которой помешались две черные морские свинки. Тут же в землю была воткнута палка с прибитой к ней фанеркой, а на фанерке химическим карандашом коряво выведено:

УЧЕННЫЕ МОРСКИЕ КАБАНЧИКИ ЗА 1 РУБЛЬ  
ПРЕДСКАЗЫВАЮТ СУДЬБУ.

– А вы сами, – приблизился Борис Евгеньевич к старику, – верите в эту чушь?

– Я не знаю, – пожал плечами старик. – Я не гадалщик, я сапожник. Когда у меня есть немножко кожи, я шью обувь не хуже, чем мой сын Зиновий вставляет зубы. Когда у меня нет кожи, я зарабатываю на жизнь чем-нибудь другим.

– Как же вы можете гадать, если сами не верите?

– Кто вам сказал, что я не верю? Я сказал, что я не знаю, но моя жена Циля считает, что эти кабанчики очень умные, потому что они таки приносят нам немножко денег.

Конечно, ни в какие гаданья, ни в какие предсказания Ермолкин нисколько не верил, но это стоило так недорого...

Всех трех петушков, и леденцовых и глиняного, он положил в карман, а из кармана вытащил мятый рубль и, поколебавшись, протянул старику.

– Ну-ка, ну-ка, посмотрим, – сказал он, – на что ваши свиньи способны.

Старик, ничего не ответив, взял рубль, снял с колен ящичек с билетами, сложенными в виде пакетиков для порошка, и сунул в

клетку. Одна из свинок встрепенулась, забежала вокруг ящика, стала что-то вынюхивать, поглядывая на Ермолкина, словно пытаюсь определить, что бы ему такое выбрать похуже, затем решительно сунула нос в ящичек, и вот уже один билет забелел в ее мелких зубах.

Старик выхватил билет и протянул Ермолкину. Ермолкин, скептически усмехаясь, развернул и прочел:

«Не доверяйте другим того, что вы должны были сделать сами, и не беритесь за то, что могут сделать другие. Чужая ошибка может привести к непоправимым последствиям. Остерегайтесь лошадей».

– Я же говорил: чушь, – сказал Ермолкин, протягивая старику записку. – Ну, что это может значить?

Старик сквозь очки глянул на записку, но в руки не взял.

– Я не знаю, – сказал он. – Может быть, это ничего не значит, а может быть, что-нибудь таки значит.

– Абсолютная чепуха, – уверенно сказал Ермолкин. – Ну, я понимаю, первая часть еще может иметь хоть какой-то смысл, потому что применима ко многим случаям. Но при чем же здесь лошадь?

– Я не знаю, – повторил старик смиренно.

– Но вы это сами писали?

– Не сам.

– А кто же?

Старик посмотрел на Ермолкина, потом еще выше – на небо, как бы прикидывая, не приписать ли сочинение билетов высшим силам, но передумал и признался, вздохнув:

– Невестка моя писала, жена Зиновия. Она имеет хороший почерк и немножко лучше меня знает вашего языка.

Такой простой ответ почему-то обескуражил Ермолкина. Может, он все же надеялся, что билеты составлялись в каких-то потусторонних инстанциях. Он не стал больше спорить, только сказал старику, что его следовало бы отвести Куда Надо и проверить документы.

– Я бы вам не советовал этого делать, – печально возразил старик. – Один такой, как вы, симпатичный, проверил мои документы, но его уже таки нет.

Старик вел себя нагло, но Ермолкин решил не связываться, только пробормотал: «Шарлатанство!» – и, жалея о потраченном даром рубле, стал выбираться из толпы. Но выбраться оказалось непросто.

Худой небритый дядя в длинной, до пят, шинели дохнул на Ермолкина перегаром:

– Отец, дуру хочешь?

– Дуру? – удивился Ермолкин. – Какую дуру?

– Да вот же. – Дядя отвернул полу шинели, и Ермолкин увидел противотанковое ружье с укороченным стволом.

– Вы с ума сошли! – сказал Ермолкин и пошел дальше. Но пока он проталкивался, ему еще предложили купить орден Красного Знамени, фальшивый паспорт и справку о тяжелом ранении.

«Что же это происходит? – думал Ермолкин. – И где же я нахожусь?»

– Дяденька, а дяденька. – Борис Евгеньевич оглянулся. Девушка с ярко накрашенными губами держала его за рукав. – Дяденька, пойдем в сарайчик.

– В сарайчик? – переспросил Ермолкин, подозревая, что за этим кроется что-то ужасное. – А собственно, зачем?

– А за этим, – улыбнулась девушка.

– За этим?

– Ну да, – кивнула она. – Я недорого возьму, всего полсотенки.

– Вы что это такое говорите? – зашипел Ермолкин, оглядываясь и как бы ища поддержки у окружающих.

– А что говорю? – обиделась девушка. – Что говорю? Вон за стакан махорки сотню берут.

– Ишь ты, – вмешался в разговор продавец махорки. – Сравнила тоже. Стаканом махорки сто раз накуришься, а ты за один раз эвон сколько дерешь.

– Ты его, дяденька, не слушай, – отмахнулась девушка. – Он глупый. Он разницы не понимает. Пойдем, дяденька, ты не бойся, я чистая.

– Да как вы смеете? – багровея, возвысил голос Ермолкин. – Как вы смеете предлагать мне такую пакость! Я коммунист! – добавил он и стукнул себя кулаком во впалую грудь.

Трудно сказать со стороны, на что Ермолкин рассчитывал. Может, рассчитывал на то, что, услышав, что он коммунист, весь хитрый рынок сбежится к нему, чтобы позвать ему руку или помазать голову его елеем, может, захотят брать с него пример, делать с него жизнь, подражать ему во всех начинаниях.

– А-а, коммунист, – скривилась девица. – Сказал бы, что не стоит, а то коммунист, коммунист. Давить таких коммунистов надо! – закричала она вдруг визгливо.

– А... – сказал Ермолкин и опять стал оглядываться. – Да как же это?

Он думал, что собравшиеся здесь люди хоть и погрязли в частнособственнических инстинктах, но дадут решительный отпор этой враждебной вылазке, но никто не обратил на происходящее решительно никакого внимания, только однорукий посмотрел на Бориса Евгеньевича с сочувствием.

– Иди, иди, а то ведь и вправду удавят, – сказал он почти благожелательно и тут же, забыв про Ермолкина, закричал: – Табачок – крепачок!..

Не находя ни в ком другом никакой поддержки, Ермолкин весь как-то сник, съежился и стал продираться сквозь толпу, а девица плюнула ему в спину и, совершенно не боясь никакой ответственности, прокричала:

– Коммунист сраный!

Услышав такие слова, Ермолкин даже пригнулся. Ему казалось, что сейчас сверкнет молния, грянет гром или по крайней мере раздастся милицейский свисток. Но не произошло ни того, ни другого, ни третьего.

Выбравшись из толпы, Ермолкин сразу прибавил шагу. Девушка отстала. Но в ушах его все еще звучал ее визгливый голос: «Коммунист ср...» Нет, он даже мысленно не мог прибавить к этому, по существу священному, слову такого неподходящего и кощунственного эпитета. «Какой ужас, – думал Ермолкин. – Откуда взялись эти люди? И куда смотрят власти? А этот старик с его дурацким предсказанием? Остерегайтесь лошадей... Какая несусветная чушь!»

Размышляя так, он не заметил по дороге ни деревянных мостков, ни плетня, ни голубой скамейки, но все же каким-то образом очутился перед своим домом и сразу узнал его. «Как же я его нашел? – удивился Ермолкин и сам же себе ответил: – Так, вероятно, лошадь находит дорогу домой. Идет, ни о чем не думая, и ноги сами ее приводят к месту. Тьфу! – в сердцах сплюнул Ермолкин. – Дались мне эти лошади».

Войдя в дом, увидел он сидевшую за столом, покрытым цветастой скатертью, немолодую, изможденного вида женщину в темном ситцевом платье. Отставив в сторону чашку с чаем, женщина смотрела на вошедшего удивленно и растерянно. Женщина эта была похожа на жену Ермолкина, но она была значительно старше, чем он предполагал. Он даже подумал, что, может быть, это вовсе и не жена, а теща приехала из Сибири, но женщина кинулась к Ермолкину, вскрикнула: «Бурис!» (он вспомнил, что именно она, его жена, всегда произносила его имя с ударением на первом слоге) – и повисла на шее, как тещи обычно не виснут. Уткнувшись в его грудь лицом, она плакала и бормотала что-то невнятное, из чего он понял, что она упрекает его в слишком долгом отсутствии.

– Ну-ну, – успокаивал он, похлопывая ее по костлявой спине, – ты же знаешь, у меня было в последнее время много работы.

– Последнее время, – всхлипывала она, – последнее время, за это время я могла умереть.

– Ну зачем же уж так? – Мягко отстранив жену, он заглянул в соседнюю комнату, которая была, как ему помнилось, детской. Но

ничего детского, то есть ни кровати, ни игрушек, ни самого ребенка, он не увидел. Борис Евгеньевич обернулся к жене.

– А где же наш... – пытаюсь вспомнить имя сына, он пожевал губами, – а где же наш... карапуз?

Жена утерла слезы воротником платья, посмотрела на Бориса Евгеньевича долгим испытующим взглядом и вдруг, догадавшись о чем-то, спросила:

– А как ты думаешь, сколько лет нашему карапузу?

– Три с половиной, – сказал Ермолкин, но тут же засомневался. – Разве нет?

– Нашего карапуза, – медленно проговорила жена, – вчера... – она сделала глотательное движение, – ...взяли на фронт. – И снова заплакала.

– Ерунда какая-то, – пробормотал Ермолкин. – Таких маленьких в армию...

Он хотел сказать, что таких маленьких в армию не берут, но спохватился, стал считать и высчитал, что сын его родился в год смерти Ленина, почему и получил имя Ленж, что означало Ленин Жив (дома его звали ласково Ленжик). Значит, сейчас Ленжику... Ермолкин отнял от сорока одного двадцать четыре... Семнадцать... Да, семнадцать лет...

Да как же это так получилось? Ермолкин машинально сунул руку в карман и нащупал что-то липкое. Он это липкое вынул. Два купленных им на рынке леденцовых петушка слиплись с глиняным петушком. Ермолкин бросил их к печке. Но откуда он взял, что Ленжику три с половиной? Именно столько было ему, когда они приехали в Долгов и когда Борис Евгеньевич занял пост ответственного редактора «Большевицких темпов». Тогда он был и редактором, и корректором, и наборщиком. А потом организация типографии, работа с селькорами, коллективизация и прочие интересные события. И надо было держать ухо востро, чтобы не допустить политической ошибки. Ермолкин все больше и больше времени проводил в редакции, сидел за столом, курил дешевые папиросы, пил чай вприкуску и водил своим бдительным карандашиком по корявым строчкам, превращая верблюдов в корабли пустыни, а леса – в лесные массивы или в зеленое золото. Поначалу он приходил домой поздно ночью или даже перед рассветом с блудливым

видом, словно от любовницы, и уходил поздно, когда жена была уже на работе, а сын – в детском саду. Но приходы его становились все более символическими, все чаще ночевал он прямо в кабинете, скрючившись на неудобном кожаном диване, чтобы утром, наспех промыв глаза, снова засесть за обычное свое занятие, которое постепенно из обязанностей превратилось в неумную страсть. Теперь казалось, оторви его от этой шершавой бумаги, от этих неровно, как кривые зубы, составленных букв, он затосковал бы, как тоскуют по любимой женщине и по Родине или по чему-нибудь еще столь же возвышенному, и умер бы от этой безысходной тоски. Конечно, если бы его спросить, он сказал бы, и, наверное, искренне, что служит Отечеству, Сталину или партии, но на самом деле служил он вот этой самой своей мелкой страсти калечить и уродовать слова до неузнаваемости, а также выискивать и предугадывать возможные политические ошибки.

Сейчас в душе Ермолкина что-то перевернулось, и он, может быть, впервые забеспокоился: на что потрачено четырнадцать лет единственной и неповторимой его жизни на этой земле? Нет, сказал он самому себе, так дальше продолжаться не может, работа работой, служение высоким идеалам тоже дело хорошее, но надо же хоть немножко времени оставить и для себя.

– Вот что, милая... – обратился он к жене.

– Меня зовут Катя, – сказала она.

– Да, конечно, я помню, – слукавил Ермолкин. – Вот что, милая Катя, я полагаю, что нам надо переменить образ жизни. Я слишком заработался. Давай сегодня же что-нибудь предпримем.

– Что предпримем? – спросила Катя.

– Ну как вообще люди проводят свободное время?

– Как? Ну, например, в кино ходят, – сказала она с готовностью.

– В кино? – оживился Ермолкин. – Хорошо. Идем в кино.

В Доме культуры железнодорожников было душно. Было много военных и эвакуированных. Показывали лучший фильм всех времен и народов – «Броненосец «Потемкин». Лента была старая, шипела и рвалась. Показывали одним аппаратом, после каждой части включали свет. После третьей части появились две контролерши и стали проверять билеты. После четвертой части Ермолкин заснул – сказала многолетняя усталость. Время от времени он просыпался и тарасил

глаза на экран, на котором кого-то бросали за борт. Засыпал и опять просыпался, и опять кого-то бросали за борт.

Потом, уже дома, в постели, он опять засыпал и просыпался и слушал бесконечный рассказ жены, как она жила все эти годы, как растила Ленжика, как у него прорезались первые зубки, как он болел корью и скарлатиной, как пошел в первый класс и принес первые отметки, как вступил в пионеры и в комсомол. И, вновь засыпая, Ермолкин думал, как хорошо, что он у себя дома и лежит не один, а с женой и не на голом диване, а на пуховой перине, на хрустящей от крахмала простыне. И он благодарно думал о жене, что она его за эти годы не бросила, и благодарно думал о себе, что он вовремя опомнился и вернулся к ней.

Но долгая привычка спать на казенном диване не прошла даром, и утром Ермолкин, открыв глаза, долго не мог понять, где находится и кто лежит рядом с ним. Потом вспомнил все и улыбнулся.

Позже он встал, надел полосатую пижаму (с вечера приготовленная женой, она висела на спинке стула), шлепанцы, пошел к почтовому ящику и вынул из него все газеты, на которые был подписан, в том числе и свои родные «Большевицкие темпы».

Собственно говоря, он начал свой день как обычно, как начинал его все четырнадцать лет своей журналистской деятельности. Но принципиальная разница состояла в том, что сегодня он взял читать свою газету не как редактор, а как обыкновенный благополучный человек, который имеет привычку по утрам, прежде чем приступить к исполнению своих повседневных обязанностей, в спокойной домашней обстановке, за чашкой чая, поскользнуть по строчкам рассеянным взглядом и принять к сведению, что в мире происходят такие-то и такие события.

Итак, он начал скользить глазами по строчкам и начал с передовой. Но недолго ему удалось изображать из себя обыкновенного читателя. Постепенно над читателем взял верх редактор. Сказалась многолетняя привычка, и, отвлекшись от чая, он стал ложечкой водить по строчкам, автоматически отмечая, сколько раз попадает слово «Сталин», правильно ли расставлены запятые и точки, тем ли статья набрана шрифтом и вообще все ли в порядке, и вдруг...

Право, не хочется дальше писать, рука не поднимается, и перо выпадает из рук.



«Указания товарища Сталина, – прочел Ермолкин, – для всего народа нашего стали мерином мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития». Ермолкин ничего не понял и снова прочел. Опять не понял. Слово «мерином» чем-то ему не понравилось. Он отбросил ложечку, взял карандаш, и, поставив на полях газеты специальные значки, означающие вставку, заменил его слово «тягловой единицей конского поголовья». Прочел всю фразу в новой редакции: «Указания товарища Сталина для всех советских людей стали тягловой единицей конского поголовья мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития общества». В новом виде фраза понятней не стала.

Восстановил «мерином», еще раз прочел и...

Катя гладила на кухне мужу белую рубашку, когда услышала нечеловеческий вопль. Вбежав в комнату, она увидела мужа в неестественной позе. Медленно сползая на пол, он сучил ногами, бился головой о спинку стула и, выпучив глаза, кричал так, как будто два десятка скорпионов впились в него с разных сторон.

– Бурис! – воскликнула Катя, кидаясь к мужу и тряся его за плечи. – Что с тобой?

Бурис орал, продолжая сползать. Она ухватила его под мышки и тянула к себе, пытаясь удержать на стуле. При всей своей внешней щеделушности он оказался очень тяжелым. Наконец ей удалось придать его телу состояние неустойчивого равновесия.

– Ты посиди, – сказала она, прижимая его плечи к спинке стула, – я сейчас.

Она принесла кружку воды. Борис Евгеньевич жадно схватил кружку и, ударяясь о ее края зубами, расплескивая воду на грудь, сделал несколько судорожных глотков и отчасти, кажется, успокоился, откинул голову на спинку стула, словно готовился к тому, что его будут брить, открыл рот и закатил глаза.

– Бурис, – ласково сказала Катя. – Скажи мне, что с тобой?

– Там... – не меняя позы, Ермолкин согнутым пальцем показал на газету. – Там... Прочти сама... то, что подчеркнуто.

– «Указания товарища Сталина, – прочла Катя, – для всех советских людей...»

Ермолкин слушал, прикрыв глаза, словно от яркого света. Он с трепетом ждал этого злосчастного слова, надеясь, что Катя прочтет его

так, как оно должно звучать на самом деле.

– «...стали мерином мудрости и глубочайшего...»

– Хватит! – Ермолкин вскочил и с не свойственной ему энергией забегал по комнате.

Она следила за ним растерянно.

– Ты же сам просил...

– Я ничего не просил! – продолжая бегать, он заткнул пальцами уши. – Я ничего не хочу даже слушать.

Она снова взяла газету, прочла не только подчеркнутые слова, но несколько строк до и после. Она читала медленно, шевеля губами. Он подбежал к ней и вырвал газету.

– Бурис! – закричала она. – Я не понимаю, чем ты так взволнован?

Он остановился как вкопанный.

– Как не понимаешь? – повернулся к печке. – Она не понимает! – повернулся опять к жене и спросил по складам: – Что-ты-не-по-ни-ма-ешь? Ты видишь, что здесь написано? Это же полная чушь. Указания стали мерином. Мерином, мерином, мерином...

Он бросил на пол газету и схватился за голову.

Катя смотрела на него с сочувствием и растерянно. Она действительно не понимала. Делая скидку на недостатки своего женского ума, она думала, что фраза, возбуждавшая такую бурю в душе ее мужа, не большая чушь, чем все остальное.

– Но, Бурис, – сказала она мягко, – мне кажется...

– Тебе кажется! – закричал он. – Ей кажется! Что тебе кажется?

– Мне кажется, – сказала она тихо, стараясь не возбуждать его гнев, – может быть, это не так глупо. Ты помнишь, в физике единица мощности измеряется лошадиной силой. А мудрость товарища Сталина, может быть, измеряется...

– Мерином? – подсказал Ермолкин.

– Ну да, – кивнула она с улыбкой. – Ну, может быть, не одним, а двумя-тремя.

– Ха-ха-ха-ха, – громко рассмеялся Ермолкин. Он смеялся истерически и неуправляемо, так же, как только что плакал. И вдруг остановился и выпучил глаза.

– Дура! – сказал он тихо.

Она отшатнулась как от удара.

– Как?

– Дура! Дура набитая. В твоём курином мозгу сто мерингов глупости.

– Бурис, – сказала она с упреком, – я ждала тебя столько лет.

– И напрасно! – завизжал он. – Все из-за тебя, из-за твоего великовозрастного сыночка!

– Бурис!

– Что – Бурис? Один раз за все годы позволил себе, и вот... Нет, надо что-то предпринимать.

Он скинул с себя пижаму, расшвыряв в разные стороны верхнюю и нижнюю ее половины. Надел свой обычный костюм. И, обозвав еще раз жену дурой, проклиная себя за то, что поддался слабости и решил навестить семью, бросился прочь из дому.

В единственном на весь город газетном киоске «Большевицкие темпы» были уже распроданы. На всякий случай Ермолкин заглянул на почту и там узнал, что подписчикам разосланы все экземпляры, а один, как обычно, послан в Москву, в Библиотеку имени Ленина.

Что было дальше, разные люди рассказывают по-разному.

Согласно одной версии, Ермолкин предпринял отчаянную и беспримерную в своем роде попытку изъять и уничтожить весь тираж со злополучным «мерином». С этой целью он якобы обошел всех подписчиков, живущих в пределах города Долгова, и объехал всех, живущих за пределами. Он посетил также районную библиотеку, кабинет партийного просвещения, все красные уголки колхозов, совхозов и предприятий местной промышленности. Некоторые экземпляры он скупил (иногда за большие деньги. В одном случае называют даже сумму в сто рублей), некоторые выпросил за так, а некоторые украл. В результате ему удалось собрать весь тираж, кроме одного экземпляра, как раз того, который был отправлен в Библиотеку имени Ленина. После этого Ермолкина, говорят, стали мучить кошмары. Он представлял себе, что там, в библиотеке, этот номер немедленно прочтут и сразу дадут знать Куда Надо, а Оттуда (в Москве все близко) может дойти и до самого Сталина. И говорят, что Ермолкину будто бы каждую ночь снился один и тот же сон: Сталину приносят газету с «мерином», подчеркнутым красным карандашом. Сталин читает написанное, Сталин курит трубку, Сталин спокойно спрашивает:

– Кто совершил это вредительство, эту идеологическую диверсию?

И кто-нибудь из ближайших сотрудников указывает Сталину на последнюю страницу газеты, где обозначено: «ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Б. ЕРМОЛКИН».

Тогда товарищ Сталин отдает короткое распоряжение, которое быстро спускается по инстанциям, достигает местных органов, ночью из ворот выезжает крытый автомобиль под названием «черный ворон», останавливается перед входом в редакцию, и вот уже кованые сапоги топают по коридору.

– А-а-а! – кричал во сне Ермолкин и просыпался от собственного же крика в холодном поту.

По другой версии, Ермолкин не добрал двух экземпляров: кроме отправленного в Библиотеку имени Ленина еще и того, который

выписывало местное Учреждение, и инициатива посылки «черного ворона» исходила не от Сталина, а от самого этого Учреждения, то есть не сверху, а снизу.

По версии номер три, Ермолкину не удалось собрать ни одного экземпляра, весь тираж сразу же был пущен в дело – на самокрутки, на растопку, на завертывание селедок (которые как раз тогда выдавали по карточкам вместо мяса) и по своему главному назначению, для чего, собственно говоря, люди их и выписывают. По этой версии, «мерина» читатели просто-напросто не заметили, потому что газету «Большевицкие темпы» в Долгове не читал никто никогда.

Четвертая версия утверждает, что все читали, все заметили «мерина», но, как и жена Ермолкина, решили, что теперь так и полагается. И только два Мыслителя три дня ожесточенно спорили, пытаясь понять, что бы это значило, и строили по этому поводу самые фантастические догадки.

Итак, версии различны. Но все они кончаются ночными кошмарами Ермолкина, приездом «черного ворона» и сдавленным криком «А-а-а!».

Доподлинно известно, что со временем Ермолкин успокоился. И может быть, даже решил, что все обойдется. И как раз в это время попала ему присланная в газету заметка анонимного автора.

«МОЖЕТ ЛИ МЕРИН СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?»

На заданный им вопрос автор отвечал утвердительно. Он приводил уже известные читателю доводы о беспримерной работоспособности лошади. «А что у нее нет пальцев, – опровергал он возможные возражения, – так это говорит только о том, что она не сможет, конечно, стрелять из винтовки или играть на музыкальных инструментах, но на способностях ее к абстрактному мышлению этот недостаток ее отразиться не должен». На этом автор не остановился. Он шел дальше. Он ставил вопрос острее: в какого человека может превратиться трудолюбивая лошадь – в нашего или не нашего? И утверждал, что если лошадь трудится в условиях нашей системы, то и в человека она превратится, несомненно, в нашего же.

Автор заключал свою заметку опасениями, что его смелые в научном отношении мысли могут быть превратно истолкованы консерваторами и бюрократами, и писал, что именно поэтому он пока не может открыть своего имени широкой читающей публике.

Прочтя эту заметку, Ермолкин пришел в ярость. Он топал ногами и требовал ответа на вопрос, кто посмел подсунуть ему эту дрянь. Выяснилось, что дрянь подсунул все тот же Лившиц, вышедший как раз из запоя. Ермолкин призвал к себе Лившица, накричал на него и пригрозил не только уволить, но и отдать под суд за прогулы и опоздания. Потом, однако, сник и стал думать и решил, что эта заметка не просто бред какого-то неизвестного графомана, а намек на то, что ему не надо дожидаться, когда за ним, как за барином, приедут на «черном вороне» и возьмут под белые руки, а пойти самому и во всем повиниться.

Ну, а теперь перейдем к лейтенанту Филиппову. Он никак не может избавиться от Чонкина. Он все подготовил как нужно, оформил надлежащим образом и отправил в военный трибунал дело Чонкина. И стал ждать, когда же этого проклятого Чонкина заберут. А его не берут. И вот лейтенант звонит в этот самый военный трибунал. Ему повезло.

– Полковник Добренький слушает, – отозвалась трубка.

Лейтенант ужасно рад. Как раз именно полковник Добренький, которого никогда не бывает на месте, ему и нужен. А не бывает полковника на месте потому, что он является председателем выездной тройки трибунала и всегда находится в командировках. Лейтенант сжато излагает суть вопроса. Дело Чонкина производством закончено и передано в распоряжение военного трибунала. Так нельзя ли забрать туда и самого Чонкина? Потому что, находясь в тюрьме, он уклоняется от заслуженного наказания и, более того, разлагающе влияет на местный контингент заключенных.

– Все понял и разъясню, – дребезжит трубка, – мы этого вашего Чонкина в настоящий момент до себя взять не можем, местов нету. Гарнизонная гауптвахта – под завязку. Кроме того, есть указание: дезертиров, самострельщиков, паникеров и прочую мелочь судить показательно на местах, что будет иметь огромное воспитательное значение для всего местного населения. Понял, лейтенант?

– Понял, – отвечает лейтенант Филиппов. – А ждать вас когда же?

– А ждать нас не нужно. Таких Чонкиных по области вагон и маленькая тележка, а тройка у нас одна. Когда очередь дойдет, тогда и приедем.

Лейтенант кладет трубку и думает: «Ну ладно, ну пусть. В конце концов, не я буду ждать, а Чонкин. А у меня и без Чонкина дел полно. Вон человек какой-то стоит, ему тоже от меня что-то нужно. А что, собственно, за человек и как он здесь очутился?»

Лейтенант очнулся, вздрогнул, посмотрел на человека, стоявшего в позе просителя у дверей.

– Вы по какому вопросу? – спросил лейтенант.

– Вы меня? – спросил человек и ткнул себя пальцем в грудь.

– Ну а кого же? Здесь, по-моему, кроме нас двоих, никого нету.

– Да-да, – печально согласился человек и приблизился к лейтенанту. – Я понимаю, что вам все известно. Но прошу учесть, что я сам явился с повинной.

– О чем это вы? – спросил лейтенант устало.

– Я относительно мерина...

– Мерина? – Лейтенант придвинул себе настольный календарь и записал слово «Мерин» с большой буквы, думая, что это фамилия.

– Имя-отчество? – спросил он.

– Борис Евгеньевич.

– Так, – кивнул лейтенант, записывая. – И что же он сделал?

– Кто?

– Ну, этот ваш... – лейтенант сверился с записью, – Мерин Борис Евгеньевич.

– Вы меня не так поняли. Борис Евгеньевич – это я. – И он опять ткнул себя пальцем в грудь, словно объяснял глухонемому.

– Понятно, – сказал лейтенант. – И что же вам нужно, гражданин Мерин?

– Простите, – улыбнулся посетитель, – вы опять меня не так поняли. Мерин – это всего лишь опечатка. Жуткая, нелепая, удивительно глупая опечатка. Должно было быть «мерилом», но наборщик взял из кассы не ту букву. Ужасная ошибка. Трагическое недоразумение. И вы понимаете, я всегда следил за всем лично, но в этот день как раз пришла жена этого Чонкина... И вот в результате такая ошибка... – Ермолкин схватился за голову и заскрежетал зубами.

Лейтенант нахмурился. Из всего сказанного посетителем он услышал только два слова: «Чонкин» и «ошибка».

– Гражданин Мерин, – сказал он сурово. – Что вы мелете? Я вам первый и последний раз советую понять и запомнить, что у нас ошибок вообще не бывает.

– Уверяю вас, вы ошибаетесь, – живо возразил Борис Евгеньевич. – Я не мерин, я...

– Я, я, я, – скорчив рожу, передразнил лейтенант, – я вижу, что вы не мерин, я вижу, что вы осел.

Ермолкин изменился в лице.

– Как? Что? Что вы сказали? Как вы посмели меня, старого партийца... Да если бы был жив Дзержинский... Он даже с идейными врагами не позволял...



– Ага, – поймал его на слове Филиппов, – значит, вы признаете, что вы идейный враг?

– Что? – Ермолкин побледнел от несправедливой обиды. – Я – идейный враг? Да, конечно, я понимаю, что совершил ошибку. Но я коммунист. Я член партии с тысяча девятьсот двадцать... – он пошевелил губами, но не вспомнил года. – Я понимаю. – Он возбудился и замахал руками, как крыльями. – Вы не хотите принять во внимание, что я явился с повинной. Но вам скрыть этот факт никак не удастся. Я не допущу...

– Не допустишь? – Филиппов, выйдя совершенно из себя, послал Ермолкина к матери и даже указал, к какой именно.

– Сопляк! – закричал Ермолкин, позабыв, где находится. – Сам иди туда, куда ты меня посылаешь.

Он был несносен. Филиппов нажал кнопку, и на сцене появился сержант Клим Свинцов. Свинцов сделал несколько энергичных движений, и Ермолкин с оторванным воротником вновь оказался на свободе.

– Я этого дела так не оставлю, – сказал он, потирая ушибленное колено, и отправился в областной город искать справедливости, то есть требовать, чтобы его посадили, но отметили в деле, что он явился добровольно, а не приведен был под белы руки.

Тут некоторые читатели могут спросить: а что же, в это время, когда Ермолкин справедливости добивался, газета «Большевицкие темпы» выходила ли? А если выходила, то кто ее подписывал? Признаться, автор этим совершенно не интересовался и ничего определенного по этому поводу сказать не может. О Ермолкине же известно, что в областной город он попал, ночевал на вокзале, а утром следующего дня был первым посетителем Романа Гавриловича Лужина.

Трудно себе представить, как это в нем сочеталось, но Ермолкин, с одной стороны, верил в то, что органы наши состоят сплошь из кристально чистых людей, немного, может, таинственных, с другой стороны, представлял себе областного начальника чем-то вроде вурдалака с волчьей пастью и огромными волосатыми ручищами. Вместо этого он увидел за широким столом не человека, а голову. Бритая голова с большими ушами лежала подбородком на столе и смотрела на Ермолкина маленькими глазами сквозь роговые очки с толстыми стеклами. Ермолкин растерялся и остановился посреди кабинета. Голова качнулась в сторону, и вдруг маленький человек, чуть ли не карлик, в военной форме появился из-за стола и на коротких ножках, как на колесиках, быстро подкатился к Ермолкину.

– Борис Евгеньевич! – воскликнул человек и вцепился в руку Ермолкина двумя своими. – Чудовищно рад. Видеть. У себя, – сказал он, как бы ставя после каждого слова точку, и защелкал зубами, которые у него были большие, но несколько не походили на волчьи.

– Вы меня знаете, – не удивился, а отметил Ермолкин.

– Как же, как же, – сказал Лужин. – Было бы странно. Если бы не. – Он во весь рот улыбнулся и опять защелкал зубами.

– Значит, вам все известно?

– Да. Разумеется. Все. Абсолютно.

– Я так и думал, – потряс головой Ермолкин. – Но прошу вас отметить, что я сам явился с повинной.

– Да, – сказал Лужин. – Конечно. Отметим. Всенепременно. Где заявление ваше?

– Заявление? – растерялся Ермолкин. – Я. Собственно. Думал. Что. Устно. – Он не заметил, как тут же заразился лужинской манерой говорить.

– Увы, – сказал Роман Гаврилович. – Мы. Любим. Чтобы все. На бумаге. Поэтому. Я вас прошу.

Он схватил Ермолкина за локоть и повел к выходу.

– Там. Девушка. Секретарь. Возьмите. У нее. Лист бумаги и изложите все коротко, но подробно. Как сказал пролетарский великий.

Человеческих душ инженер. Чтоб словам было тесно, а мыслям... Как?

– Просторно, – подсказал Ермолкин.

– Вот именно, – засмеялся и защелкал зубами Лужин. – Просторно чтоб было. А потом заходите. А пока. Извините. Дела. Чудовищно занят. – И, распахнув перед Ермолкиным тяжелую дверь, сделал ручкой. – Прошу.

Ошеломленный Ермолкин вышел в приемную. Тут нос к носу столкнулся он с женщиной деревенского вида и в ней сразу узнал ту самую посетительницу, после визита которой и начались у него все неприятности. «Вот оно что! – поразился Ермолкин. – Значит, все было подстроено. Как тонко! И как хитро!»

– Здравствуйте, – улыбнулся ей Ермолкин. – Вы меня помните?

– Помню, – сказала Нюра, насупившись.

Она поняла, что этот убийца маленьких детей пришел сюда не случайно. Очевидно, он уже предупредил о ее появлении. Она даже попятилась к дверям, но тут из своего кабинета выглянул Лужин и, увидев Нюру, спросил:

– Вы ко мне?

– К вам, – ответила Нюра.

– Войдите.

И Нюра вслед за Лужиным скрылась за дверью. Ермолкин долго смотрел на дверь, затем, опомнившись, подошел к секретарше, грудастой женщине в форме с двумя треугольниками в петлицах и со значком «Ворошиловский стрелок». Ермолкин попросил у нее бумаги, сел к стоявшему в дальнем углу столу для посетителей, вынул из кармана самописку, потряс ею, пока чернила не брызнули на пол, и так начал свое печальное повествование:

«С большим трудовым подъемом встретили труженики нашего района...»

Тут Ермолкин остановился.

«Что я пишу? – подумал он. – С каким трудовым? Какие труженики? Что встретили?»

За долгие годы службы в печати все свои статьи, заметки, передовые и фельетоны начинал он этой фразой и никогда не ошибался. И всегда фраза эта была к месту, от нее легко было переходить к развитию основной мысли, но в данном случае... Старый

газетный волк, шевеля толстыми, как лепешки, губами, смотрел на начальную строку и постепенно сознавал, что он, умеющий писать что угодно на любую заданную тему – о трудовом почине, о соцсоревновании, о стрижке овец и идеологическом единоборстве, – совершенно не находит никаких слов для описания действительного происшествия, свидетелем, или участником, или, точнее, виновником которого ему довелось быть.

Зачеркнув написанное, Ермолкин стал обдумывать новое начало, когда в коридоре послышался приближающийся грохот сапог и в приемную вошли три человека – двое военных и между ними один штатский в темно-синем костюме.

– Роман Гаврилович у себя? – спросил один из военных у секретарши.

– Он занят, – сказала она.

– Подождем.

Они сели на стулья вдоль стены – штатский посередине, а военные по бокам. Военные застыли с неподвижными лицами, штатский же, наоборот, проявлял ко всему, что он здесь видел, живейшее любопытство. Он с интересом разглядывал приемную, секретаршу и Ермолкина. Ермолкин, в свою очередь, тоже исподтишка поглядывал на штатского. Это был высокий, средних лет человек начальственного вида. Держался он так, словно хотел показать, что попал сюда случайно, по недоразумению, которое вот-вот разъяснится, и те, кто привел его сюда, будут строго наказаны.

Следует отметить, что Ермолкин и Нюра попали к подполковнику Лужину в самое неподходящее, а может, наоборот, в самое подходящее время – Лужину было, в общем-то, не до них. Только что из Центра поступила депеша, смысла которой Лужин не мог понять даже после расшифровки.

«Рамзай,<sup>[1]</sup> – говорилось в депеше, – ссылаясь на сведения, полученные от немецкого посла Отто, сообщает из Токио, что в районе Долгова приступил к активным действиям личный агент адмирала Канариса.<sup>[2]</sup> по кличке Курт, прежде законсервированный<sup>[3]</sup> Судя по косвенным показателям, имеет доступ к секретам государственной важности. Уточняющих данных пока не имеется.

Учитывая стратегическое положение Долгова и тот вред, который может быть нанесен в результате утечки важнейшей информации, тов. Лаврентьев<sup>[4]</sup> приказал принять все необходимые меры и в семидневный срок выявить и обезвредить шпиона. Ответственность за исполнение приказа возложена на вас лично».

Лужин был ошарашен.

На подведомственной ему территории и раньше попадались шпионы, но всех их либо придумывал сам Лужин, либо его подчиненные. Можно было предположить, что этого Курта выдумали там, в Центре, но ведь не спросишь, выдумали они его или он настоящий. Несведущему человеку может показаться: какая разница? А разница существенная. Потому что выдуманного Курта можно найти в две минуты: хватай любого, назови его Куртом и – в кутузку. А если он настоящий... Вот с настоящим работать было труднее. Опыта не хватало.

Лужин много раз перечитывал шифровку, вдумывался в каждое слово, но ничего понять не мог. Кто такой этот Рамзай<sup>[5]</sup> и почему он сообщает из Токио? Как можно отдавать такие приказы, не имея хотя бы приблизительных данных, что это за Курт? Ну ладно, допустим, неизвестны фамилия, место жительства или работы, но должны же быть хоть какие приметы. Рост, возраст, цвет волос или глаз, к каким именно секретам имеет доступ.

Как всякий человек на своем месте, как подчиненные его самого, Лужин ругал высшее начальство, считая, что там сидят дураки, бюрократы, самодуры, которые отдают приказы, совершенно не считаясь с их практической выполнимостью. Однако по виду Лужина трудно было догадаться, что он чем-нибудь озабочен. Нюру, во всяком случае, он встретил так же приветливо, как и Ермолкина. Он усадил ее в мягкое кресло, а сам, болтая ногами, забрался в другое. Сел, сложил руки на груди и улыбнулся:

– Готов слушать вас с чудовищным интересом.

Нюра, не ожидавшая такого ласкового приема, растерялась и сказала:

– Я беременная.

– Что вы говорите? – Лужин хлопнул в ладоши. – Надо же! – Скотившись с кресла, он подбежал к Нюре и стал трясти ее руку. – Поздравляю. От души. Всей. Как говорится. – Вернулся в кресло. – И куда же вы хотите его определить?

– Кого? – не поняла Нюра.

– Его. – Лужин показал на ее живот. – Ребенка надо устроить. А отдайте его нам, а? Мы из него сделаем. Человека. Настоящего. А впрочем, это я так, – Лужин защелкал зубами, – шучу. Да.

Нюра смущенно потупилась и улыбнулась.

Помолчали. Лужин спросил Нюру, может ли он ей чем-нибудь помочь. Она заплакала и стала объяснять, что у нее мужика посадили, она за него хлопчет, ей везде отказывают, как посторонней, а она не посторонняя, потому что она с ним жила. Лужин попросил рассказать все по порядку, и она, видя, что ему это действительно интересно, стала рассказывать. Как прилетели оба самолета, как появился Чонкин, как они познакомились, как стали жить вместе. Рассказала, как он все время рвался на фронт, а его не брали, как напали на него какие-то люди и он вынужден был защищать свой пост. И вот теперь за то, что действовал он строго по уставу, его же забрали, а ее гоняют от одного начальника к другому, а правды нигде не добьешься. Свиданья не дали, передачи не принимают и везде говорят: посторонняя.

Лужин слушал внимательно. Иногда спрыгивал с кресла и начинал в волнении бегать по кабинету, потом опять возвращался на место и опять слушал. А когда Нюра кончила рассказывать, он подошел к ней, погладил ее по голове и с чувством сказал:

– Бедная женщина!

Нюра посмотрела на Лужина, подалась вперед, уткнулась головой ему в плечо и разревелась. Много ей за последнее время приходилось плакать, но так она еще не рыдала. Она пыталась остановиться, но не могла.

Лужин гладил ее по голове и бормотал:

– Бедная! Сколько пришлось пережить! Ну ничего. Ничего. Ничего. Ну.

Потом она успокоилась, а он опять забегал по кабинету, потирал руки и щелкал зубами.

– Безобразия! – восклицал он и щелкал зубами. – Сколько еще на свете людей бездушных. Бюрократы и формалисты. Сколько с ними ни боремся, а они... Ну ничего. Мы... – Он подбежал к Нюре и ткнул себя пальцем в грудь. – Вам поможем. Да. Мы. Поможем.

Тут он забормотал какие-то слова, из которых Нюра поняла, что он, Лужин, приложит все усилия и что, если не удастся вернуть Чонкина:

– Мы. Вам. Подберем. Кого-то. Другого. Еще лучше. Мы. Вам. Поможем. Но и вы. Нам. Помогите. Прошу. Очень! – Лужин закрыл глаза и приложил руку к груди.

Нюра не поняла, как и кого могут ей подобрать вместо Чонкина, она хотела сказать, что никого лучше ей не надо, что Чонкина ей вполне достаточно. Но Лужин своей просьбой о помощи сбил ее с толку, и она сказала, что конечно, что если она может...

– Можете, – перебил Лужин. – Вы в Красном живете?

– В Красном, – кивнула Нюра.

– Ну как там? Как народ? Какие настроения преобладают?

Нюра посмотрела на него вопросительно.

– Не поняли? – улыбнулся Лужин. – Я, по-моему. Говорю. Ясно вполне. Я спрашиваю: в вашей деревне у людей какое настроение? Грустное?

Нюре вопрос не понравился. Она стала выгораживать своих односельчан, уверяя, что настроение у всех, напротив, весьма хорошее.

– Хорошее? – обрадовался Лужин и отпрыгнул от Нюры.

– Хорошее, – подтвердила Нюра.

– Чудовищно любопытно. Война идет. Люди гибнут. А у них хорошее. Отчего же? Может, ждут? Немцев? – Он подмигнул Нюре и

улыбнулся.

– Нет! – Нюра испугалась, что сказала что-то не то. – Немцев не ждут.

– А кого ждут?

– Никого не ждут.

– А откуда же настроение такое хорошее?

Нюра решила тут же исправить ошибку и сказала, что она не совсем правильно выразилась и что настроение у людей иногда бывает хорошее, но чаще совсем плохое.

– Плохое? – переспросил Лужин. – Подавленное? Не верят в победу нашу?

– Верят! Верят! – сказала Нюра поспешно.

– Но настроение плохое?

– Оно не плохое, – сказала Нюра и поняла, что запуталась.

– А какое же? – спросил Лужин.

– Не знаю, – сказала Нюра.

– Ну вот, – помрачнел Лужин. – Видите. Я к вам всей душой. Хотел помочь. Я откровенно. А вы не откровенно. То хорошее. То плохое. То не знаете. Значит, помочь нам не хотите?

– Почему же? – сказала Нюра, насупясь.

– Почему, я не знаю. Я вижу, что не хотите. Нам, конечно, и так известно все, но мне от вас услышать хотелось. Чем люди живут? Что говорят? Некоторые неправильно думают. Хотелось бы их вовремя выявить, поправить и удержать. Они потом. Сами. Спасибо скажут. Между прочим, что говорит ваш председатель?

– Наш председатель? – переспросила Нюра. – Об чем?

– Ну вообще.

– Вообще?

– Вообще.

– Матюкается, – сказала Нюра.

– Матюкается? – оживился Лужин. – И как именно? Нет, я не к тому, чтобы вы повторяли, я спрашиваю: матюкается с акцентом политическим или так просто?

– Просто так, – сказала Нюра.

– Хм! – ответами ее Лужин явно был недоволен. Казалось, он не только не верил, но и не хотел верить, что в деревне Красное все обстоит столь благополучно.



– Ну что же. – Заложив руки за спину, он прошелся по кабинету. – Вы все-таки. Откровенно со мной не хотите. Ну что ж. Мил насильно. Не будешь. Как говорится. Мы вам помочь. А вы нам не хотите. Да. А между прочим, Курта, случайно, не знаете, а?

– Кур-то? – удивилась Нюра.

– Ну да, Курта.

– Да кто ж кур-то не знает? – Нюра пожала плечами. – Да как же это можно в деревне без кур-то?

– Нельзя? – быстро переспросил Лужин. – Да. Конечно. В деревне без Курта. Никак. Нельзя. Невозможно. – Он придвинул к себе настольный календарь и взял ручку. – Как фамилия?

– Беляшова, – сообщила Нюра охотно.

– Беля... Нет. Не это. Мне нужна фамилия не ваша, а Курта. Что? – насупился Лужин. – И это не хотите сказать?

Нюра посмотрела на Лужина, не понимая. Губы ее дрожали, на глазах опять появились слезы.

– Не понимаю, – сказала она медленно. – Какие же могут быть у кур фамилии?

– У кур? – переспросил Лужин. – Что? У кур? А? – Он вдруг все понял и, спрыгнув на пол, затопал ногами. – Вон! Вон отсюда.

Нюра тоже поднялась и отступила, оглядываясь.

– Вон! – кричал Лужин, толкая ее в спину. – Вон, мерзавка!

– Так а насчет Чонкина как же? – спросила она, упираясь.

– Вон! – пыхтел Лужин, толкая. – Вон! Я тебе покажу Чонкина! Хочешь быть женой, будешь! Это мы можем. Это мы устроим. Всенепременно.

Вытолкав Нюру, он вернулся к столу, промокнул платочком пот и отдышался. Нажал кнопку звонка. Вошла секретарша.

– Вот что, – сказал он ей, – дело этого Чонкина меня смущает чудовищно. Почему этот дезертир оказал сопротивление такое упорное? Тут что-то не так. И еще какой-то Курт. Запросите Филиппова, не связан ли этот Чонкин с каким-нибудь Куртом. Пошлите шифровку по месту прежнего жительства Чонкина. Пусть соберут данные. Кто такой? Чем занимался до армии? Все. Кто там еще ко мне? Зовите!

Ермолкин еще писал свои показания, когда из кабинета Лужина выскочила Нюра, вся красная и в слезах.

Ермолкин подумал, что сейчас позовут и его, и заторопился. Но раздался звонок, секретарша, расправив гимнастерку, вошла к Лужину. Вернувшись, сказала одному из военных:

– Роман Гаврилович ждет.

Военные вскочили, подняли штатского, и все трое скрылись за дверью кабинета.

Пробыли они там минуты две-три, вдруг из-за двери донесся нечеловеческий вопль, и тут же дверь распахнулась и те же военные повели своего штатского через приемную, но был он совсем не похож на того самоуверенного человека, который совсем недавно пересек порог лужинского кабинета. Он был уже без пиджака, в нижней, разорванной на спине рубахе, он шел, низко наклонив голову и вяло перебирая полусогнутыми ногами, а военные держали его с двух сторон, чтобы не упал.

Затем появился Лужин. Без улыбки, но возбужденный, следом за посетителями выскочил он в коридор, и оттуда Ермолкин услышал его громкий голос:

– Ведите его вниз и там поговорите. Постарайтесь его убедить!

Лужин вернулся, побежал к своему кабинету, но у порога обернулся, увидев Ермолкина:

– Ну как у вас? Все готово?

– Почти, – сказал Ермолкин, переживая разнообразные чувства. – Я сейчас. Еще немного.

– Чудовищно сожалею, – улыбнулся Лужин. – Но времени нет. Совершенно. Давайте что есть.

Он побежал впереди Ермолкина по кабинету. Изыщным движением ноги зашвырнул валявшийся на полу темно-синий пиджак, сел за свой стол, и голова его во все зубы улыбнулась Ермолкину.

– Прошу. – И маленькая ручка перекинулась через стол.

Дрожа от страха, Ермолкин протянул написанное.

– Так, – сказал Роман Гаврилович, поднеся бумагу к глазам. – «С большим трудовым подъемом встретили...» Это статья?

– Нет, – потупился Ермолкин. – Это мои признания.

– Оригинально, – поощрил Лужин. – Очень даже. Но как-то. Все же. Издалека.

– Я ведь все-таки журналист, – скромно улыбнулся Ермолкин.

– А-а, ну да. Понятно. Свой стиль. Очень неповторимый. Вообще-то говоря, другие у нас пишут проще. Некоторые прямо начинают: я, такой и сякой, сделал то-то и то-то. Но обычно. Это. Не журналисты. Впрочем. Попадаютая и... Ну что ж, – сказал он, выдвигая ящик стола и кладя в него сочинение Ермолкина. – Почитаем. С удовольствием. Превеликим. Чудовищное наслаждение заранее предвкушаю.

Он задвинул ящик и улыбнулся Ермолкину.

– А скажите, пожалуйста, – волнуясь, спросил Ермолкин, – что мне за это будет?

– За что? – переспросил Лужин. Он понятия не имел, за что «за это». – Ну вообще меру наказания определяем не мы, а суд. Однако. Если. Иметь в виду. Законы времени военного...

– Но я прошу учесть, что я с повинной, – поспешно перебил Ермолкин.

– Ах да, – спохватился Лужин. – Чуть было не упустил. Значит, так. Если учесть, что, с одной стороны. Действуют законы военного. А с другой стороны, тот факт, что вы явились сами, а не то, что мы вас разыскивали, то... учтите, я за суд решать не берусь... это мое частное мнение... но я думаю. Так лет. Может быть, десять.

– Десять лет! – в ужасе закричал Ермолкин. – Я же это сделал не нарочно!

– Именно это вас и спасет, – объяснил Лужин. – Если бы вы сделали это нарочно, мы бы вас расстреляли.

У Ермолкина голова пошла кругом. Он обмяк. Он закрыл лицо руками. И так сидел очень долго. Отнял руки от лица и опять увидел перед собой доброжелательное лицо Лужина.

– У вас еще есть вопросы? – спросил Лужин любезно.

– Нет, нет, у меня все.

– Так, а чего же вы, собственно, ждете?

– Да я жду... ну, когда меня... это самое... уведут, – нашел нужное слово Ермолкин.

– А-а, – кивнул Лужин, – понятно. Чудовищно огорчен. Но пока. Не можем. Никак. Так что езжайте к себе. Работайте. Пишите про

трудовой подъем. И ждите. За нами не пропадет. Как только понадобится, так я за вами сразу кого-нибудь подошлю. А пока всего хорошего. Впрочем, одну минуточку. Вас, случайно, Куртом? Не звали никогда? Нет?

– Меня? Куртом? – Ермолкин пожевал губами. – Ваш этот... назвал меня мерином. А Куртом...

– Нет? – спросил Лужин.

– Нет.

– Очень жаль, – улыбнулся Лужин. – Позвольте ваш пропуск. Я подпишу.

Говорят, потом в компании своих друзей Лужин рассказывал о несчастном редакторе и ужасно смеялся. Говорят, что он собирался как-нибудь на досуге почитать написанное Ермолкиным, но то забывал, то руки не доходили, а потом, при отступлении наших войск, часть архива была уничтожена, а вместе с ней и рукопись Ермолкина. Чудовищно жаль.

«Лейтенанту ФИЛИППОВУ

Весьма срочно!

Совершенно секретно со спецкурьером!

Рамзай, ссылаясь на сведения, полученные от немецкого посла Отто, сообщает из Токио, что в районе Долгова приступил к активным действиям личный агент адмирала Канариса по кличке Курт, прежде законсервированный. Судя по косвенным показаниям, имеет доступ к секретам государственной важности. Уточняющих данных пока не имеется.

Учитывая стратегическое положение Долгова и тот вред, который может быть нанесен в результате утечки важнейшей информации, приказываю принять все необходимые меры и в пятидневный срок выявить, обезвредить шпиона. Ответственность за исполнение возлагаю на вас лично.

Выражаю крайнее удивление, что дело Чонкина до сих пор не закончено.

*ЛУЖИН».*

Мальчик, присланный из конторы, нашел Гладышева на лавочке перед домом, где Кузьма Матвеевич в погожие дни проводил все свободное время «после того несчастья», как он сам выражался. Все замечали, что после урона, нанесенного ему прожорливой Красавкой, Гладышев сильно переменялся. Он стал угрюм, необщителен, не вел с односельчанами бесед на научные темы, и даже на огороде его, кажется, с тех самых пор никто ни разу не видел. Больше того, когда Афродита, воспользовавшись случаем, решила вынести из дому горшки с удобрениями, он никак ее действиям не препятствовал.

Сейчас он сидел на лавочке, смотрел в пустое пространство за речкой Тёпой, когда перед ним возник мальчик без головы, голова была скрыта от Гладышева его же собственной шляпой. Гладышев приподнял шляпу и узнал в мальчишке старшего сына счетовода Волкова Гриньку.

– Дядя Кузя, тебе телефонограмма, – сказал Гринька и протянул селекционеру полоску желтой бумаги.

Гладышев удивился, ему прежде телефонограмм не носили. Телефонограммы носили членам бюро райкома, депутатам местных советов, иногда членам правления и активистам. Сердце Гладышева честолюбиво дрогнуло. Но текст прочесть он не смог, буквы были написаны коряво и мелко. Он разобрал только свою фамилию и цифру «10».

– Погоди, – сказал он мальчику и пошел в дом, помахивая принесенной бумагой.

Афродита на столе раскатывала зеленой бутылкой тесто для лапши. Геракл сидел на полу посреди комнаты и держал во рту большой палец правой ноги. Помахивая бумагой, Гладышев обогнул Геракла и прошел мимо жены, надеясь, что она спросит, откуда бумага. Афродита посмотрела на него, бумагу увидела, но ничего не спросила. Гладышев нашел сахарницу, вынул кусок рафинада, подумал, отколол половину и вынес во двор мальчику. Затем вернулся в дом за очками. В доме была та же картина, только Геракл сосал теперь левую ногу. Гладышев знал, что очки должны быть на горке, но искать их стал на окне, желая привлечь к себе побольше внимания.

– Куда-то очки подевались, – сказал он в нарочитой досаде, шаря руками по подоконнику. – Телефонogramму прочесть надо, а очков нет.

Афродита скатала тесто в рулон и стала резать его на узкие полосы.

– Телефонogramму, говорю, слышь, прислали, – повторил Гладышев громче, переходя от наигранной досады к истинной. – Только что нарочный прискакал. – Ему самому при этом представился не мальчик Гринька, а лихой всадник на взмыленном скакуне.

Афродита, упрямая женщина, опять ничего не сказала, никак не выразила своего восторга по поводу столь незаурядного события. И Гладышеву ничего не осталось, как найти очки на своем месте. Он сел к окну, напялил очки на нос, прочел телефонogramму и похолодел. Его вызывали не на бюро райкома, не на сессию райсовета, не на совещание передовиков производства, а совсем в другое место.

– А-я-я-яй! – завопил Гладышев и схватился за голову.

Геракл так удивился, что вынул изо рта ногу.

Наконец дошло и до Афродиты, что случилось что-то неладное. Она перестала резать тесто и посмотрела на мужа вопросительно. Он продолжал вопить.

– Ты чего? – спросила она.

– И не говори, Афродита, – мотал головой Гладышев. – Пропал я, совсем пропал.

– Да чего ты орешь? – сказала Афродита скандальным визгливым голосом. – Ты скажи толком.

Гладышев перестал вопить, снял очки и сказал тихо:

– Вызывают меня, Афродита.

– Куда? – не могла взять в толк Афродита.

– Куда-куда, – рассердился Гладышев. – Сама знаешь куда. Я про мерина написал в газету. Видать, за это.

Афродита бросила нож на стол и тоже завопила. Сперва она вопила что-то нечленораздельное, потом в ее крике стали различаться отдельные слова, потом Гладышев понял, что она причитает по нему, как по покойнику. Напуганный происходящим, заплакал и Геракл. Афродита подхватила его на руки и завывала громче прежнего:

– Да на кого же ты нас спокинешь, дите малое неразумное, сиротиночку-кровиночку и вдову горемычную! Кормилец ты наш и поилец, куды же ты от нас уходишь! По миру пойдем побираться,

Христа ради будем просить! А кто нам поможет, кому мы нужны? Ай-я-я-яй...

Гладышев был растроган до слез. Раньше Кузьма Матвеевич думал, что он для Афродиты ничто, ноль без палочки, а тут ви-ишь как убивается. Любит, стало быть, во как! И стало ему на душе так-то сладко, что принял он лицом своим выражение, будто и вправду покойник, и вслушался в причитания Афродиты, как в хорошую, хотя и печальную музыку. А Афродита вела причитания дальше, рисуя перед своим слушателем картину безрадостного будущего своего и ребенка:

– Удвоим, без мужеской помощи, будем перебиваться с хлеба на воду, будем с голоду помирать, в чистом поле будем мокнуть и мерзнуть, не имея крыши над головой...

– Вай-вай-вай! – завопил Гладышев. – Да что ж ты такое орешь? Я ж тебе избу оставляю ладную, теплую, прошлым летом перекрытую. И что ты мене допрежь время хоронишь? Я ж ни у чем не виноватый, авось еще разберутся, увидят, что я свой человек, почти что из бедняков, в колхоз вступил одним из первых. Разберутся, слышь, Афродита, верно говорю тебе, разберутся, отпустят.

– А-ай! – безнадежно убивалась Афродита. – Оттуда не отпускают! Закипела в печи пшенная каша, выбежала, залила угли. Из печи повалил пар попеременно с дымом.

– Ты бы, чем мужа хоронить вживе, за чугуном последила! – закричал Гладышев и, схватив ухват, сунулся в печку.

Афродита продолжала реветь, причитая, детским басом вторил ей голый Геракл.

На крик шаром вкатилась Нинка Курзова.

– Чего это у вас? – спросила она, зыря по избе заплывшими глазками. – Ой, батюшки, Матвейч, живой. А я-то думаю, чего это Афросинья твоя голосит, уж не ты ли преставился. Ты же давеча жалился, что ноги на погоду крутит, и с лица бледный был. Меня еще Тайка пытается, чего, мол, Фроська у себя голосит, а я говорю, не иначе как Матвейч преставился.

– Уйди отсюда! – закричал Гладышев и двинулся к Нинке с ухватом. – Мы ишо поглядим, кто из нас преставился! – и поднял ухват над головой.



– Фулюган! – взвизгнула Нинка и, руками оберегая живот, задом вышибла дверь.

А там на гладышевский забор вся деревня опять навалилась в любопытном молчании.

– Ну, чего там? – подступились к Курзовой бабы.

– Ой, бабы, и не пытайте! – замахала Нинка руками. – Наш огородник Фродиту свою учит ухватом, и мне чуть не попало, бьет прямо наотмашь.

– Эка невидаль, – сказала Тайка Горшкова. – Я-то думала, и взаправду помер, а то ухватом.

– Чай, его жена, так и поучить можно, – подтвердила и баба Дуня.

– Вестимо дело, жену кто ж не учит, – отозвалась продавщица Таисия.

Народ расходился разочарованно.

Но на другой день еще одна новость всколыхнула деревню – пропал Гладышев. Выписали полевой бригаде крупу и капусту, Шикалов приехал на склад получать, а кладовщика нет. «Спит небось», – решил Шикалов и повернул лошадь к Гладышеву. А там Афродита в слезах. Ночью, говорит, Кузьма Матвеевич ушел, скрылся в не известном никому направлении и записку оставил. Записку Афродита предъявила Шикалову. «Так сложились обстоятельства, – сообщал в записке ушедший, – что ухожу навсегда не от тебя, а из своей неудачной жизни. Лихом не поминай, а сына воспитай так, чтобы стал он преданным большевиком партии Ленина – Сталина, наподобие Павла Корчагина, Сергея Лазо и других равноценных героев. А если пойдет по научной части, то и мое дело, может быть, завершит, чего я не докончил. Засим остаюсь преданный вам, с приветом, ваш покойный законный супруг Гладышев Кузьма».

Всей деревней обшарили соседний лесок, думали, может, где на суку удавился – не нашли. Шикалов на лошади мотался к водяной мельнице (двенадцать километров вниз по течению Тёпы), надеялись, что тело к запруде прибило, и то без толку. Вызвали из района уполномоченного, тот приехал не сразу и с большой неохотой. Составил акт и ругался, что, мол, в военное время, когда люди десятками тысяч гибнут за родину, приходится еще всякими самоубийцами заниматься. Прошло еще несколько дней, и новые

события заслонили собой такой незначительный факт, как смерть одного из рядовых колхозников.

Исчезновение столь важного свидетеля Филиппов воспринял как очень досадное происшествие. Тем не менее он проявил максимальную активность, вызывая свидетелей одного за другим. Но те вели себя очень странно. Зинаида Волкова, получив повестку, залезла на печь и впала в невменяемое состояние. Муж Зинаиды, опасаясь последствий, согнал ее оттуда ухватом, выволок на двор, а потом, как козу, хворостиной гнал все семь километров до самого места.

– Ты не бойсь, – убеждал он ее по дороге. – Они тоже люди и плохого тебе не хотят. Лишнего не болтай, а что видела – скажи.

– Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю.

Он сдал ее с рук на руки вышедшему на звонок дежурному. Тот пропустил Зинаиду вперед, и она пошла по зигзагообразному коридору, слепо натываясь на стены.

Волков остался ждать. Он сомневался, что сможет дождаться, но все же остался, не зная, как быть дальше. Ему жалко было терять Зинаиду, потому что она была здоровая и приносила большую пользу в хозяйстве. И в колхозе работала, и на своем участке, и за всеми пятью детьми успевала ухаживать, держала их в чистоте и порядке. «Баб-то, конечно, по военному время много свободных, – размышлял счетовод, – да такую, как Зинаида, днем с огнем не найдешь. А ежели и найдешь, так та, которая себе цену знает, нешто пойдет за мужика, у которого пять детей и одна рука. И одно дело еще, что она пойдет, а другое дело, как робяты к ней отнесутся. Ведь, как ни крути, а детям-то не все едино, будет у них родная мать или тетка чужая».

Сам того не заметив, стал он размышлять вслух и, загибая пальцы на своей единственной руке, подсчитывать положительные качества Зинаиды и безусловно отрицательные той неизвестной женщины, которая займет ее место. Но пальцев было всего пять, а положительных качеств у Зинаиды гораздо больше, а еще больше отрицательных качеств у той неизвестной.

Пошел мелкий дождь. Волков достал из-за пазухи драный мешок, сложил его капюшоном, надел на голову и встал, собираясь уходить. И тут он увидел Зинаиду. Она только что спустилась с крыльца и стояла,

глядя прямо перед собой, и шарила в воздухе руками, как бы в поисках невидимого препятствия. Волков спохватился, подбежал к жене и встал перед ней, широко улыбаясь. Но она отстранила его и неверной походкой пошла прямо через площадь, хотя идти надо было совсем в другую сторону. Обогнав Зинаиду, Волков снова встал перед ней, но она опять его отстранила и пошла, словно придерживаясь прямой, невидимой Волкову линии.

– Ты чего это, Зина? – Волков схватил ее за рукав. – Аль не признаешь? Это ж я, Константин, муж твой.

Зинаида остановилась, но лицо ее ничего не выражало, а глаза смотрели куда-то мимо.

– Пойдем домой, – решительно сказал счетовод и потащил ее за собой. И она шла туда, куда он ее тащил, и поворачивала туда, куда он ее поворачивал. Пока шли по городу, он не задавал ей никаких вопросов, а как вышли в поле, не выдержал.

– Чего было-то?

– Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю, – скороговоркой отбарабанила Зинаида.

– Окстись! – попытался урезонить ее Волков. – Ты кому это говоришь, это ж я, Костыка.

– Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю, – тупо повторяла Зинаида, и похоже было, что все другие слова и понятия вылетели из ее головы.

«Видать, пытали», – подумал Волков и съежился.

На самом-то деле эта мысль пришла счетоводу в голову совершенно напрасно. К чести Тех Кому Надо и лейтенанта Филиппова лично. Там Где Надо никто Зинаиду не пытал. Лейтенант Филиппов встретил ее вполне вежливо и предложил сесть на табуретку.

– Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю, – сказала Зинаида.

– Ну это мы еще выясним, – пообещал Филиппов. – А пока садитесь.

– Ничего не видела, ничего не слышала...

– Да садитесь же, – сказал Филиппов.

Он даже голоса не повысил. Он только подошел к Зинаиде, положил ей руки на плечи и придавил слегка, усаживая. Она послушно

опустилась на табуретку, и тут с ней произошел конфуз. Из нее, как из прорвы, потекло по чулкам в сапоги и мимо. Образовалась довольно-таки большая лужа. Валявшийся окурочок «Беломора» поднялся и поплыл, как детский кораблик. За такой натурализм автор просит прощения у дам, но прежде всего у работников карательных ведомств, проявляющих исключительное целомудрие при оценке тех или иных произведений искусства. Именно они чаще всего бывают шокированы изображением теневых сторон нашей жизни и всяческих грубостей. «Ну это уж слишком, – обыкновенно говорят в таких случаях. – Для чего это? Чему это учит?» И в самом деле, происшествие с Зинаидой случилось не очень красивое. Но чему-то оно все-таки учит. В первую очередь оно учит каждого, прежде чем посетить Учреждение, освободиться от всего лишнего.

Самое интересное, что Зинаида даже не заметила, что с ней происходит. Сидя на табурете, она продолжала бормотать свое заклинание. Лейтенант Филиппов в первое мгновение тоже ничего не понял. Услышав журчание, он глянул вниз, увидел лужу и окурочок, поплывший под левую тумбу его стола. Лейтенант растерянно потоптался возле Зинаиды и кинулся вон из кабинета. В приемной, смущаясь, он велел Капе вывести свидетельницу на улицу, и пусть идет куда хочет.

Ведомая за руку своим мужем, Зинаида вернулась домой. К вечеру у нее поднялся жар, она лежала на печи, стучала зубами и на все обращения к ней твердила одно: «Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю». Позвали сперва фельдшерицу из Старо-Клюквина, потом бабу Дуню с травами и наговорами – ничего не помогло. Дошло до того, что баба Дуня предложила призвать попа. Выяснилось, однако, что во всей округе ни одного попа не осталось – антирелигиозная работа была здесь поставлена хорошо. Впрочем, может, и лучше, что не нашли, был бы лишней перевод денег, тем более что через некоторое время Зинаида все ж оправилась.

Разбирали пришедшую почту. Двенадцать баб в расстегнутых ватниках и плюшевых шубейках, в сбитых на плечи платках сидели, разомлев, на полу перед железной печуркой. Тринадцатый был мужик из дальнего колхоза, Дементий, не взятый на фронт, потому что припадочный.

Дверца печки была открыта. Трещали дрова, и отсвет рыжего пламени играл на обветренных лицах.

Лиза Губанова с улыбкой рассказывала о недавнем событии. Две бабы из их деревни пошли в лес по грибы. Отошли совсем недалеко, когда услышали: что-то трещит на дереве. Одна из них, Шурка, голову подняла да как закричит: «Ой, мамочки, леший!» – и брык в беспамятстве на траву. Ну а другая, Тонька, та посмелее. Тоже на дерево поглядела и говорит: «Не бойся, Шурка, это не леший, а обезьян».

– В чем одетый? – спросил Дементий.

– В том-то и дело, что ни в чем, а весь шерстью покрытый, как все равно козел. – Ну, Шурка тоже в себя пришла и стала в обезьяна палкой кидать. «Слезай, – говорит, – а не то зашибу». А тот говорит: «Не слезу».

– По-русски говорит? – удивилась Маруся Зыбина.

– А то ж по-какому!

– А вот немцы, – сказал Дементий, – говорят по-немецкому.

– Ставят из себя много, вот и говорят, – заметила Лиза. – Ну и дальше. Стали они обои в него палками кидать, а он на ветке качается и смеется: «Не тужьтесь, мол, бабы, все одно не докинете. Вы лучше скажите, большевистская власть не кончилась ли еще?» Тонька, значит: «Сейчас, – говорит, – сходим в деревню, узнаем, кончилась али нет, а ты погоди». И пошли в деревню, народ привели. Кто с вилами, кто с ружьями, а обезьяна уже нет. Тоже ж не дурак, чтоб дожидаться. А на другой день участковый приезжал. Тоньку и Шурку в правление водил да там страшал. «Никакого, – говорит, – обезьяна в наших лесах быть не может, а ежели, – говорит, – еще такие отсталые разговоры услышу, из вас самих обезьянов наделаю».

Во время разговора вошла Нюра, слегка припозднившись. Лицо ее было заплакано. Поздоровалась и собралась примоститься на полу рядом с Дементием. Но ее остановила Маруся Зыбина:

– Нюрок, тебя чего-то Любовь Михална кличет.

Недоумевая, но не очень тревожась, вошла Нюра в маленький, не больше вагонного тамбура, кабинет заведующей.

Любовь Михайловна, крупная, лет сорока, блондинка, с шестимесячной завивкой, сидела, еле втиснувшись в пространство между стеной и маленьким однотумбовым столиком. У окна стояла телеграфистка Катя. Она держала в руках толстую книгу и вычитывала из нее какие-то цифры, а Любовь Михайловна стучала костяшками счетов. На пальцах правой руки синела татуировка: «Люба», а на запястье левой – часы с ремешком (стрелки показывали половину десятого).

– Здравсьте, – сказала Нюра.

Обе женщины перестали считать и молча смотрели на Нюру.

– Вы меня звали? – спросила Нюра.

– А, да-да, – сказала Любовь Михайловна и почему-то смутилась. Она попыталась выдвинуть ящик стола, но, поскольку двигать его было некуда, тут же задвинула снова. – Я вот хотела спросить, Нюра, что у тебя случилось? Только, пожалуйста, не говори, что у тебя ничего не случилось. Я все знаю.

Нюра молча смотрела на заведующую, а та смотрела на стенку мимо Нюры.

– К сожалению, Нюра, нам с тобой придется расстаться.

Нюра молчала, не понимая услышанных слов.

Любовь Михайловна подняла глаза на Нюру, но тут же отвела их в сторону.

– Ты сама понимаешь, мне неприятно это тебе говорить, ты хороший человек и скромная труженица, но... – Любовь Михайловна остановилась подумать, свернула самокрутку и закурила. – Но ты хорошо понимаешь, Нюра, что сейчас мы должны проявлять особую бдительность...

Нюра кивнула. Она была женщина темная, но насчет бдительности сознавала – нужна.

– Ты пойми, Нюра, я к тебе отношусь по-прежнему. Но твой супруг оказался очень нехорошим человеком. Я, Нюра, тоже женщина

и могу все понять, но и женщины бывают разные. Я про одну в газете читала, что она до того докатилась – с немцем спала. И это сейчас, когда немцы убивают наших мужей, наших отцов и братьев, угоняют в неволю наших сестер, матерей, дочерей, сейчас ложиться с немцем в постель, это надо потерять всякий стыд, это надо не знаю до чего докатиться.

– Михална, а, Михална, – вмешалась вдруг до того молчавшая Катя, – так этот же Ванька ейный, он же не немец, он русский.

Любовь Михайловна растерялась. Она себя уже так накалила, что сама поверила, будто Нюра спала именно с немцем.

– А я не с тобой говорю, – рассердилась она на Катю. И вновь обратилась к Нюре: – В общем, так, Нюра. Как женщина я тебе сочувствую, но как коммунист я такого терпеть не могу. У нас работа ответственная. Через нас проходят разные сведения, и нашу работу мы не каждому можем доверить.

Любовь Михайловна замолчала, давая понять, что разговор окончен. Ожидая, когда Нюра уйдет, она положила руку на счета, водила по ним растопыренными пальцами, и слово «Л-ю-б-а» разошлось веером.

– Михална, а, Михална, – снова встряла Катя. – Мужик-то Нюркин, он ей не мужик был вовсе, она ж с ним без расписки жила.

– Без расписки? – переспросила Любовь Михайловна, не зная, что ответить на новые возражения. – А ты, – рассердилась она, – не лезь куда не просят, не лезь, не лезь. Тоже мне защитница нашлась. Без расписки. А без расписки, так еще хуже. По любви, значит, жила.

Говорят, в тот день Нюра Беляшова, вернувшись из Долгова раньше обычного, бегала по деревне как полоумная. К кому домой зашла, кого на дороге встретила, всем показывала трудовую книжку и хвасталась:

– Уволили. За Чонкина. За Ивана. По любви, говорят, жила.



Не следует думать, что лейтенант Филиппов был злым и кровожадным человеком и непременно хотел упечь Чонкина в тюрьму или подвести под расстрел. Он просто выполнял указания начальства и свои обязанности, как он их понимал. До сих пор он считал, что собственного признания обвиняемого достаточно для окончания дела, и он это признание получил. Приказали ему доследовать дело, он доследовал. И хотя свидетели оказались в большинстве своем пугливые и тупые, из их путаных и противоречивых показаний лейтенант сделал вывод, что Чонкин, по существу, ни в чем не виновен. Его поставили на пост, он стоял. На него напали, он стал защищаться, проявив при этом смекалку, хладнокровие и героизм. А то, что напали на него свои, он в этом разбираться не обязан. По уставу своими для него являлись только начальник караула, помощник начальника караула и разводящий.

Говорят (хотя в это трудно поверить), что лейтенант Филиппов даже собирался написать постановление о прекращении следствия и об освобождении Чонкина за отсутствием состава преступления и даже несколько раз принимался за сочинение этого документа, но что-то ему мешало, что-то не получалось. Как-то это было все-таки непривычно. Он просто не мог себе представить, как же освободить человека, который сам признал себя виновным. Говорят, Филиппов несколько дней испытывал муки творчества, перевел кипу бумаги, рвал листы и швырял в корзину. От всех его усилий впоследствии остался только один лист (он залетел в шкаф и там пролежал долго), на котором было написано:

«Я, лейтенант Филиппов, рассмотрев материалы следствия по делу Чонкина И.В. и допросив свидетелей...»

На этом текст обрывался.

Между тем в то же самое время, когда лейтенант Филиппов мучился, сочиняя постановление, запрос Романа Гавриловича Лужина относительно личности Чонкина достиг той самой местности, где проживал наш герой до призыва на военную службу.

Работник тамошних органов, симпатичный молодой человек, похожий на лейтенанта Филиппова, завел казенный мотоциклет и

поехал в ту самую деревню, где родился и вырос Чонкин. (К слову сказать, деревня называлась Чонкино, и в ней был Чонкинский сельсовет.)

Председатель сельсовета, увидя предъявленную ему красную книжечку, был словоохотлив и без колебаний выразил готовность оказать необходимое содействие приезжему. Трудность этого дела состояла, однако, в том, что, как выразился председатель:

– У нас этих Чонкиных как собак. Вся деревня сплошь, вы не поверите, все сплошь Чонкины. Между прочим, и я сам тоже Чонкин, – сказал председатель и протянул приезжему свое депутатское удостоверение.

– Да, – сказал приезжий, не поглядев, – но того Иваном зовут.

– У нас и Иванов полно. Меня, к примеру, тоже Иваном кличут, – сказал председатель и улыбнулся смущенно.

– Но я думаю, – настаивал на своем симпатичный молодой человек, – что Иванов Васильевичей не так уж много.

– Да я бы не сказал, что и мало, – отвечал председатель, все больше смущаясь. – Я вот как раз и Иван и, извиняюсь, Васильевич.

Молодой человек думал уже вернуться к своему мотоциклету (он не собирался из-за какого-то неизвестного ему и неизвестно кому нужного Чонкина надрываться на работе), когда появилась секретарь сельсовета Ксения, тоже, к слову сказать, Чонкина.

Председатель велел ей поискать по бумагам нужного Чонкина.

– А чего там искать? – сказала Ксения. – Иван Васильевич? Красноармеец? Дак это ж Ванька. Ну тот, который на лошади говны возил. Не помнишь? Да князь же.

– Точно, князь! – обрадовался председатель открытию. – Он самый и есть. И как же мне сразу в башку не влетело, что он самый, князь, и есть.

– Князь? – поднял брови приезжий.

– Ну, дразнили его так, – беспечно сказал председатель. – У нас, знаешь, в деревне языки без костей, кому чего на ум взбредет, то и болтают.

– А чего болтают, – возразила Ксения. – Хоть и деревня, а тоже народ живет не дурее других. Болтать зря не будут. Я-то Марьянку хорошо знала, мы с ней шабрами были и по людям сызмальства работали, я помню, как этот князь, Голицын ему фамилие, был у нее на

постое. Молоденький такой, волос кучерявый, темный, как сажа, а лицо белое.

– Молоденький, кучерявый, – передразнил председатель, – ты со свечкой не стояла и не знаешь, жил с ней молоденький кучерявый ай нет.

– Жил, – уверенно сказала Ксения, не приведя, впрочем, никаких доказательств. Просто эта версия на фоне обычной скучной жизни казалась ей более заманчивой, чем другие. Ей хотелось доказать приезжему, что хотя деревня их с виду самая неприметная, не лучше других, а и в ней случались истории необыкновенные.

Версия эта вполне устроила и приезжего. Как-никак не зря трудился, тратил время и казенный бензин. Он не думал потом, как отразятся добытые им сведения на чьей-то судьбе. Он не знал, ни кто такой Чонкин, ни что он сделал, ни в чем его обвиняют, он не желал Чонкину ни зла, ни добра, но версия, предложенная секретарем сельсовета, казалась ему интересней возможных других, и, вернувшись в свою контору, он с удовольствием отбил шифровку: «Произведенной по Вашему запросу проверкой установлено, что Чонкин Иван Васильевич, 1919 года рождения, уроженец деревни Чонкино, происходит из князей Голицыных».

Подполковник Лужин не относился к числу людей, не умеющих владеть собой, но, когда ему на стол положили это сообщение в расшифрованном виде, он сказал: «Ого!» – и заерзал в кресле. Потом он бегал по кабинету, потирая руки, щелкал зубами, бормотал: «Чудовищная удача!» – и опять бегал по кабинету, испытывая удивление, радость, восторг, то есть чувства, которые мог бы испытать рыбак, закинувший удочку на пескаря, а поймавший щуку.

– Чудовищная удача! – повторял он. – Чудовищная удача! И найти такое на ровном месте!

Впрочем, на ровном ли? Нет, он работал, он думал, он мог и не посылать никакого запроса, а вот послал же, значит, он почувствовал, что в деле Чонкина не хватает какого-то звена, может быть, важного. Значит, интуиция что-то ему подсказала, если он стал делать то, что мог сделать тот, кто ведет это дело, то есть Филиппов. И не только мог, но и должен был сделать Филиппов. А почему же не сделал? Молодость? Неопытность? Но ведь тут же никакой особенной премудрости нет, это же азы следственного дела, что, выясняя личность преступника, в любом случае надо послать запрос по прежнему месту жительства. Нет, что ни говори, сказал себе Лужин, странно ведет себя этот Филиппов, чудовищно странно. Сначала позволяет одному человеку захватить в плен целую группу, затем руководит следствием из рук вон плохо и непрофессионально, не проведя элементарных следственных действий, что позволяет преступнику выдавать себя за простого дезертира, хотя на самом деле он если и дезертир, то не такой уж простой.

И опять интуиция что-то подсказала Лужину, и он вдумался в ее неясное бормотание, когда принесли и положили ему на стол новую депешу:

Весьма срочно, совершенно секретно  
подполковнику ЛУЖИНУ

Вчера ночью в районе Долгова службой радиоперехвата зафиксирован выход в эфир неопознанного передатчика, работающего на

частоте 4750 килочерц. Начало передачи пропущено, остальное удалось записать и дешифровать, привожу полный текст, полученный в результате дешифровки: «...дважды прошли эшелоны с военной техникой под чехлами. Судя по очертаниям, танки и орудия среднего калибра. Силуэты четырех единиц, видимо, соответствуют полученному мною от полковника Пиккенброка описанию русского сверхсекретного оружия, так называемых «катюш». В районе идут затяжные дожди, что, по моим наблюдениям, крайне беспокоит местных партийных руководителей, так как срыв плановых сроков уборки урожая угрожает им неприятностями по службе, вплоть до отправки на фронт.

Погодные условия могут оказаться неблагоприятными и для нас, поскольку здешние дороги, не имеющие твердого покрытия, могут стать труднопроходимыми для наших мотомеханизированных частей.

Русские через какого-то японца из Токио напали на мой след, но их сведения обо мне пока что слишком расплывчаты. Думаю, что оснований для особой тревоги пока нет, здешние органы безопасности развращены работой на вымышленном материале и проявляют крайнюю беспомощность и некомпетентность при расследовании реальных дел. Наши службы работают намного эффективнее. Тем не менее постараюсь действовать с предельной осмотрительностью».

### *КУРТ*

Лужин смотрел на депешу, перечитывал текст и сам не мог поверить своему счастью. Бывает, конечно, человеку везет. Но чтобы удачи одна за другой, и такие...

«Чудовищный дурак, – подумал Лужин о Курте. – Русские проявляют «крайнюю беспомощность и некомпетентность»... Сам ты некомпетентный, идиотина! Ну кто же так раскрывается с первого раза? Ведь о сообщении японца из Токио знал в Долгове только один человек, и вычислить его несложно даже для такого некомпетентного человека, как я».

Вызвав к себе начальника следственного отдела, Лужин приказал установить за предполагаемым Куртом круглосуточное наблюдение.

Затем отправил в Москву шифровку: «Указанный Рамзаем агент обнаружен и будет арестован в ближайшее время».

И в ответ получил телеграмму открытым текстом: «Молодец».

По докладной Чмыхалова против председателя Голубева было возбуждено персональное партийное дело. Голубев обвинялся в срыве уборки зерновых, недооценке руководящей роли партии и применении насильственных действий против одного из ее представителей.

За день до объявленного заседания бюро райкома Голубев приехал в Долгов и пробился к Борисову.

– А зачем же ты нас баранами называл? – поинтересовался Борисов.

– Да кто же вы есть, как не бараны? – горячился Голубев.

– Ну вот видишь. – Борисов развел руками, изображая обиду.

– Нет, ну ты мне скажи, ты видел когда, чтоб какой-нибудь, ну самый дурной мужик хлеб по дождю убирал? Это же глупость!

– Глупость? – переспросил Борисов и вдруг согласился. – Возможно. Я сам из крестьян и не хуже тебя знаю, что хлеб собрать мокрым да пропустить его через молотилку – это значит загубить урожай. Так?

– Так, – кивнул Голубев.

– А время тяжелое, и нам урожай этот во как нужен. Так?

– Так.

– Но нам гораздо нужнее, чтобы каждый человек на своем месте выполнял любые партийные указания беспрекословно и точно, не отклоняясь ни вправо, – Борисов стукнул ребром ладони по столу, – ни влево, – еще раз стукнул. – И, добиваясь этого, мы не будем считаться ни с какими потерями. Вот пойдешь, у тебя до завтра еще есть время. Подумай.

Председатель ничего не сказал и вышел. Он был сильно расстроен и, забравшись в двуколку, со злостью вытянул лошадь кнутом. Непривычная к подобному обращению, лошадь на миг замерла и даже как бы присела, а потом рванула и понесла, едва не опрокинув двуколку.

– Но-о! – закричал председатель и еще раз с оттяжкой ударил лошадь. – Сами бараны и других хотите сделать баранами? Но-о! – и опять огрел лошадь.

Она так взволновалась, что впервые, может быть, в жизни пронеслась мимо чайной. Председатель опомнился уже на выезде из Долгова, успокоился и, развернув лошадь, к чайной подъехал шагом.

– Ну-ну! – привязывая лошадь к забору, он похлопал ее по морде, как бы извиняясь. – Ну-ну!

Тяжело ступая, поднялся он на крыльцо и открыл дверь. В нос ударило запахом прокисшего пива и потных портянок. Слои дыма и пара плавали, словно медузы с разлохмаченными краями, и свет лампочки под потолком был расплывчат.

Стоя среди чайной, Голубев крутил носом и щурился.

– Эй, Иван! – окликнули его из угла.

Голубев сощурился еще больше и сквозь туман разглядел прокурора Евпраксеина, который призывно махал руками. Иван Тимофеевич двинулся по направлению к прокурору.

Пол был усыпан толстым слоем опилок. За столиками раскачивались силуэты посетителей, их голоса звучали гулко и неясно, как в бане.

Всюду слышались обрывки тех особенных разговоров, какие ведутся между русскими подвыпившими людьми на самые разнообразные и чаще всего возвышенные темы. И о тайнах мироздания, и о нечистой силе, и о способах научного прогнозирования землетрясений, и о том, как нужно, допустим, жить с курицей. В подобных разговорах сплошь и рядом высказываются весьма оригинальные и глубокие мысли, а если кто-нибудь и сморозит очевидную глупость, то и его выслушают с уважением, понимая, что и глупому человеку иногда нужно высказаться.

Иван Тимофеевич пробирался между столиками, где велись все эти разговоры: кто-то бил себя в грудь и что-то доказывал, кто-то пытался петь, а какой-то несостоявшийся артист, встав в позу, читал с выражением поэму Маяковского «Хорошо!»

Где-то на полпути его остановили, взяли под локоток: «Осторожнее, тут товарищ лежит, не наступите». Он глянул под ноги и увидел товарища, вероятно приезжего. Тот лежал на спине и мирно спал, накрыв лицо серой помятой шляпой. Вежливо переступив через спящего, Голубев приблизился к прокурору.

– Садись, Иван, – пригласил Павел Трофимович, ногой выдвигая из-под стола стул. – Пить будешь?



– Да я вроде как для этого и пришел, – признался Голубев.

– Ну вот и садись. Анюта! – Прокурор щелкнул пальцами, и из тумана возникла Анюта. – Принеси-ка нам еще пузырек для затравки.

– А может, вам хватит, а, Пал Трофимыч? – проявила заботу Анюта.

– Что? – загремел прокурор. – Сопrotивление власти? Посажу! Расстреляю! Именем федеративносыстической...

Он, конечно, шутил, и Анюта понимала, что он шутит, но понимала и то, что шутить с прокурорами можно только до какого-то предела.

На столе появилась бутылка, второй стакан, две кружки пива, макароны по-флотски б/м, то есть без мяса, но зато с огурцом, правда, настолько помятым, как будто его до этого клали под поезд.

Выпили. Голубев быстро размяк, покраснелся и стал рассказывать прокурору о своих злключениях и сетовать на свой дурацкий, по его выражению, характер.

– Эх, дурак! – говорил председатель и стучал себя кулаком по лбу.

– Вот именно что дурак, – соглашался прокурор. – Никогда не жалею о том, что сделал. Это будет умно.

– Да я бы и не жалел, – вздохнул Голубев, – так ведь накажут.

– Накажут, – подтвердил прокурор. – Без этого у нас никак. Непременно даже накажут. А как же без этого. Только ты вот думаешь, что тебя накажут за то, что ты хлеб мокрый убирать отказался или баранами кого-то назвал. Нет, брат, вовсе не за это. Просто ты достиг того положения, при котором рано или поздно все равно окажешься виноват. В чем? Вина найдется. Война, засуха, падеж скота и прочее обострение противоречий, начнут искать виноватого, ты как раз под рукой и окажешься. Или, допустим, я. Неизбежно. Но это и хорошо. В неизбежности наша сила.

– Сила? – удивился председатель.

– Сила! – подтвердил прокурор. – Что нам больше всего мешает жить по-людски? Надежда. Она, сволочь, мешает нам жить. Надеясь избежать наказания, мы вертимся, мы подличаем, стараемся вцепиться в глотку другому, изображаем из себя верных псов. И хоть бы получали от этого удовольствие. Так нет же. Мы ж все-таки люди, а не псы, и мы страдаем, спиваемся, сходим с ума, мы помираем от страха, что кого-то еще недогрызли и что нас за это накажут. А потом тебя все

равно волокут на расправу и ты вопишь – за что? Я же был верным псом! А вот не будь. Будь человеком. Человеком, я тебе говорю, а не псом. Надежду оставь, она все равно обманет, и живи как хочешь. Хочешь сделать доброе дело, сделай. Хочешь врезать кому-то в рыло, врежь. Хочешь сказать какое-то слово, не отказывай себе – скажи. Потешь себя. Да, завтра тебя накажут, так или иначе накажут, но сегодня ты будешь знать, что жил человеком.

Голубев слушал. Ему нравилось то, что говорил Евпраксеин. Он и сам подходил к этой мысли, хотя она ему порой казалась безумной из-за своей очевидности. Большинство знакомых ему людей думали иначе, это его смущало, сейчас он был рад, что встретил единомышленника.

Выпили, погрызли огурец и покурили.

– Ты посмотри, Иван, – клонился к Голубеву Евпраксеин, – до чего мы дошли. Совсем уже одурели от страха. Возьми хоть меня. Начальства боюсь, подчиненных боюсь, а совести своей не боюсь. Как же, мы же материалисты, а совесть это что? Ее не пощупаешь, значит, ее нет. А что же меня тогда такое грызет? А? Мне говорят: никакой совести нет, ее выдумали буржуазные идеалисты, мир материален, а вот тебе и материя: кабинет, кресло, кнопки, телефоны, вот тебе квартира, вот тебе паек, жри его, будешь жирным, жир – это тоже материя, а совесть – это ничто. А какая ж сука тогда меня грызет, а, Иван?

– Выпьем, – сказал Иван.

Выпили и снова огурец пожевали. И опять склонился прокурор к председателю.

– Приходит ко мне баба хлопотать за своего мужика. Ну ладно, не могу я ей делом помочь, но могу хотя бы посочувствовать. А я нет, я смотрю на нее крокодилком. А ведь я, Иван, когда-то был добрый мальчик. – Прокурор всхлипнул и размазал по щеке сопли. – Я любил природу, животных. Бывало, несу домой кусок хлеба по карточкам, а за мной плетется собака. Голодная, облезлая, а глаза у нее, Иван, как у той бабы. Я злюсь на нее, топаю ногами, я сам голодный, но я знаю: меня-то кто-нибудь пожалеет, а ее не пожалеет никто. И я отщипну от этого куска и ей...

Прокурор махнул рукой, затряс головой и забился в рыданиях. Голубев растерялся, схватил прокурора за плечи.

– Паша, – сказал он, – да ты что? Да брось ты. Если уж все равно нас, как ты говоришь, так или иначе накажут, так и в самом деле, чего ж нам бояться? Ну, убьют в крайнем случае, так от смерти ж не убережешься. Убить нас они могут, но они не могут нас сделать бессмертными, вот в чем их слабость.

– Да-да, – кивал прокурор, – в этом их слабость.

Время близилось к закрытию чайной. Старуха уборщица вытирала опустевшие столики и ставила на них кверху ножками стулья. Анюта выталкивала одного из посетителей, тот вырывался, размахивал руками и с выражением читал несуразицу:

Заводской дыхтяг  
воздуха береги.  
Пых-дых, пыхтят  
мои фабрики...

...Голубев и Евпраксеин вышли из чайной последними. Давно уже все вокруг опустело, а они все еще топтались посреди дороги под фонарем, никак не могли распрощаться.

– Иван! – кричал прокурор, хватая председателя за грудки. – Ничего не бойся. Я завтра сам приду на бюро. Когда тебя будут долбить и спросят: кто за, кто против, я встану и скажу: «Я против! Не знаю, как вы, а вот лично я, прокурор Евпраксеин, я лично, именем федеративносыстической, против. Вы, – скажу, – можете убить Ивана, можете убить меня, именем федеративносыстической, но зато мы погибнем как люди, а вы, – он отпустил председателя и вытянул вперед длинный палец, – жили червями и червями подохнете».

Долго еще они прощались, трясли руки, хлопали друг друга по спинам, расходились и вновь сходились. Наконец председателю удалось оторваться, он кое-как перевалился в двуколку, а прокурор шел рядом, держась за двуколку рукой, и уговаривал Голубева ничего не бояться. Потом он все же отстал и, выкрикивая что-то ободряющее, исчез в темноте.

Выехав из Долгова, председатель отпустил вожжи, засунул руки в рукава и съезжился, привалясь к спинке сиденья. Лошадь сама знала дорогу. Предвкушая отдых в теплой конюшне и охапку свежего сена,

она бежала легко и быстро. Двуколку мягко потряхивало, и Голубеву было хорошо и уютно. С удовольствием вспоминая свой разговор с прокурором, он думал: «Да, Пашка прав, ничего не надо бояться».

И о том же самом думал он, когда, сдав лошадь, шел домой от конюшни, и потом, когда, подтянув к подбородку колени, погружался в сон под теплым ватным одеялом.

Проснулся он в девятом часу и сразу же вспомнил, что на два назначено бюро, где будут разбирать его персональное дело, где в лучшем случае дадут ему строгача, а в худшем... Но он вспомнил и вчерашний свой разговор с Евпраксеиным, и на душе сразу стало спокойно.

Сев в постели, он улыбнулся, потянулся, глянул в окно и увидел привязанную к забору верховую лошадь. «Кто бы это мог быть?» – удивился председатель.

Тут за дверью раздался какой-то шум, дверь отворилась, и в проеме возникла жена.

– Иван, к тебе пришли, – сказала она.

Из-за спины ее выглядывал прокурор, лицо его было помято и бледно.

– Паша? – удивился Голубев. – Что-нибудь случилось?

Прокурор посмотрел на председателя, потом на его жену.

– Выйди, – сказал ей Голубев.

Она вышла и прикрыла за собой дверь.

– Вот что, Иван, – потоптавшись, нерешительно начал Евпраксеин. – Вчера... мы с тобой говорили... Так я был сильно пьян... В общем, пьяный я был, понял?

– И ты за семь верст с утра прискакал, чтоб мне это сказать?

– Да, за этим. То есть нет... То есть я хочу сказать, что в пьяном виде иногда не то говорю. А вообще-то я так не думаю. Вообще-то я...

– Я все понял, Паша, – тихо сказал Голубев и сам покраснел, смутившись.

– Понял? Ну и хорошо... – Прокурор попятился к двери, но остановился. – Нет, ты вообще-то не думай... Я не за себя... я за тебя... Если тебе партия говорит, что ты не прав, ты должен признать, что ты не прав.

– Ой-ой! – поморщился председатель и замахал руками. – Зачем ты это говоришь? Иди отсюда, иди.

Тут и прокурор покраснел и взялся за ручку двери.

– Паша! – остановил его Голубев. Тот обернулся. – Паша! – повторил председатель, волнуясь, и спустил ноги с кровати. – А ведь

ты вчера все правильно говорил. Так неужели же только по пьянке?

– По пьянке, – разглядывая свой правый сапог, твердо сказал прокурор.

– Жаль, – сказал Голубев. – А ведь так хорошо говорил, теоретически так все ловко обосновал.

– Теоретически, теоретически, – передразнил прокурор. – Какая уж тут теория? Теоретически, может быть, так все и есть, а практически... а практически... а практически я боюсь! – закричал он и, замахав руками, выскочил из комнаты.

Стоял пасмурный день, взвешенная в воздухе изморось оседала на щеках и неприятно холодила руки. Клены вдоль заборов были еще зелены, но в зелени уже проглядывали красные пятна.

Засунув руки в карманы, лейтенант Филиппов шел напрямик через площадь. Он шел неторопливой походкой обремененного государственными заботами и знающего себе цену человека. Еще недавно, казалось, бегал вприпрыжку, как молодой человек, готовый расторопно выполнить любое приказание старших начальников. Но теперь, заменив безвременно ушедшего капитана Милягу, Филиппов сразу вроде бы повзрослел, подобрался, распрямил плечи, весь как-то переменялся, и перемена эта прежде всего отразилась на походке. В ней появилась та особая медлительность человека, сознающего, что, даже неспешно двигаясь, он всегда вовремя достигнет пункта своего назначения.

Он шел, задумчиво глядя прямо перед собой и как бы ничего не замечая, но на самом деле он видел все. Возле раймага жалась вдоль стен довольно длинная очередь за пшеном, которого не было, но должны были вот-вот привезти. И возле бани, превращенной в санпропускник, стояла большая очередь эвакуированных женщин в не по-здешнему нарядных, но потертых одеждах. Повернув за баню и направо, лейтенант прошел полквартила по Поперечно-Почтамтской улице и вышел к зданию, где помещались два райкома – партии и комсомола, – и райисполком. У входа стоял милиционер, который строго спрашивал входящих, к кому и зачем. Филиппова он, конечно, ни о чем не спросил, но вытянулся и откозырял. Кабинет секретаря райкома помещался на втором этаже, куда вела широкая лестница (райком помещался в здании бывшего дворянского собрания) с широкой ковровой дорожкой посередине. А наверху на площадке стояли два больших гипсовых бюста – Ленина и Сталина – на фанерных постаментах, обтянутых красной материей. Лейтенант, шаркнув пару раз подошвами сапог об истертый пол, решительно ступил на дорожку, а бабка в ватнике, в бурках с галошами и с мешком за плечами спускалась ему навстречу, но не по дорожке, а сбоку от нее. Проходя через большую приемную, лейтенант поздоровался с

секретаршей Ревкина Анной Мартыновной, пожилой интеллигентного вида женщиной в очках. Кроме Анны Мартыновны в приемной находилось довольно много народу. В основном это были солидные люди, мужчины и женщины (но в большинстве, несмотря на военное время, все же мужчины), которые сидели вдоль стен на сколоченных вместе стульях. Это были председатели колхозов, директора совхозов, начальники и заведующие какими-то отделами, то есть те самые люди, которые назывались командирами производства. Не будучи членами бюро, они не имели права участвовать в заседании последнего, но были вызваны, некоторые по делу, а некоторые просто на случай, если вдруг понадобится справка о работе возглавляемых ими производств.

Филиппов поздоровался только с Анной Мартыновной, а всех остальных вроде бы и не заметил и решительно, по-хозяйски рванул на себя дверь, обитую черным. Пройдя через небольшой тамбур, он открыл вторую дверь и оказался в кабинете первого секретаря.

В кабинете было густо накурено. Члены бюро – было их больше двух десятков – в полувоенных костюмах и в длинных гражданских пиджаках сидели кто за длинным столом, кто на кожаном диване возле стены, а двое стояли у крайнего окна и, вытягивая трубочкой губы, курили в открытую форточку.

Когда лейтенант входил, в комнате слышен был гул, как в бане, который при его появлении тут же прекратился. Только один из сидевших на кожаном диване, не видя Филиппова, продолжал говорить, что от туберкулеза лучшее средство собачий жир. Но его толкнули в бок, он оглянулся и тоже замолчал. И вскочил с дивана. Вскочили и его собеседники. Задвигались с грохотом стулья, и сидевшие за столом тоже встали. Лейтенант не понял, почему они так поспешно встают (он все же не совсем привык еще к новому своему положению), и оглянулся, думая, что за ним вошел кто-то еще. Но за ним никого не было. Он почувствовал даже, что слегка смущен. Пожалуй, из всех здесь собравшихся он был самый молодой, и ему было непонятно, отчего эти люди проявляют к нему такое почтение. Только Ревкин вскочил не сразу, а привстал лишь после того, как Филиппов к нему приблизился. Привстав, он подал Филиппову руку и тут же сел на место, другие же все еще продолжали стоять, некоторые, впрочем, делали вид, будто поднялись размяться и сядут, когда им этого захочется. Лейтенант обошел присутствующих, пожал каждому



руку. Он не всех еще знал, и некоторые называли ему свои фамилии, а он свою не называл, он уже понимал, что она им и так известна. Среди присутствующих были и три человека в форме: военком, начальник милиции и командир размещенного в Долгове временно военного гарнизона. Филиппов не был членом бюро, но его пригласили, поскольку решались весьма серьезные для народа задачи.

Покуда собирался народ, первый секретарь райкома Андрей Еремеевич Ревкин, не обращая внимания на общий галдеж, готовился к предстоящему заседанию. Он перечитывал подготовленные проекты решений по тем или иным вопросам и там, где нужно, вносил исправления. Время от времени, не глядя и не поднимаясь, он совал кому-нибудь из вновь пришедших руку и опять углублялся. Иногда он нажимал кнопку звонка, и тут же бесшумно появлялась Анна Мартыновна. Пожилая высокая женщина в очках на бесстрастном лице, она каким-то чудом на расстоянии угадывала малейшее желание своего руководителя. Ревкин только протягивал в сторону руку, как в нем оказывалась та самая нужная бумага, которую он и хотел. Тут же он протягивал Анне Мартыновне другую бумагу, в которой необходимо было что-то перепечатать, кратко вполголоса давал какие-то указания и одновременно наблюдал за пришедшими, подсчитывая, достаточно ли накопилось народу.

Люди, сходящиеся сейчас в кабинете Ревкина, все вместе представляли собой руководящую верхушку района и принадлежали к так называемой номенклатуре. Ото всех прочих людей собравшиеся отличались тем, что каждый из них, не сомневаясь, брался руководить решительно и твердо тем, чем руководить его назначили. И овощеводством, и свиноводством, и любым производством, и любой наукой и искусством. И если случайно оказывалось, что в какой-то области человеческих знаний проявлял он некоторые способности или познания, то его тут же перекидывали в другую область, постепенно доводя до той, в которой он не смыслил ни уха ни рыла, где он, как в безбрежном океане, плыл, не имея перед собой никаких ориентиров, кроме той путеводной звезды, которая называлась Очередным Указанием. Воображаемая линия, соединявшая плывущего с этой звездой, называлась Линией Партии, которой и следовало держаться неукоснительно.

Уже, кажется, все собрались, а заседание не начиналось. Ждали кого-то еще. Уже поговорили о болезнях, о погоде, о вреде табака, о пользе витаминов, о многом, что никого из присутствующих совершенно не волновало, но ничего не говорили о том, что их

действительно беспокоило: о положении на фронте, о слухах относительно возможной отмены брони для некоторых должностей, о карточках и о том, чем вообще живут люди. Вдруг на пороге появилась Анна Мартыновна.

– Андрей Еремеевич! – сказала она взволнованно.

Андрей Еремеевич опрометью кинулся к двери, а остальные прикинули к окнам. И все увидели, как к парадному входу райкома мягко подкатил, сверкая лаком, роскошный «ЗИС-101». Это выглядело так, как если бы у причала мелкой речушки ошвартовался океанский лайнер. Подскочивший вовремя Ревкин распахнул переднюю дверцу, и навстречу ему, приветливо улыбаясь, вылез дородный мужчина в сером габардиновом плаще и в мягкой шляпе со слегка загнутыми вверх полями. Они трижды и почему-то взасос расцеловались, и при этом приехавший похлопал Ревкина по спине, а Ревкин, хотя и считался близким другом приехавшего, его по спине не похлопал, но сделал приглашающий жест рукой, после чего приезжий неторопливо поднялся на крыльцо. Члены бюро моментально отпрянули от окон и заняли свои места, и на лицах их возникли улыбки, обращенные к двери, как будто они ожидали, что сейчас войдет знаменитая киноактриса или просто очень красивая женщина. Но вошла не женщина, вошел тот человек, который приехал на «ЗИС-101». Это был секретарь обкома товарищ Худобченко Петр Терентьевич. Улыбки собравшихся были обращены именно к нему, но не потому, что он пользовался уважением благодаря своим заслугам (о заслугах его мало кто чего знал), уважением пользовалась должность, которую он занимал. И если бы эту должность занимал какой-нибудь индюк или крокодил, то ему улыбались бы точно так же, как улыбались Худобченко.

Как только Худобченко появился в дверях, все тут же с грохотом встали. Но Петр Терентьевич предупредительно поднял руку.

– Сидайте, товарищи, – сказал он на своем родном полуукраинском языке.

Тут же он снял с себя габардиновый плащ и шляпу и передал Ревкину, который повесил и то и другое на свою личную вешалку. Худобченко остался в полувоенном костюме и в хромовых сапогах. Верхняя пуговица френча с накладными карманами была расстегнута, из-под нее выглядывал ворот украинской рубахи.

– Ну шо, – сказал он, приглаживая свои редкие волосы, – кажется, я немного опоздал?

– Начальство не опаздывает, а задерживается, – пошутил Ревкин.

Вопрос был задан в расчете на этот шутливый ответ и встречен, как всегда, благосклонной улыбкой Худобченко и одобрительным смешком в зале. Это повторялось каждый раз, когда Худобченко опаздывал, а опаздывал он всегда.

Он опаздывал не потому, что слишком много было дел (хотя их у него было немало), и не потому, что был неорганизован и не успевал, он опаздывал намеренно, полагая, что чем дольше подчиненные ждут, тем больше уважают.

– Петр Терентьевич, прошу, – пригласил его Ревкин на свое место за столом.

– Нет-нет, – поднял руку Худобченко, – ты здесь главный, ты и сиди. А я гость, я уж тут, в уголочку.

И он сел «в уголочку» у окна в мягкое кожаное кресло, которое там специально для него и стояло.

А рядом с ним на стуле пристроился его помощник по общим вопросам Пшеничников, молодой, лет тридцати, человек с болезненно-бледным лицом. Про этого Пшеничникова говорили, что он знает чуть ли не шесть языков, имеет глубокие познания в физике, математике, экономике и отчасти во всех остальных науках. Говорили, что он не только помнит наизусть «Капитал» и «Анти-Дюринг», но и, хорошо разбираясь в местных проблемах, держит в голове все цифры показателей промышленного и сельскохозяйственного производства – от количества выплавленной по области стали до поголовья кур-несушек в каждом колхозе. Его называли ходячей энциклопедией, говорили, что с таким талантом надо выступать в цирке, но все понимали, что карьеры ему не сделать – со своими знаниями он был слишком незаменим в качестве референта.

– Ну что ж, товарищи, – оглядев присутствующих, сказал Ревкин. – Начнем, пожалуй.

Закрыли двери, отключили все телефоны, и началось закрытое, то есть тайное от других, или, говоря иными словами, подпольное заседание. Почему же закрытое, почему же подпольное, точно сказать не берусь, должно быть, такая сформировалась традиция. Как до революции Партия заседала подпольно, так стала заседать и после.

Первым пунктом повестки дня был доклад Борисова «О ходе уборки зерновых».

И хотя все знали, что ввиду дождя никакого хода уборки несколько дней не было вовсе, Борисов прочел свой доклад с самым серьезным видом, и все с самым серьезным видом слушали. Были отмечены большие успехи, достигнутые тружениками села, но были также перечислены и отдельные недостатки. И тут все знали, что недостатки были вовсе не отдельными, а, можно даже сказать, сплошными, но и эту часть доклада выслушали внимательно. В этой части Борисов раскритиковал одного председателя колхоза, который виноват был в том, что, послушно выполняя все решения, весной слишком рано засеял, а потом заморозки побили всходы. (У других, которые только отчитывались, что выполняют решения, а на самом деле не выполняли, теперь все было в порядке.)

Упомянул Борисов в числе отстающих и Ивана Тимофеевича Голубева, но тут же сообщил, что сегодня дело Голубева будет рассматриваться отдельно.

По ходу уборки было принято несколько довольно-таки глупых решений, не потому, что все заседавшие здесь были дураками и ничего в деле не смыслили, а потому, что высказывание деловых соображений требовало смелости, в то время как высказывание глупых соображений, наоборот, поощрялось.

От хода уборки перешли к вопросу о подготовке к зимовке скота. И этот вопрос решили самым оригинальным образом, из всех возможных вариантов выбрав наихудший, но какой именно, в памяти моей, к сожалению, не удержалось.

Затем опять поднялся Ревкин и объявил, что слово для сообщения имеет товарищ Филиппов.

Товарищ Филиппов встал, одернул гимнастерку. Он слегка волновался. Первый раз в жизни выступал он перед такой ответственной аудиторией. Он слышал, что опытные ораторы, чтобы речь их была гладкой и убедительной, из массы слушателей выбирают какое-нибудь одно лицо и обращаются именно к нему одному. Филиппов так и сделал. Из всех сидевших перед ним он выбрал одного, которого раньше где-то встречал, и говорил теперь, обращаясь как бы только к нему. Он начал с того, что здесь все коммунисты и поэтому в прятки играть нечего. Идет война, и война тяжелая. Пользуясь преимуществом первого удара, враг захватил значительные территории. И движется дальше. Красная Армия сражается с необычайной стойкостью, но иногда вынуждена отступить под натиском превосходящих сил противника. В этих условиях как никогда становится важным вопрос о прочности тыла. Только при прочном тыле наши войска смогут удержать противника на занятых рубежах с тем, чтобы впоследствии перейти в решительное контрнаступление. Говоря о части общего тыла, ограниченной территорией данного района, лейтенант Филиппов охарактеризовал положение как в целом удовлетворительное. Трудящиеся района вершат чудеса трудового героизма под лозунгом: «Все для фронта, все для победы». Для фронта вяжутся теплые носки, собирается металлолом, жертвуются крупные суммы денег. Лейтенант поведал собравшимся о каком-то героическом колхознике, построившем на свои деньги тяжелый бомбардировщик.

Тут члены бюро задвигали стульями, зашевелились, закашляли. Невольно каждый из них подумал, что же это за колхозник и где он взял столько денег, и если бы кто-нибудь сказал им, что деньги этот колхозник заработал на трудодни, то все члены бюро могли бы умереть от внутреннего смеха. Но лейтенант Филиппов и сам знал, что на трудодни это было бы слишком, и он не стал уточнять, где взял эти деньги героический колхозник, важно, что он их отдал, а мог бы, не отдавая, держать в кубышке или в чулке.

При этом Филиппов смотрел почему-то на Бориса Евгеньевича Ермолкина, которому тут же показалось, что, может быть, Филиппов подозревает, что и он, Ермолкин, вместо того чтобы построить бомбардировщик или хотя бы какой-нибудь «кукурузник», держит

деньги в чулке. Ермолкин тут же полез в карман, выгреб из него все, что в нем было, а было всего-навсего четыре рубля с мелочью. Эти деньги Ермолкин держал на раскрытой ладони, как бы показывая, что больше у него нет ни копейки, но если на эти четыре рубля с мелочью можно построить какой-нибудь, небольшой пусть, бомбардировщик, то он, Ермолкин, будет этому только рад.

Лейтенант Филиппов привел и другие примеры беззаветного героизма, но одновременно с этим отметил (и при этом опять посмотрел на Ермолкина), что среди работников тыла, и в частности среди населения данной местности, существуют и определенные негативные явления. Среди наиболее отсталой части населения, сказал Филиппов, ходят самые нелепые слухи, возможно, возбуждаемые и распространяемые скрытыми враждебными элементами (и опять взгляд на Ермолкина).

К таковым относятся и слухи о так называемой банде Чонкина.

Лейтенант подтвердил, что такая банда действительно существовала, но она полностью разоблачена и обезврежена, а сам Чонкин в ожидании справедливого и сурового суда сидит в тюрьме.

– Дело не в Чонкине, – объяснил лейтенант. – Я думаю, что здесь все коммунисты и все умеют держать язык за зубами. И я скажу по секрету: в нашем районе действует враг пострашнее Чонкина. Это некий Курт, личный агент немецкого обершпиона адмирала Канариса.

При слове «Курт» Ермолкин съежился. Он сразу вспомнил, что об этом Курте совсем недавно его спрашивал подполковник Лужин. Честными глазами Ермолкин уставился на Филиппова, всем своим видом показывая, что к упомянутому Курту никакого отношения не имеет. Но лейтенант Филиппов, в свою очередь, пристально смотрел на Ермолкина. Ермолкин не выдержал и, выдавая себя с головой, отвел глаза и посмотрел на военкома Курдюмова. Курдюмов, решив, что Ермолкин подозревает его, посмотрел на лектора Неужелева, цепная реакция страха распространилась среди присутствующих, каждый из которых в реальность существования Курта не верил, но не имел никаких доказательств, что он и Курт не одно и то же лицо.

Впрочем, лейтенант Филиппов, кажется, никого конкретно все-таки не подозревал. Он только объяснил, что один шпион может нанести нашему государству урон больший, чем полк или даже дивизия, и попросил присутствующих проявлять максимальную

бдительность, не разглашать государственных и военных тайн, присматриваться к окружающим и, если возникнут хоть малейшие сомнения или подозрения, немедленно обращаться с ними Куда Надо.



Среди людей, собравшихся в приемной, находился и председатель Голубев. Он сидел под дверью Ревкина на одном из сбитых в ряд стульев и, положив ученическую тетрадь на полевую сумку, составлял тезисы будущих ответов на всевозможные обвинения.

Поэту, который возьмется всесторонне воспеть нашу действительность, никак нельзя пройти мимо темы ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО.

Персональное дело – это такое дело, когда большой коллектив людей собирается в кучу, чтоб в порядке внутривидовой борьбы удушить одного из себе подобных сдуру, по злобе или же просто так.

Персональное дело – это как каменная лавина: если уж она на вас валится, вы можете объяснять ей все, что хотите, она пришибет.

Голубев хорошо это знал, когда дело касалось других. Но теперь он совершал ошибку, которую тысячи людей совершали до него и тысячи совершат после. Он готовил ответы на те вопросы, которые ему, может быть, зададут, наивно надеясь, что в данном конкретном случае почему-то возьмут верх его доводы и соображения здравого смысла.

Персональных дел было назначено несколько. Тут же рядом с Голубевым сидел пожилой учитель местной школы Шевчук, маленький человек с красными склеротическими прожилками на щеках. Он был в очках, в стеганых ватных бурках с галошами и в залатанной телогрейке, подпоясанной узким ремнем. На коленях он держал старый буденновский шлем, одно ухо которого было оторвано. Голубев Шевчука знал случайно, как-то познакомились в чайной. Вид у него был испуганный, он мял руками буденновку и как бы сам для себя бормотал:

– Буду каяться... каяться буду... А вы как считаете? – обратился он к Голубеву.

Голубев пожал плечами.

– А что делать? – продолжал бормотать Шевчук. – У меня же детишек четверо. Дочку замуж выдал, а остальные вот. – Он показал рукой примерный рост остальных.

– За что вас? – спросил Голубев.

– За язык, – сказал Шевчук и для убедительности высунул язык и показал на него пальцем.

Голубев думал, учитель расскажет, что именно случилось с его языком, но тот замолчал, уставясь в одну точку.

Тут же были еще два персональщика. Один, парторг из колхоза имени XVII партсъезда Коняев, и другой, Голубеву неизвестный. Первый обвинялся в том, что растратил партийную кассу, а второй кого-то изнасиловал. Эти оба сидели с отрешенными и напряженными лицами, ни с кем в разговор не вступая.

Первым вызвали Коняева. Он там пробыл недолго и вышел в приемную, крестясь как бы понарошке.

– Что тебе? – спросил Голубев.

– Выговор, – сказал Коняев.

– А разговаривали строго? – спросил Шевчук.

Коняев смерил его взглядом и ответил сквозь зубы:

– А я врагам народа не отвечаю.

Шевчук от растерянности съежился и замолчал. Вторым вышел тот, который насиловал. Он был поразговорчивее.

– Не бойся, – сказал он Шевчуку, пряча партбилет в карман гимнастерки. – Там тоже люди сидят, не звери.

Выглянула секретарша:

– Шевчук, зайдите.

– Ой, батюшки! – встрепнулся Шевчук.

Он вскочил на ноги и уронил очки. Нагнулся, чтобы поднять, но потерял равновесие и наступил на них. Вконец растерявшись, он стал подбирать осколки.

– Товарищ Шевчук, – сказала секретарша, – оставьте, это и без вас уберут. И вы, товарищ Голубев, тоже можете зайти.

Голубев зашел следом за Шевчуком в кабинет, затянутый дымом. Поздоровался, но никто ему не ответил. Только прокурор Евпраксеин как-то неопределенно кивнул головой и, покраснев, отвернулся. Следом за Шевчуком Голубев сел на один из свободных стульев у стены.

– Итак, товарищи, – сказал Ревкин, – нам осталось выслушать два персональных дела – товарищей Шевчука и Голубева. Товарищ Шевчук здесь?

– Здесь! – Шевчук вскочил.

– По этому делу докладчик у нас... товарищ Бабцова?

– Да, – сказала Бабцова, полная женщина в темно-синем жакете. Она была секретарем парторганизации в школе, где работал Шевчук.

Она вышла вперед к столу Ревкина и, стоя рядом с ним, зачитала историю преступления Шевчука.

22 июня, гуляя на свадьбе своей дочери и узнав о нападении фашистской Германии на нашу страну, Шевчук допустил политически незрелое высказывание. Товарищи из партийной организации школы, учитывая добросовестную в прошлом работу товарища Шевчука, предложили ему составить объяснительную записку и в письменной форме осудить свое выступление. Таким образом, товарищи проявили чуткость и терпимость к члену своей парторганизации. Шевчук, однако, оттолкнул протянутую руку и писать объяснение отказался. Невольно у товарищей зародилось сомнение, что высказывание Шевчука не плод политической незрелости, а продуманная линия. Проявляя, однако, гуманность и действуя в духе товарищества, коллеги на очередном партийном собрании еще раз просили Шевчука осознать свою ошибку и признать, что, хотя его высказывание, может быть, и не носило намеренно провокационного характера, объективно оно льет воду на мельницу наших врагов. Надо сказать, что под давлением товарищей Шевчук несколько смягчил занятую им позицию. Но в основном продолжал упорствовать в своих заблуждениях, считая, что он все-таки ничего особенного, как он выразился, не сказал. Из всего изложенного партийная организация школы выводит убеждение, что товарищ Шевчук не разоружился перед партией и потому не может в дальнейшем носить высокое звание коммуниста. Собрание вынесло решение об исключении т. Шевчука из рядов ВКП(б) и просит райком утвердить его решение.

– Все? – спросил Ревкин.

– Все, – сказала докладчица, складывая очки.

Помолчали. Было слышно, как скрипит перо секретарши, которая вела протокол. Ревкин подождал, пока она кончит писать, и повернулся к обвиняемому:

– Шевчук, вы хотели что-нибудь объяснить, дополнить?

– Да, – сказал Шевчук, еле двигая деревянными губами, – я... собственно говоря... полностью признавая допущенную ошибку, хочу тем не менее обратить внимание товарищей, что мое высказывание никакого враждебного умысла не содержало.

– Как это не содержало? – вскинулся Борисов. – Что ж, это, может быть, коллектив вашей организации не прав?

– А что он сказал? – раздался голос с места.

– Что он сказал? – повторил второй голос.

– Да, что он сказал? – настаивал и третий голос.

– Пусть повторит!

– Я, собственно говоря, ничего особенного...

– Что значит ничего особенного? А ну-ка повтори, что ты сказал!

– Я, товарищи, когда услышал о нападении Германии...

– Фашистской Германии, – поправили его с места.

– Да-да, разумеется. Именно фашистской. Услышав об этом, я сказал: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» И все.

– Ничего себе все, – покачал головой лектор Неужелев.

– Да уж, – согласился с ним сидевший рядом военком Курдюмов.

– Значит, ты считаешь, мало сказал? – спросил Борисов. – Побольше б надо было, а? – Он хитро подмигнул Шевчуку.

– Да что вы! – Шевчук прижал руку к груди. – Я не в этом смысле.

– Ну, не в этом, – не поверил Борисов. – Ты что же думаешь, дети тут собрались из детского сада? Нет, брат, тут все стреляные воробьи, и нас на мякине не проведешь. И каждому из нас отлично понятно, что именно ты хотел сказать этими своими словами. Ты хотел сказать, что страна наша вступила в войну неподготовленной, ты хотел бросить тень на мудрую политику нашей партии и умалить личные заслуги товарища Сталина. А теперь будешь нам сказки рассказывать, он, мол, не в этом смысле.

– Между прочим, – подал реплику военком, – если не ошибаюсь, поговорка насчет Юрьева дня родилась во время введения полного крепостного права.

– Именно так, – подтвердил лектор Неужелев.

– Так вот ты еще на что намекал, на то, что у нас, мол, еще крепостное право к тому же!

– Да нет... да я же...

– Товарищ Борисов, – вмешался Ревкин, – то, что вы сказали, можно считать вашим выступлением?

– Да-да, – сказал Борисов.

– Товарищи, попрошу по порядку. Какие еще будут мнения?

– Разрешите мне, – поднялся прокурор Евпраксеин. Устремив взгляд куда-то вдаль, он начал не торопясь. – Товарищи, всем известно, что наш строй самый гуманный строй в мире. Но наш гуманизм носит боевой, наступательный характер. И проявляется он не в слунтяйстве и всепрощении, а в непримиримой борьбе со всеми проявлениями враждебных нам взглядов. Вот перед нами стоит сейчас жалкий человек, который что-то лепечет, и было бы естественным человеческим движением души пожалеть его, посочувствовать. Но ведь он нас не пожалел. Он родину свою не пожалел. Я прошу заметить, товарищи, что он эту фразу, которую у меня даже язык не поворачивается повторить, сказал не когда-нибудь, не двадцать первого июня и не двадцать третьего, а именно двадцать второго и в тот самый час, когда люди наши с чувством глубокого негодования услышали о нападении фашистской Германии на нашу страну. Вряд ли, товарищи, это можно считать случайным совпадением фактов. Нет! Это был точно рассчитанный удар в точно рассчитанное время, когда удар этот мог бы нанести нам максимальный ущерб. – Прокурор помолчал, подумал и продолжал с грустью: – Ну что ж, товарищи, не первый раз приходится отражать нам наскоки наших врагов. Мы победили белую армию, мы выстояли в неравной схватке с Антантой, мы ликвидировали кулачество, разгромили банду троцкистов, мы полны решимости выиграть битву с фашизмом, так неужели же мы не справимся еще и с Шевчуком?

Среди присутствующих прокатился шум, означавший: да, как ни трудно, а справимся.

Пока прокурор произносил свою речь, Ермолкин дергался и ёрзал на стуле. Ему казалось, что все, включая Худобченко, Ревкина и Филиппова, время от времени пытливо поглядывают на него, определяя, как он относится к происходящему, не сочувствует ли Шевчуку как возможному единомышленнику.

Не успел прокурор сесть на место, как Ермолкин вскочил на ноги, ему еще никто не давал слова, а он уже заговорил. Вероятно, он тоже хотел сказать какую-нибудь достойную речь, чтобы присутствующие могли оценить правильность и твердость его мировоззрения.

– С большим трудовым подъемом встретили труженики нашего района... – начал он, но тут же, видимо от волнения, сбился с толку, потерял нить, впал в истерику и стал выкрикивать что-то о каком-то мальчике трех с половиной лет, которого вроде Шевчук хотел не то убить, не то зарезать, но и этого не договорил, задержался еще больше и стал выкрикивать «мерзавец» и «сволочь». Он бился в конвульсиях, брызгал слюной...

– Борис Евгеньевич, что с вами? – с места забеспокоился Ревкин.

– Мерзавец! – продолжал колотиться Борис Евгеньевич. – Сволочь! Мой сын... Ему три с половиной года...

– Боря! Боря! – подбежал к нему Неужелев. – Прошу тебя, успокойся. Выпей воды. Я понимаю, тебе обидно. Нам всем обидно. Самое святое... За что мы боролись... За что сегодня кровь проливаем на всех фронтах... Но я тебе обещаю, Боря, мы нашу советскую власть в обиду никаким Шевчукам не дадим.

Принесли воды. Подождали, пока Ермолкин успокоится.

– Продолжим, товарищи, – вернулся Ревкин к прерванной теме. – Тут Борис Евгеньевич выступал, может быть, с излишней горячностью, но, по существу, он прав. И по-моему, с этим вопросом все ясно.

– Уж куда яснее, – поддержал Борисов.

– А мне не ясно!

В дальнем углу, с грохотом отодвинув стул, поднялся Вениамин Петрович Парнищев, директор элеватора. Это был огромного роста мужчина, широкоплечий, с вьющимися волосами, падавшими на лоб.

– Как не ясно! – всполошился Борисов. В его голосе чувствовалось и удивление, и беспокойство, что дело может принять неожиданный оборот, и угроза, что, мол, если кому не ясно, то при случае можем и разъяснить.

– Мне не ясно! – отменяя угрозы, повторил Парнищев. – Товарищ Борисов у нас, может быть, умный, он во всем с ходу разбирается, а я глупый, я с ходу не разбираюсь. И я скажу так. Тут некоторые, я вижу, нервные, слишком торопятся, закатывают истерику и порют горячку. А

речь, между прочим, идет не о чем-нибудь, а о судьбе человека. Че-ло-ве-ка! – по складам повторил Парнищев и потряс над головой указательным пальцем. – И решить эту судьбу, не разобравшись во всем как положено, мы не имеем права. Вот я, товарищи, с этим человеком... как тебя?

– Шевчук, – напомнил учитель с готовностью.

– Так вот, с этим Шевчуком я лично вообще незнаком. Ну, может, где виделись, на улице или в кино, я не помню. Так что до сегодняшнего дня мне было, как говорится, до фени, живет ли где-то подобный Шевчук или нет. Но тут я послушал все это дело, и вот чего я понять не могу. Ведь ты же, – обратился он к Шевчуку, – советский человек?

– Советский, – поспешно согласился Шевчук.

– Коммунист?

– Коммунист, – подтвердил Шевчук.

– Так как же ты мог это сделать? – громовым голосом спросил Парнищев.

– Что сделать? – робко спросил Шевчук. Он был явно растерян. Ему казалось, что Парнищев каким-то хитроумным способом стремится его защитить, и Шевчук хотел подыграть Парнищеву, но не знал как.

– Ты, Шевчук, тут вот что, ты брось тут из себя целку, извините за выражение, строить. Тут собрались твои товарищи, обеспокоенные твоей же судьбой. Ты посмотри, здесь почти все руководители района. Даже сам товарищ Худобченко лично приехал. Они оторвались от важнейших дел только для того, чтобы послушать тебя, а ты, ты...

Парнищев раскраснелся, глаза его вылезли из орбит, и он пел вдохновенно, как соловей.

Шевчук во все глаза смотрел на Парнищева, но не мог понять, защищает он его или топит.

– Да я... – начал было Шевчук, но Парнищев махнул рукой, перебивая:

– Подожди ты «да я». Доякался! Ну, я понимаю, допустим, не желаешь ты быть коммунистом, не желаешь быть советским человеком...

– Я желаю! – страстно сказал Шевчук, прикладывая руки к груди.

– Но сейчас, – продолжал Парнищев, не слыша, – в такое тяжелое для нашей страны время ты мог бы вспомнить хотя бы о том, что ты – русский. Вот, товарищи, – перешел Парнищев на элегический тон, – читал я тут как-то в газете про одного графа или князя из недобитых белогвардейцев, который сейчас проживает в Париже. И вот этот человек, который люто ненавидел советскую власть, сейчас решительно отказался сотрудничать с немцами. «Сейчас, – сказал он, – когда над родиной нависла черная туча, я не граф, не антибольшевик, сейчас я прежде всего русский человек!»

В зале захлопали. Всем было ясно, что Шевчук стоит гораздо ниже этого графа.

– Вот что, Шевчук, – продолжал Парнищев. – Ты совершил грязный и нехороший поступок. Так имей же мужество его признать, и я первый обниму тебя как брата. – Расставив широко руки, Парнищев даже сделал шаг к Шевчуку, но тут же вернулся и сел на место. – У меня все, товарищи, – тихо сказал он.

Все молчали и смотрели на Шевчука. Шевчук, переступая с ноги на ногу, мямл в руках выдавшую виды буденновку с одним ухом.

– Ну что ж, товарищи, – сказал Ревкин, – мы Шевчуку дали высказаться. Вы сами слышали, что он тут сказал. Он не хочет признать ошибочность своих высказываний...

– Хочу! Хочу! – чуть ли не рыдая, закричал Шевчук.

– Ах так! – удивился Ревкин. – Ну что ж, товарищи, послушаем.

Шевчук встал, подошел к столу и вцепился пальцами в сукно.

– Ну! – подбодрил его Ревкин.

– Товарищи! – неожиданно четко начал Шевчук. – Я совершил позорный для коммуниста поступок. В первый день войны, услышав поразившее меня сообщение, я смалодушничал, и у меня вырвались слова известной русской поговорки: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Это было ошибочным, политически незрелым выступлением. Я понимаю, что в конкретной обстановке некоторым товарищам мое выступление могло показаться враждебным...

– Что значит могло показаться? – перебил военком.

– То есть я хотел сказать, что объективно мое высказывание, может, и выглядит... но я не хотел...

– Он не хотел, – недоверчиво покачал головой Неужелев.

– Да уж, – сказал Курдюмов.



– Ты вот что, Шевчук, – сказал Борисов как будто благожелательно. – Если уж стал признаваться, то не вилий. Здесь все свои, здесь слышали многое, давай вали все, как есть. А то хотел, не хотел. Мало ли кто чего хотел. Я, может, сейчас хотел бы с бабой на перине кувыркаться, а приходится вот с тобой тут возиться. А то еще хотел, не хотел. У нас вон за тобой еще какая очередь, а ты нам мозги мутишь. Начал говорить, так говори до конца: выступление мое было политически незрелым, клеветническим и объективно направлено против партии. Так?

– Так, – еле слышно подтвердил Шевчук.

– Ну вот, – повернулся Борисов к другим членам бюро, – вот видите, товарищи, Шевчук во всем признался. А тут еще некоторые сердобольные и добренькие находились, которые хотели ограничиться выговором. Какой тут выговор, товарищи, когда дело пахнет вражеской вылазкой, политической провокацией. И не мы должны Шевчуком заниматься, а, я прямо скажу, вон товарищ Филиппов.

Борисов сел. Шевчук продолжал стоять, бледный как полотно. Он оглянулся на Парнищева, но тот обнимать его как брата не спешил.

– Ну ладно, – переглянувшись с Худобченко, тихо сказал Ревкин. – Вопрос насчет того, кого передавать товарищу Филиппову, мы с вами пока решать не будем, а Шевчука накажем нашей властью. Я думаю, что после всего сказанного правильно будет подтвердить решение собрания коммунистов школы об исключении Шевчука из партии.

– Как подтвердить? – вдруг подала голос Раиса Семеновна Гурвич, главный врач больницы. – Разрешите мне два слова? – попросила она, поднимаясь.

Ей разрешили.

– Товарищи, – сказала она, волнуясь, – я просто в ужасе от того, что я здесь услышала. У меня волосы буквально становятся дыбом. Я ничего не могу понять. Моя дочь Светлана учится в седьмом классе той же школы, где преподавал вот этот товарищ или гражданин... не знаю, как его назвать. Мы с мужем всегда воспитывали Светочку в духе наших идей, всегда прививали ей любовь к родине, к партии, к товарищу Сталину. Мы верили, что и педагоги учат нашу девочку тому же. А теперь я вижу – вот кто ее учит. Товарищи, я не понимаю, как же это можно было доверить воспитание наших детей такому человеку? Как он мог с такими взглядами пробраться в нашу советскую школу?

И кто ему в этом помог? Ведь если он сказал такое, – закричала она, – в тот день, когда все советские люди... то что же он говорил раньше? Нет, товарищи, исключить Шевчука, конечно, не трудно, но этого мало. Мало! Надо проверить весь педагогический коллектив, дирекцию школы, выяснить, как сложилась такая нездоровая обстановка, в которой мог безнаказанно действовать этот Шевчук. Я думаю, товарищи, нам надо направить в школу партийную комиссию. И выяснить все нездоровые элементы, которые там могут быть. Иначе, например, я лично, как мать, просто не смогу отпустить свою девочку в школу. Пусть лучше она не получит никакого образования, чем она получит... чем она получит... чем она получит... Простите, я не могу, – сказала Раиса Семеновна сквозь слезы и села, закрыв лицо руками.

Речь Раисы Семеновны произвела впечатление – все загудели. Ревкин постучал карандашом по графину.

– Раиса Семеновна, безусловно, права, – сказал Ревкин. – Похоже, что в школе, где преподавал Шевчук, сложилась крайне неприглядная обстановка. Видимо, руководство школы утратило всякую бдительность. И нас это не может не беспокоить. Ведь именно школа призвана воспитывать нашу смену. Именно в школе закладывается нравственный фундамент нового человека. И мы не можем относиться безразлично к тому, кто закладывает этот фундамент. И мы к этому в ближайшее время вернемся. А пока, товарищи, не будем отвлекаться и покончим с этим делом. Итак, есть предложение подтвердить исключение из партии. Другие мнения есть? Нет? Голосуем. Голосуют только члены бюро. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет? Принято единогласно. Товарищ Шевчук, у вас билет с собой?

Шевчук молчал, вцепившись в сукно и глядя прямо перед собой.

– Шевчук, я вам говорю! – повысил голос Ревкин. – Положите билет на стол.

Шевчук вдруг вытаращил глаза, приподнялся на носки, странно, со свистом и даже с каким-то гулом втянул в себя воздух и попятился назад, таща за собой скатерть со всеми графинами, стаканами, пепельницами и чернильными приборами.

– Товарищ Шевчук! – закричал Ревкин. – Вы что делаете? Остановитесь!

Но на лице Шевчука появилось отрешенное и злобное выражение. Он продолжал пятиться, одновременно все более клонясь назад, а на губах его розоватыми пузырями вскипела пена. Кто-то вскочил на ноги. Кто-то, сидевший на другой стороне стола, ухватился за скатерть, пытаясь ее удержать. Скатерть треснула. Упал графин. Зазвенело стекло. И вдруг Шевчук с клоком сукна в руках, не подгибая колен, ровно, как столб, опрокинулся навзничь. Громко хрустнул затылок.

Члены бюро повскакивали на ноги и, вытянув шеи, смотрели на распостертое жалкое тело. Шевчук лежал, держа перед собою двумя руками клочок сукна и буденновку, словно торговал ими.

– Кто-нибудь из медиков есть среди нас? – растерянно спросил Ревкин. – Раиса Семеновна!

Раиса Семеновна наклонилась над телом, и стоявшим сзади стали видны ее толстые ляжки, туго обтянутые резинками голубых трикотажных рейтуз.

– Пульса нет, – сказала Раиса Семеновна, с трудом разгибаясь.

Сделали перерыв, вызвали «Скорую помощь», которая доставила Шевчука в морг при местной больнице. Ревкин пригласил Худобченко пообедать, но тот, посмотрев на часы, сказал, что ему некогда, и в сопровождении своего консультанта, ни с кем не попрощавшись, пошел к машине.

Ревкин догнал его в коридоре.

– Петр Терентьевич, – сказал он, семеня рядом с Худобченко, – мне очень жаль, что так получилось.

– Та брось, – махнул рукой Худобченко. – Ты тут ни при чем. Никто же не знал, что у него такое слабое сердце.

– Ну так, может, все же пообедаешь с нами?

– Не, не, не могу, друже, дела, – решительно отказался Худобченко. – Иди продолжай заседание, а меня провожать не нужно.

Он пожал Ревкину руку, но без обычного дружелюбия, и пошел дальше. Ясно было, что он хочет устраниться от происшедшего. Проводив Худобченко взглядом, Ревкин постоял на лестнице и стал подниматься обратно. Тут на него чуть ли не налетел Борисов с какими-то бумагами в руке.

– Ты куда? – спросил его Ревкин.

– Да я... вот... тут... – Борисов растерялся и прятал глаза. – Вот, – наконец нашелся он. – Петр Терентьевич забыл. – И кинулся мимо Ревкина вниз по лестнице.

Быстро поднявшись к себе, Ревкин увидел в окно, как Борисов, стоя раздетый на холодном ветру, совал бумаги Худобченко, садившемуся в машину. По тому, как Худобченко принимал из рук Борисова эти бумаги, ясно было, что он их не забывал, что он их видит впервые.

«Что-то против меня, гад, написал», – подумал Ревкин о Борисове.

Потом уже стало известно, что в то утро, перед заседанием бюро, Борисов попрощался с женой и дочерью и жене сказал, уходя: «Ну, Манька, иду на страшное дело. Теперь или грудь в крестах, или голова в кустах».

Борисов вернулся в кабинет. Ревкин пытливно посмотрел на него, но тот снова отвел глаза.

– Ну что ж, товарищи, – вздохнув, сказал Ревкин, – у нас тут произошла неприятная история, я надеюсь, что она останется между нами. Я не хотел бы вас пугать, но предупреждаю: каждый, кто вздумает болтать о том, что здесь произошло, будет привлечен к партийной ответственности. А теперь продолжим. На очереди у нас персональное дело товарища Голубева. По этому вопросу слово имеет товарищ Чмыхалов. Давай, Чмыхалов, только покороче, мы и так, – он посмотрел на часы, – задержались.

Поднялся Чмыхалов. Немного смущенный случившимся, он, глядя в бумагу, пробубнил обвинения против Голубева. Они сводились, в общем, к тому, что Голубев с некоторых пор стал игнорировать решения партийных органов, товарищескую критику воспринимал болезненно, в конце концов дошел до того, что сорвал намеченный райкомом срок уборки. Когда ему на это было указано, Голубев отвечал грубо, в присутствии беспартийных колхозников отпускал язвительные замечания, тем самым дискредитируя в глазах масс руководящую роль партии.

Голубеву вспомнилось: был он в прошлом году в большом городе. Машина сбила пешехода. Движение остановилось. Сбежался народ, подъехали милиция и «Скорая помощь». Сбитого увезли. Промеряли что-то рулетками. Засыпали кровь песком. Подмели. Регулировщик взмахнул палкой, и движение восстановилось. И так же катили сплошным потоком машины. И так же торопились прохожие. Словно ничего не случилось. Голубев вспомнил Шевчука. Он лежал у стола, будто сбитый машиной. «Господи! – думал Голубев. – Вот и я помру когда-нибудь от страха перед начальством...»

– Голубев! – дошло до его слуха. – Вы что, оглохли?

Голубев поднял голову и увидел, что все глаза устремлены на него.

– Товарищ Голубев, – повторил Ревкин, – я вас спрашиваю в третий раз, хотите ли вы что-нибудь сказать?

– А чего говорить? – спросил Голубев.

– Как – чего? Вы слышали выступление Чмыхалова? Хотите что-нибудь возразить по поводу сказанного?

– Можно и возразить, – подумав, сказал Голубев.

– Только покороче, – вставил Борисов.

– Можно и покороче, – согласился Голубев.

Вскочил Неужелев.

– Товарищи, я предлагаю установить регламент. Мы тут и так много времени потеряли.

– Какой регламент вы предлагаете? – спросил Ревкин.

– Пять минут.

– Пять много, – заметил Борисов, – достаточно трех.

– Товарищ Голубев, – повернулся к нему Ревкин, – хватит вам трех минут?

– Еще и останется. – Голубев встал, медленно пошел к первому секретарю. – Вот, получите, – сказал он и, положив партбилет на стол перед Ревкиным, пошел к выходу.

– Товарищ Голубев! Товарищ Голубев! – закричали вместе Ревкин и Борисов.

Голубев махнул рукой и вышел за дверь. Члены бюро растерянно переглядывались, не зная, как реагировать на столь неожиданный поступок.

– Это провокация! – вдруг не своим голосом завопил Неужелев. – Мы должны его немедленно остановить!

Борисов, не дожидаясь дальнейшего развития событий, кинулся вслед за Голубевым. Он догнал его уже на улице, где Голубев, отвязав свою лошадь от забора, влезал в двуколку.

– Иван Тимофеевич! – Выбежав без пальто и шапки, Борисов дрожал. – Иван Тимофеевич, ты чего это?

Иван Тимофеевич взгромоздился на двуколку и разобрал вожжи. Лошадь сразу пошла, но он ее придержал и выжидательно смотрел на Борисова.

– Вернись! – призывно сказал Борисов.

Голубев смотрел на него, не говоря ни слова.

– Вернись, Тимофеич, – просил Борисов. – Никто твоей крови не хочет. Ну пожурим малость, ну покаешься, на том и сойдемся.

– В чем каяться? – спросил Голубев.

– В чем-нибудь, – сказал Борисов быстро. – Только не доказывай ничего насчет погоды и объективных условий. Скажи, виноват, запил.

– Значит, пьянство прощается? – спросил Голубев.

– Пьянство можно простить, – сказал Борисов. – Лишь бы все политически правильно было.

– Теперь все ясно, – сказал Голубев, щелкнул лошаадь концом вожжи. – Но-о!

– Да погоди ты, – бежал рядом Борисов, хватаясь за борт двуколки.

– Отойди, говорят! – Голубев замахнулся кнутом.

Лошадь рванула, Борисов отлип.

Когда Борисов вернулся в райком, там царила полная растерянность. Обсуждали, что делать. Парнищев предложил:

– Раз он сам положил билет, у нас нет другого выхода, как принять его.

Вскочил Неужелев.

– Нет, товарищи, так нельзя. Это будет политической ошибкой. Мы, товарищи, не можем допустить, чтобы коммунисты кидались самым дорогим для нас документом. Мы должны заставить Голубева взять партбилет обратно. А вот когда он его возьмет, тогда мы его и... – Неужелев сделал хищный хватающий жест рукой.

– Правильно, – сказал Ревкин. – Думается, что Неужелев дело говорит. – (Неужелев скромно потупился.) – Давайте запишем примерно такое решение. Первое: осудить недостойное поведение коммуниста Голубева и указать ему на недопустимость небрежного обращения с партийным билетом. Второе: обязать товарища Голубева принять обратно партийный билет. Выполнение поручить... – Он поднял голову и встретился глазами с Борисовым. – Вот товарищу Борисову и поручим, – завершил он злорадно. Борисов покорно наклонил голову.

Пора нам изобразить и свою птицу-тройку. Да где же ее возьмешь? Пусть заменой ей будет крытая полупторка с военным номером на бортах. Она мотается по всем дорогам в пределах расположенного на территории области военного округа. Когда несется она по пустынной дороге, из полупторки доносится визг поросят и ошалелое кудахтанье кур.

Экипаж полупторки, состоящий из трех человек, не считая шофера, чем-то напоминает концертную бригаду, обслуживающую удаленные от центра населенные пункты. Представления, которые дает эта бригада, и похожи на концерты или, точнее, на короткие драматические спектакли с одним и тем же финалом. Но это не концертная бригада, это выездная коллегия Военного трибунала, это тройка. Впереди рядом с шофером сидит председатель, полковник Добренький, приятного вида человек с сизым носом на полном лице. Николай Спиридонович жизнелюб. Любит пить горилку, «шутковать», «спивать писни», равнодушен к женскому полу. «Худых не люблю, – говорит он. – Люблю таких, шоб было за шо учепиться». К подсудимым относится отечески, часто называя их не подсудимыми, а сынками. «Ну шо ж, сынок, я вижу. Родина тебя вырастила, воспитала, а ты ее предал, як отой Иуда за тридцать серебряных копеек». И приговор в двух вариантах: расстрел или штрафная рота. И похоже, что приговоры эти не оставляют никакого следа в душе Николая Спиридоновича. Вечером того же дня, если попадется хорошая, «душевная» компания, он с удовольствием выпьет, закусит и заспивает:

Ой ты, Галю, Галю молодая,  
Подманулы Галю, забралы з собою...

При этом он дирижирует подпевающими, подмигивает и недовольно морщится, если кто фальшивит.

В крытом кузове на скамеечке спиной к кабине сидят коллеги Добренького: два мрачных типа – Целиков и Дубинин. Тут же на полу



подпрыгивают мешки. Мешок муки, мешок гороха, мешок картошки. И мешки с живностью: с поросенком, с курами, с гусями.

Бригада разъезжает по территории военного округа с заданием «оперативного осуществления социалистической законности в условиях военного времени». Она судит дезертиров, самострельщиков и прочих военнообязанных, уклоняющихся от священного долга защиты отечества. Еще оперативней всех этих людей можно было бы расстреливать на месте без суда, но тогда где бы члены трибунала брали картошку, муку, поросят и прочее?

А ведь из-за всего этого задерживаться приходится то в одной местности, то в другой. И никак до Долгова добраться не могут.

Но вот уж как будто едут.

Едут! Едут! Не так ли и ты, Русь... впрочем, это, кажется, кем-то было уже написано.

А навстречу полуторке, оставляя за собой вихрящуюся полосу пыли, птицей летит «ЗИС-101», и земляк Добренького, товарищ Худобченко, отворачивая текст от шофера и от сидящего сзади консультанта Пшеничникова, знакомится с документом, врученным ему в Долгове Борисовым.

...как честный коммунист считаю своим долгом довести до Вашего сведения, что в нашем районе идейно-воспитательная работа среди населения находится на угрожающе низком уровне...

...некий Чонкин при содействии своей сожительницы Беляшовой... оперативную группу из семи человек под командованием лейтенанта Филиппова...

...только с помощью воинской части удалось...

...последствия чего и доньше возбуждают нездоровый интерес среди отсталой части населения района и порождают разнообразные слухи... якобы капитан Миляга... Все это, без сомнения, отрицательно сказывается на авторитете органов... как и многие коммунисты района, считаю необходимым провести тщательное... и укрепить партийные кадры...

Между тем полковник Добренький и товарищ Худобченко приближались друг к другу со скоростью, равной сумме скоростей их машин. И вот уже «ЗИС-101» и полуторка поравнялись и остановились, загородив всю дорогу. Добренький выпрыгнул на дорогу, а Худобченко поманил его пальцем.

– Дэ путь держишь, козаче? – спросил Петр Терентьевич, доброжелательно глядя на опухшее от пьянства лицо полковника.

– Дезертира едем судить, Петр Терентьевич, – почтительно отвечал Добренький.

– Дезертира? – поднял брови Худобченко. – Не Чонкина ли?

– Чонкина, – кивнул полковник, удивляясь, что сам товарищ Худобченко слышал такую незначительную фамилию.

– Ага... так... – задумчиво бормотал Худобченко, оглядывая тучную фигуру своего земляка. – Во шо, козаче, ты зараз туды не изды. Дело Чонкина откладывается. Там скоро будут дела покрупнее. Так шо вертай обратно. Понял?

– Понял! – вытянулся Добренький.

– О це и добре, – сказал Худобченко и вяло приподнял свою пухлую руку, как бы отчасти приветствуя полковника и одновременно давая шоферу знак двигаться дальше.

Сразу же после бюро Ермолкин хотел вернуться к себе в редакцию, но его по дороге перехватил и затащил к себе в дом Сергей Никанорович Борисов. Здесь, предложив гостю выпивку и закуску, Борисов долго и невнятно развивал мысль о том, что в районе не все в порядке, что беспорядок этот идет с самого верха и что партийная печать должна в конце концов занять позицию прямую и непримиримую. Если посмотреть на то, что происходит, честно и непредвзято, объяснял Борисов, то мы увидим, что дела в районе идут не так гладко, как это изображается на страницах «Большевистских темпов». На страницах тишь да гладь, а в жизни творятся дела, с одной стороны, непонятные, а с другой стороны, очень хорошо кем-то организованные. И в этой ситуации каждый должен определиться и определить собственное отношение к тому, что сейчас происходит.

– Учти, Борис, – намекал Сергей Никанорович, – в жизни каждого партийца бывают минуты, когда надо делать выбор: или – или, на ту лошадь поставить или на эту.

Весь этот разговор оставил в душе Ермолкина ощущение гадостности и тревоги, а упоминание о лошади и вовсе сбило его с копыт.

– Я все понял, – сказал Ермолкин Борисову. – Все будет сделано, как вы хотите, – добавил он, хотя сам не понимал, что говорит, что обещает, что именно будет сделано.

В подавленном настроении Ермолкин покинул Борисова и возвращался к себе в редакцию, когда увидел поразившую его взор картину.

Прислонившись к стене общественной уборной, стояла худая женщина босиком, в одной нижней рубахе. Ветер задирает подол комбинации, открывая острые и синие от холода колени. Покорно глядя на направленные на нее два ствола охотничьего ружья, – «Паша, – робко, но настойчиво говорила женщина, – прошу тебя, поскорее, мне холодно».

– Ничего, – отвечал прокурор Евпраксеин, – на том свете погреешься. Там тебя черти погрееют на сковородке. – Он перехватил

ружьё поудобней и приложился к ложу щекой. – Именем Российской Советской Федеративной...

– Павел Трофимович, – тронул его за рукав Ермолкин.

Не опуская ружья, Павел Трофимович покосился сверху вниз на Ермолкина, как бы пытаюсь понять, откуда появилось это препятствие.

– Что вам угодно?

– Вы хотите ее расстрелять?

– А у вас есть возражения?

– Нет-нет, что вы! – поспешно заверил Ермолкин. – Дело, как говорится, семейное. Я со своей женой тоже вот... слегка, как говорится, повздорил. Только...

– Что только?

– Не могли бы вы расстрелять и меня?

– Тебя? – Прокурор опустил ружье и внимательно посмотрел на Ермолкина, может, пытался понять, стоит ли тратить порох на такую мелочь.

– Да, меня, – подтвердил Ермолкин. – Потому что рано или поздно меня все равно... А мой сын, ему три с половиной года... То есть он вообще-то сейчас на фронте...

– Все ясно, – прервал прокурор. – Становись к стене. А ты, – сказал он жене, – иди домой. Да оденься, а то ходишь как лахудра, в одной рубашке. Становись на ее место.

Ермолкин встал и, запрокинув голову, прижался затылком к мокрой стене. Он представил себе, как из двух стволов сейчас вырвется пламя, и, не желая этого видеть, закрыл глаза. Он не видел, как прокурор поднимал ружье, он только слышал, как тот декламировал четко и внятно:

– Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики... Ермолкина Бориса... как тебя?

– Евгеньевича, – бескровными губами пролепетал Ермолкин.

– ...Евгеньевича... за то, что гад и сволочь, за то, что врал в своей газете как сивый мерин...

– Да-да, – печально кивнул Ермолкин, – все дело именно в мерине.

– За соучастие в убийстве ни в чем не повинного человека...

– В убийстве? – Ермолкин удивленно открыл глаза. – Я никогда никого... Я даже курицу...

– Курицу нет, а Шевчука?

– А, Шевчука, – понял Ермолкин. – Это да. Это, конечно, в некотором роде можно рассматривать...

– ...к расстрелу, – не слушая, продолжал прокурор. – Приговор привести в исполнение немедленно.

Он направил ружье на Ермолкина и, прижавшись щекой к ложу, зажмурил левый глаз.

– Стойте! Стойте! – закричал Ермолкин. – Стойте! – Он упал на колени и, простирая руки вперед, двинулся к Евпраксеину.

– В чем дело? – недовольно спросил прокурор, опуская ружье.

– Я боюсь, – признался Ермолкин и заплакал.

– Ах, так ты еще и трус, – сказал прокурор. – Тогда, конечно, дело другое. Тогда... – Он закатил глаза и нараспев забормотал: – Именем Российской Советской Федеративной... рассмотрев в открытом заседании и совещаюсь на месте, определил... по вновь открывшимся обстоятельствам... учитывая трусость обвиняемого... прежний приговор отменить как необоснованно мягкий. Ермолкин Борис... как тебя?

– Евгеньевич, – услужливо подсказал Ермолкин.

– ...Евгеньевич приговаривается к пожизненному страху с выводом на работу. Мерой пресечения оставить свободу как осознанную необходимость. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Подсудимый, вам приговор ясен?

– Ясен, – уныло отозвался Ермолкин.

– Идите и живите, если вам нравится, – сказал Евпраксеин, глядя на Ермолкина с отвращением.

Вечерело. Возвращаясь домой с работы, лейтенант Филиппов шел усталой походкой человека, обремененного государственными заботами.

После недавних дождей было тепло и влажно. Окна многих домов были распахнуты настежь, из-за них выносились на улицу звуки человеческой жизни: стучал молоток, плакал ребенок, свистел самовар, муж колотил жену, и она визжала. На крыльце развалюхи сидел мужичок с самокруткой и уверенно рассуждал пьяным голосом:

– Немец, я тебе скажу, такой же человек, как и мы, только говорит не по-нашему.

– Будет болтать-то! – доносился строгий женский голос из-за угла. – Ты еще доболтаисси, посодют тебя за твой длинный язык-то.

За двумя окнами было особенно шумно – патефон во все горло распевал «Кукарачу», там танцевали. Перед этими окнами лейтенант Филиппов невольно задержался. Мелькали нарядные платья местных девиц и военная форма командиров временно расквартированной в городе артиллерийской части. «Что ж, – отечески подумал Филиппов, – пусть люди повеселятся». Облокотившись на острые верхушки штакетника, он смотрел в эти открытые окна, и вдруг пронзила его внезапная зависть к этой чужой мимолетной жизни, которая была ему недоступна.

В первые дни войны он познакомился в клубе с девушкой Наташей. Она с матерью незадолго до этого приехала к каким-то своим родственникам из Бреста, где отец ее служил командиром чего-то. Теперь они здесь застряли, а от отца не было ни слуху ни духу. И Наташа, и ее мать нравились лейтенанту своей интеллигентностью. Мать была учительницей, а Наташа будущей учительницей – перешла на третий курс пединститута. Дважды он был у них в гостях, пили чай с мармеладом и говорили о войне. Мать расспрашивала лейтенанта о том о сем и вдруг спросила, почему он здесь, а не на фронте.

– Вы, вероятно, в резерве? – спросила она.

– Да, что-то вроде этого, – ответил он, смутившись.

К счастью, она, кажется, не различала родов войск. Он старался выглядеть приличным молодым человеком, локти на столе не держал,

рыбу ножом не резал, не стучал ложечкой по стакану и чай пил маленькими глотками.

Через несколько дней после этого, выйдя из дверей своего Учреждения на обеденный перерыв, он встретил Наташу, по случайности как раз в это время проходившую мимо. Поздоровались, и он пошел с ней рядом, спрашивал, что она сегодня вечером намерена делать. Не ответив, она спросила, явно волнуясь:

– Вы здесь служите?

– Да, – сказал он небрежно. – А что?

Он мог бы и не спрашивать. Он уже не раз замечал, как люди, подобные Наташе, относятся к его сослуживцам. И ему стало вдруг неудобно, что он служит именно здесь, не в каком-нибудь другом месте. Но он сделал вид, что не понял Наташиного замешательства, и как бы невинно спросил: «А что?»

– Ничего, – сказала Наташа поспешно, – я просто так спросила.

В этот вечер она оказалась занятой, а его на другой день послали арестовывать Чонкина. Когда же он вернулся с этой затянувшейся операции и пришел к Наташе, он узнал, что она и ее мать покинули Долгов и выехали в неизвестном направлении.

За распахнутым окном сменили пластинку. Томный голос жалобно выводил:

Утомленное солнце  
Нежно с морем прощалось,  
В этот час ты призналась,  
Что нет любви.

В такт музыке раскачивались пары. В папиросном дыму они медленно плыли, словно рыбы в аквариуме. На офицерах сверкали ремни новеньких портупей. И лейтенанту вдруг захотелось быть таким же, как эти парни, прямым и открытым, не наводить ужас на других и самому не бояться, танцевать с потной упругой девкой, целоваться где-нибудь в темных сенях, натываясь на коромысла и ведра, а потом с искусанными губами уйти и пусть даже погибнуть за родину, за Сталина, за Наташу, за эту девку или совсем ни за что. «Что это я? – спохватился он мысленно. – Откуда у меня такие настроения? Да, нас

не любят. Да, нас боятся. Но ведь кому-то же надо все это делать», – уговаривал он сам себя, в глубине души подозревая, что как раз именно этого не надо делать никогда и никому.

Неохотно оторвался он от чужого забора, от чужого хмельного веселья и пошел дальше.



Печаль перешла в тревогу. Лейтенанту вдруг показалось... нет, не вдруг, а как-то постепенно проникало в него и усиливалось ощущение, что за ним кто-то следит. Нет, он не слышал за собой чьих-либо шагов или дыхания, но в нем крепло абсолютно неоспоримое чувство, что чей-то пронзительный взгляд жжет его затылок. Конечно, он понимал, что этого быть не может. Взгляд есть нечто нематериальное, то есть то, что никак жечь не может. И все-таки...

«Это просто какая-то чушь, – сказал он себе, испытывая непреодолимое желание оглянуться, но не поддаваясь ему. – Никто не посмеет за мной следить». И все-таки, пройдя еще несколько шагов, он не выдержал, остановился и обернулся. Никого сзади не было. Лейтенант продолжал свой путь. «Со мною что-то творится, – подумал он. – Похоже, что я заболеваю».

Да, это не впервые ему казалось, что за ним следят. То есть бывало по-разному. Иногда, наоборот, казалось, что все его очень любят. Особенно после того, как стал лейтенант начальником Тех Кому Надо, на каждом углу встречался он с проявлением народной любви. На улице незнакомые люди кланялись, а иногда даже снимали шапки.

В любом помещении, на любом месте, в любой момент он мог сесть, не оглядываясь, зная, что стул сзади уже кем-то подставлен. С почтением относилась к лейтенанту местная творческая интеллигенция. Местный художник Шутейников подарил ему свою картину «Трактористы», а поэт Серафим Бутылко прислал вырезку из газеты со своим стихотворением «Дума о вожде». Любили Филиппова и председатели колхозов. Например, один из них, Максим Петрович Шилейко. Стоило только заикнуться (тетка просила), нельзя ли в шилейкином колхозе «Маяк» выписать поросеночка (разумеется, только за деньги и самым законным образом), как Шилейко уже на другой день сам лично привез в мешке поросенка пуда на полтора и дал расписаться в какой-то бумаге, по которой лейтенант уплатит за стоимость этого животного один рубль пятьдесят шесть копеек. (Лейтенант потом думал, что колхозники у нас живут все-таки неплохо, если таких кабанов могут выписывать за столь низкую цену.)

В общем, дела у лейтенанта шли как будто неплохо. И начальником он стал, и на бюро райкома его хвалили, и все его любят...

Все, да не все. Роман Гаврилович Лужин явно к нему придирался. То с делом Чонкина, то Курта какого-то выдумал. «Приказываю... в пятидневный срок...» Приказывать-то легче всего. А где его искать, этого Курта, и по каким приметам?

Может, из-за этих мелких неприятностей и развилось у него что-то вроде мании преследования. Где бы он ни был – на работе, на улице, дома, – все ему казалось: кто-то неотрывно за ним наблюдает.

Дома доходило иногда до невозможного. Даже его родная тетка Пелагея Васильевна, или попросту тетя Поля, замечала, что с ним творится неладное. Бывало, за ужином он вдруг вздрагивал, поднимал голову, смотрел на дверь и неуверенно говорил тетке:

– Кажется, кто-то стучал.

– Да ты что? – удивлялась тетка. – Тебе померещилось.

Он ей не верил. Он подходил на цыпочках к двери, прислушивался, а потом рывком распахивал ее. Никого там, конечно, не было. Иной раз ему казалось, что кто-то смотрит в окно. Он подкрадывался к окну, он отдергивал занавеску, и сердце его падало куда-то в низ живота – с той стороны, с улицы, прикивало к стеклу чье-то желтое, размытое чье-то лицо. Каждый раз неизменно пугался он собственного своего отражения. Дошло до того, что порой и по ночам он поднимался и проверял запоры на дверях, шпингалеты на окнах, подолгу стоял у печки, пытаясь определить, сможет ли достаточно худой человек пролезть в комнату сквозь дымоход. Тетя Поля все замечала.

– И кого ты боишься? – спрашивала она. – Ведь во всем районе никого нет страшнее тебя.

Ах, эта тетя Поля! Она вырастила его и воспитала. Она любила его. Но с тех пор, как он стал служить Там Где Надо, она изменила к нему отношение и, несмотря на свое пролетарское происхождение, превратилась в ужасную контру. Она говорила, что жизнь при царе была гораздо дешевле, и подсчитывала, сколько стоили тогда фунт масла или голова сахара, но из всех цен он почему-то запомнил только, что ситец стоил восемь копеек аршин.

– Вы, тетя, – укорял он ее, – все назад смотрите, а надо смотреть вперед.

– Да ты, я вижу, догляделся, – усмехалась тетка, – что и под лавку зыркаешь – никто ль не сидит.

Иной раз она вдруг спрашивала с невинным видом:

– Ну что? Сколько замордовали народу за текущий отчетный период?

– Да тише вы! – шипел он на нее и оглядывался. А потом, вздыхая, сокрушенно качал головой: – Не наши у вас взгляды, тетя.

– Да уж не ваши! – соглашалась она охотно.

Почему допускал он в собственном доме подобные разговоры? Почему иногда начинал даже оправдываться?

– Вы же знаете, тетя, что я туда попал случайно, – говорил он, но тетка не верила.

– Случайно туда знаешь как попадают: вот так! – И тетка красноречиво делала «руки назад».

Сзади хрустнула ветка. Лейтенант вздрогнул и оглянулся. Ему показалось, что чья-то тень мелькнула и пропала за углом дома, мимо которого он прошел.

Филиппов двинулся дальше. На ходу расстегнул кобуру, вынул и переложил в карман револьвер. Впереди чернел крупный предмет. Приблизившись, лейтенант определил, что это какой-то сельскохозяйственный механизм – не то сеялка, не то веялка, – он в этих вещах не разбирался. Во всяком случае, размеры предмета позволяли укрыться за ним. Что лейтенант и сделал. Выглянув через несколько секунд, он увидел: из-за угла дома на тропинку нерешительно вышла темная фигура. Теперь сомнений не было: фигура следила за лейтенантом. Потеряв его, она стала растерянно озираться, а потом, все убыстряя шаги, направилась по тропинке к предмету. Лейтенант вынул из кармана револьвер и тихо щелкнул предохранителем. Сквозь стук собственного сердца услышал он осторожные шаги и прерывистое дыхание.

– Стой! Стрелять буду! – Лейтенант выскочил из-за предмета и приставил револьвер к носу фигуры.

– Ой! – вскрикнула фигура женским голосом и уронила на землю какой-то сверток.

– А, это ты, – сказал он, опуская револьвер. – Чуть было тебя не застрелил. Что нужно?

– Так ведь я насчет Ваньки, – сказала Нюра, поднимая сверток. – Ты говоришь, я ему посторонняя, а я не посторонняя, меня с работы за него прогнали, – сказала она не без гордости.

– С работы не прогоняют, а увольняют, – поправил лейтенант. – А за что?

– Так за то же, что жила с ним, с Иваном, – объяснила Нюра и, не удержавшись, похвастала: – По любви, говорят, жила.

Лейтенант стоял, смотрел на Нюру, ничего не мог понять.

– Что ты городишь? – сказал он. – Кто тебя уволил?

– Любовь Михална, завпочтой.

– И за что?

– За Ваньку. За связь с врагом народа.

– С врагом народа? – удивился Филиппов. – А кто же ей сказал, что Чонкин враг народа? Он просто дезертир.

– Видать, не просто, – возразила Нюра.

– Странно, – сказал Филиппов. – Очень странно. Ты вот что. Завтра к десяти часам приходи, и мы во всем разберемся.

– Завтра? – обрадовалась Нюра. Это был уже совсем не тот разговор. – И передачу можно взять?

– Возьми.

Оставив ошеломленную Нюру, он пошел дальше и стал думать над тем, что же все-таки происходит. Кто разрешал заведующей почтой объявлять врагом народа обыкновенного дезертира? А может быть, она знает что-то такое, чего он не знает?

Дома взволнованная тетя Поля сказала лейтенанту, что его ищут, прибежал посыльный, передал, что приехал подполковник Лужин с каким-то майором, они ждут Филиппова у него в кабинете.

Лужина он застал за своим столом. При свете настольной лампы голова Романа Гавриловича выглядела более уродливой, чем обычно.

Незнакомый майор, сцепив на колене руки, сидел у стены. Оба внимательно смотрели на вошедшего. Потом Лужин встал и медленными шагами приблизился.

– Ну здравствуй, Курт, – сказал он и, подпрыгнув, залепил Филиппову такую оплеуху, от которой тот рухнул на пол.

Уже к вечеру следующего дня бывший лейтенант Филиппов, похудевший и обросший бородой (известно, что у покойников и арестантов борода растет очень быстро), давал нужные показания...

### ***ИЗ ПОКАЗАНИЙ БЫВШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ФИЛИППОВА***

...полностью раскаявшись в совершенных мною преступлениях и желая помочь следствию, чистосердечно признаю, что, будучи штатным агентом германской военной разведки под кличкой Курт, я систематически собирал и передавал адмиралу Канарису лично или через руководителя отдела «Абвер-1» полковника Пиккенброка сведения военного, политического и экономического характера, составляющие военную и государственную тайну СССР.

Действуя в интересах государства, находящегося с Союзом ССР в состоянии войны, всячески стремился к дезорганизации производства, подрыву экономики путем саботажа и иных предательских действий, способствовал распространению панических слухов, искал и поощрял к активной деятельности скрытых врагов советской власти из числа бывших кулаков, подкулачников и замаскировавшихся сторонников так называемой троцкистско-зиновьевской оппозиции, в числе которых оказались и лица, занимавшие ключевые посты в районном руководстве.

Осуществлял прямую связь между германским верховным командованием и ставленником белоэмигрантских кругов так называемым князем Чонкиным-Голицыным, который параллельно со мной вел подрывную работу в деревне Красное.

Узнав, что Чонкину-Голицыну грозит арест, а затем неизбежное разоблачение, я, возглавив группу захвата, обставил дело так, что не мы взяли Чонкина-Голицына, а он нас, при этом ордер с санкцией прокурора был умышленно поврежден.

После того как в поставленную ловушку был захвачен капитан Миляга, деятельность органов на территории Долговского района фактически была полностью парализована, что, в свою очередь, вызвало активизацию сил, направленных против советского строя. Все это привело к тому, что командование Красной Армии было вынуждено, ослабив линию фронта, бросить часть своих сил на подавление так называемой банды Чонкина-Голицына. После разгрома я, предъявив поврежденный, а потому недействительный ордер, изъял преступника у военных властей и впоследствии, временно захватив пост начальника райотдела НКВД, намеренно завел следствие в тупик, чтобы спасти от заслуженного наказания князя Чонкина-Голицына, поскольку германское верховное командование в будущем рассчитывало использовать его в качестве вдохновителя и организатора выступлений против советской власти.

Настоящие показания даны мною добровольно и записаны с моих слов правильно.

### ***СПРАВКА***

Дана настоящая з/к Филиппову Курту в том, что он медосмотр прошел. Вшей, венерических, кожных и инфекционных заболеваний не обнаружено. Противопоказаний к содержанию в общей камере нет.

*Военфельдшер СЕМЕНОВА*



**Часть вторая**

**Побег**

Чонкин спал на полу у дверей, привалившись щекою к параше, когда его растолкали, поставили на ноги. Он потряс головой, пришел в себя и удивился. В камере одновременно толклись человек шесть вертухаев и во главе их сам начальник тюрьмы старший лейтенант Курятников, маленький, коренастый, с бабьим рябым лицом. Все они, в том числе и Курятников, были чем-то как будто взволнованы, смотрели на Чонкина с любопытством, но в то же время и с робостью.

На нарах народ заворочался, кто-то спросил, что происходит.

– Чонкина уводят, – сказал Штык с некоторым удивлением.

– А для чего столько народу?

– А кто его знает?

Тут послышался голос Манюни:

– Раз за одним столько народу прислали, значит, на расстрел.

– Как же на расстрел? – сказал Штык. – Ведь суда-то не было.

– А никакого суда и не нужно, – рассуждал Манюня. – Закон военного времени.

Чонкина от этих слов передернуло, хотя он и не мог представить себе, что вот сейчас прямо его и расстреляют. Да и вертухаи во главе с начальником тюрьмы выглядели совсем обыденно. Начальник тюрьмы лично поднял шинель, отряхнул и, развернув, подал Чонкину, как подают швейцары.

– А сколько время? – спросил Чонкин, тыча и не попадая рукою в рукав.

Ему не ответили. Курятников, отступив назад, осмотрел Чонкина придирчивым оком.

– Конечно, побрить его надо бы, – сказал он озабоченно, – да ладно.

– Слышал, Манюня? – крикнул Штык. – Побрить, говорит, надо. А ты – на расстрел.

– А как же, – отозвался Манюня. – Как же небритого-то расстреливать? Не положено. Если больной, вылечат, если небритый, побреют.

– Молчать! – взвизгнул Курятников. – Еще одно слово услышу и...

Тут из-за параши поднялся профессор Цинубель и, подойдя к Чонкину, протянул руку.

– Прощайте, Чонкин, – сказал он сердечно. – Не робейте. Учитесь выдержке у Ильича. Помните...

Что именно помнить, Чонкин выслушать не успел, его вывели из камеры.

Тесной толпой прошли по коридору, затем через двор, к проходной. Возле тумбочки с наганом на боку стоял дежурный.

– Машина не пришла? – спросил начальник тюрьмы.

– Сломалась, – ответил дежурный.

– Ладно, пойдем так.

Начальник расписался в какой-то лежавшей на тумбочке книге, после чего Чонкина вывели за ворота и повели через площадь. Было темно, холодно, шел мелкий дождь.

– Сколько время? – опять спросил Чонкин, и ему опять не ответили.

Подошли к какой-то глухой двери, позвонили, она распахнулась, и стоявший за нею человек прижался к стенке, пропуская пришедших.

Вскоре очутились в знакомой Чонкину приемной лейтенанта Филиппова.

– Подождите, – сказал Курятников и, робко постучавшись, сунул голову в дверь. – Разрешите ввести?

– Введите, – донесся ответ.

В комнате, которую Чонкин знал как кабинет лейтенанта Филиппова, горела яркая лампочка. Но за столом был не Филиппов, а незнакомый майор в новенькой гимнастерке, перекрещенной сверкающими ремнями. Другой незнакомец, с большой бритой головой и в очках с толстыми стеклами, сидел на стуле у стены. Шинель с меховым воротником (таких шинелей Чонкин прежде не видывал) была расстегнута, руки сцеплены на животе, ноги болтались, не доставая до пола. На соседнем стуле лежала фуражка с высокой тульей и брошенные поверх нее белые перчатки.

Курятников строевым шагом приблизился к бритоголовому, поднес руку к виску и визгливо закричал:

– Товарищ полковник, подследственный Чонкин по вашему приказанию доставлен!

«Ишь ты! – подумал Чонкин. – Полковник!»

– Выйдите и подождите за дверью, – не меняя позы, приказал полковник.

Курятников и конвойные вышли.

Полковник и майор, каждый со своего места, внимательно разглядывали Чонкина, а он стоял посреди комнаты, не зная, куда деть руки.

Вдруг полковник спрыгнул со стула и стал быстро бегать вокруг Чонкина, наклоняясь при этом, как мотоцикл.

– Вы, – мелькая перед глазами, бормотал полковник, – ожидали увидеть не нас, а Курта. Но его нет. Увы. Он чудовищно занят. Он дает показания. Весьма ценные между тем. И вам я тоже. Настоятельно рекомендую. Тем более что нам. Все, все известно.

Он прекратил кружение так же неожиданно, как начал, вернулся к своему стулу, сел и принял прежнюю позу.

Заговорил майор. Он говорил медленно и бесстрастно:

– Ну вот что, милейший. Как вы только что слышали, Курт арестован, дает показания, и нам уже многое известно. Но необходимо кое-что уточнить. Своих противников мы умеем уважать. Вы долго и ловко водили нас за нос, играя роль Иванушки-дурачка. Ну что ж,

играли великолепно, ничего не скажешь, но теперь, как умный человек, вы должны признать, что игра окончена.

– Точно сказано, – одобрил полковник и снова спрыгнул со стула. – Ваша карта бита, князь! – сказал он, как в театре, и откинул в сторону руку.

Чонкин вздрогнул. Он не думал, что его давнишняя кличка может быть известна этим людям.

– Я же говорю, – переглянувшись с полковником, усмехнулся майор, – нам все известно. Так что лучше сразу начистоту.

– Да, сразу начистоту, – приблизился полковник. – Для вашего же блага прошу вас очень. Итак, кто послал вас в деревню Красное?

– В деревню Красное? – переспросил Чонкин.

– Да, да. – Полковник нетерпеливо защелкал зубами. – В деревню Красное кто вас послал?

– Меня? – уточнил Чонкин и ткнул пальцем в грудь.

– Да, вас. Именно вас. В деревню Красное кто?

– Так ведь этот, – сказал Чонкин, надеясь, что полковнику действительно все известно. – Ну, старшина, ну Песков.

– Песков? – недоверчиво повторил полковник. – Старшина? А Антон Иванович что говорил?

– Антон? – переспросил Чонкин. – Иванович?

– Я имею в виду Деникина, – подсказал полковник.

– Дикина? – Чонкин напряг память. – Может, Жикина? Это который на колесиках ездит?

– На чем? На колесиках? – переспросил полковник. – Ах на колесиках?

Он сделал короткий выпад и ткнул Чонкина кулаком в живот. Чонкин открыл рот, пытаясь втянуть в себя воздух, и даже произнес какой-то звук вроде «а-а», но воздух не втягивался. С выпученными глазами Чонкин рухнул на колени, и только после этого воздух толчками стал пробиваться в легкие.

– Ну так что же? – услышал он над собой. – Так кем же вы посланы в деревню Красное? Кем? Кем? – закричал полковник. – Говори, сволочь, или сейчас прострелю башку!

Чонкин поднял глаза. Ствол револьвера, как и на первом допросе, смотрел ему в переносицу. Но на этот раз страха не было.

– Ну! Считаю до трех. Раз! Два!..

Чонкин молчал. Он понял: им чего ни ответь, их не устроит.

– Напрасно вы упорствуете, – донесся до него мягкий голос майора. – Вы же знаете, мы все равно заставим вас говорить. Ответьте нам на один вопрос, и мы отпустим вас в камеру отдыхать. Так все-таки кто же вас заслал в деревню Красное?

– Кому надо, тот знает, – сказал Чонкин, отдуваясь.

Словно кувалдой дали ему в подбородок. Он взлетел, спиной и затылком вцепился в стену и рухнул, широко раскинув ноги в рваных ботинках.

Майор и полковник стояли над ним. По побелевшему его лицу медленно ползла муха.

– Крепкий орешек, – потирая ушибленную руку, задумчиво сказал полковник.

– Да, – согласился майор, – с этим придется потрудиться.

Они не испытывали к этому обмякшему телу ненависти или каких-то других сильных чувств. Как специалисты в своем деле, они просто оценили твердость материала, с которым предстояло работать.

Приглашенному затем Курятникову было приказано поместить заключенного в отдельную камеру, содержать в строжайшей изоляции с целью исключения возможных контактов с кем бы то ни было.

Исполнить это приказание Курятникову было непросто, потому что все три одиночные камеры к тому времени были заняты: в одной помешалась каптерка, в другой Курятников держал собственную корову, третью он же за пятнадцать рублей в месяц сдавал вольнонаемному Тухватуллину с семьей из шести человек. Дело было, конечно, не в пятнадцати рублях, ими начальник тюрьмы мог пожертвовать, но начинался осенне-зимний период, и, в случае выселения его семьи, Тухватуллин имел бы право устроить скандал.

Не найдя иного выхода, Курятников приказал очистить специально для Чонкина большую общую камеру, а ее временных жителей распахать по другим камерам, и без того уже достаточно переполненным. Таким образом, последующие сведения о том, что Чонкин содержался якобы в одиночной камере, следует считать не вполне достоверными, точнее сказать, что в общей камере он был одиночным заключенным.

В тот дождливый месяц у Ревкина было много неприятностей. Полторы недели в районе работала специальная комиссия, которая затем составила секретный доклад «О некоторых недостатках в работе партийной организации Долговского района».

В докладе перечислялись примеры экономического отставания и невыполнения планов по разным отраслям сельского хозяйства и местной промышленности, но особенное внимание обращалось на развал идейно-политической и воспитательной работы среди населения, говорилось о политической близорукости и притуплении бдительности, об атмосфере благодушия и ротозейства, царившей среди руководителей района. В этом докладе опять упоминалась «банда так называемого Чонкина». Фамилии «Голицын» там еще не было. Но сам факт, что так называемому Чонкину и его банде уделялось в докладе не менее четырех страниц, позволяет предположить, что некоторыми новыми данными комиссия уже располагала, хотя, возможно, не имела при этом четких указаний, можно ли считать Чонкина Голицыным.

Так или иначе, комиссия пришла к выводу, что положение сложилось крайне нездоровое, мириться с этим нельзя, и предлагала немедленно покончить с благодушием, головотяпством и ротозейством, повысить бдительность, усилить политико-массовую и воспитательную работу и произвести кадровые изменения в руководстве районом.

Кадровые изменения в первую очередь были произведены Там Где Надо. Лейтенант Филиппов, как известно, был арестован. Правда, уже через несколько дней за подписью Курта была перехвачена новая радиограмма, в которой сообщалось об аресте Филиппова. Эта радиограмма была совсем ни к чему. Она путала всю картину. Блестяще проведенная операция по выявлению, разоблачению и обезвреживанию Курта была отмечена благодарностями и орденами, присвоением новых званий. (При этом подполковник Лужин стал полковником.) Признать, что вместо Курта арестован кто-то другой, значило отменить все эти награды и новые звания... Нет, это было

никак невозможно. Поэтому на перехваченной шифровке наложена была резолюция:

«Это радиоигра. Противник надеется ввести нас в заблуждение. Приказываю: радиogramмы за подписью «Курт» игнорировать, а слежение за эфиром на данном участке прекратить».

На место лейтенанта Филиппова прибыл опытнейший специалист в данной области майор Федот Федотович Фигурин, который с первого дня повел себя весьма странно.

Приступая к выполнению своих обязанностей, Федот Федотович даже и не подумал представиться первому секретарю райкома. Это было что-то невероятное. Обычно таких начальников привозили областной начальник и секретарь обкома, если не первый, то хотя бы второй, и представляли районному партийному руководителю. Более того, новый начальник начинал изучать положение на месте именно с беседы с секретарем райкома. Этот же не только не был кем-то представлен, но и сам не выражал никакого стремления встретиться. Ревкину такое поведение нового начальника показалось до чрезвычайности странным. Но не набиваться же самому на встречу! Ведь не Фигурин, а он, Ревкин, пока что главный человек в районе.

Вот именно, что пока...

В местных кругах распространились слухи, правда довольно глухие, что новый начальник развил бурную деятельность, вызывает к себе самых разных людей, допрашивает и берет с каждого, невзирая на лица, подписку о неразглашении. Несмотря на это, до Ревкина докатилось, что Фигурин уже посетили многие люди, и в их числе Борисов – неоднократно. Стало известно, что побывал у него и ответственный редактор газеты «Большевицкие темпы» Ермолкин. Ни тот, ни другой содержания своих бесед не разглашали, но дошло до Ревкина, что новый начальник интересуется и его, Ревкина, деятельностью тоже. Это было заметно по отношению к Ревкину его подчиненных, которые уже не улыбались ему приветливо, как раньше, и не кидались со всех ног исполнять его приказания.

Однажды утром, просматривая за чаем местную газету, Ревкин нашел в ней на третьей странице подвал, крупно озаглавленный: «Подвиг капитана Миляги». У Ревкина, что называется, помутилось в



глазах. Чай давно остыл, а первый секретарь все еще скользил глазами по строчкам, возвращаясь к началу, потому что никак не мог понять смысл написанного. В очерке рассказывалось о подвигах Тех Кому Надо с самого зарождения нашего государства и до текущих дней, о том, какие это тихие и незаметные герои. Автор очерка выражал сожаление, что о таких героях не всегда можно сказать во всеуслышание. Автор обещал, что когда-нибудь все подвиги незаметных героев станут известны народу, а их имена будут внесены в золотую Книгу почета. А пока такой славой могут пользоваться только герои погибшие, и то не всегда. Одним из таких героев и назвал автор бывшего начальника Долговского Учреждения капитана Милягу. Далее смутно рассказывалось о том, что, как известно, некоторое время тому назад на территории района орудовала банда (чья банда, не указывалось). На ликвидацию банды был брошен оперативный отряд под командованием капитана Миляги. Миляга был коварно захвачен в плен. Его пытали, на его спине вырезали звезду, глотку его заливали расплавленным свинцом, но враги так и не услышали от героя того, чего хотели. «Да здравствует Сталин!» – были последние слова героического капитана. Автор очерка даже и не потрудился объяснить, как можно кричать что-то с глоткой, залитой свинцом.

Ревкин не поверил своим глазам. Он позвал Аглаю.

– Это ж полная ложь! – сказал он ей.

– И к тому же вредная ложь, – согласилась Аглая.

Ревкин позвонил Ермолкину, но того не оказалось ни дома, ни на работе. В тот же день Ревкин собрал бюро райкома. Нашли и привели пытавшегося скрыться Ермолкина, у которого даже щеки тряслись от страха. На бюро Ревкин подверг очерк резкой критике. Он сказал, что такой очерк печатать было никак нельзя, потому что всем известно, как на самом деле погиб капитан Миляга.

– Конечно, – сказал Ревкин, – наша партийная печать должна излагать события в нужном нам свете. Но тебе, Ермолкин, следовало подумать, стоит ли изображать героем изменника родины. Своим очерком ты только дискредитируешь нашу газету и всю нашу печать в целом. Это ж спрости на улице любого колхозника, и каждый скажет тебе, как погиб капитан Миляга. Для чего же ты печатаешь такую ложь? Сам ты это придумал или тебе кто поручил?

Ермолкин стоял, вытянув руки по швам и мелко дрожа. Слышно было, как стучат его зубы. Видя его растерянность, Ревкин решил наступать дальше.

– Я тебя спрашиваю, Ермолкин, – сказал он уже более определенно: – Кто тебе дал задание дискредитировать нашу печать?

– Да я... собственно... – залепетал Ермолкин едва слышно. – Федот Федотович мне сказал... – Тут он прикусил язык и оглянулся на Борисова. Ревкин понял, что Ермолкину и тем, кто стоит за его спиной, пора показать характер.

– Так вот что, любезный, – сказал он, четко выговаривая каждое слово, – никаких Федотов Федотовичей я лично пока не знаю. И газета наша «Большевистские темпы» – орган не Федота Федотовича, а райкома партии, и прошу это крепко зарубить себе на носу. А пока что я отстраняю вас от работы и возбуждаю против вас персональное дело. – Называя Ермолкина на «вы», он как бы переводил его за ту черту, за которой с человеком говорят уже не как с товарищем, а как с врагом.

– Ну и ну! – сказал вдруг Борисов.

– Товарищ Борисов, вы что-то хотели сказать?

– Да, скажу. – Борисов поднялся и заговорил не спеша. – Я тут, Андрей Еремеевич, кое-что недопонял. Я как-то думал, что бюро у нас коллективный орган, а вы товарища Ермолкина вроде как сами отстраняете от работы и сами возбуждаете персональное дело. Так вот мне не очень понятно, зачем мы сюда собрались? Это первое. А второе, чего я недопонял, так это вот вашего отношения к погибшему капитану Миляге. Сейчас, как вы знаете, идет война со смертельным нашим врагом. Ну, я не буду вам говорить, что война очень тяжелая. Когда не только внешние, но и внутренние наши враги сильно активизировались. И не где-нибудь, а в нашем районе. Вы помните, здесь орудовала прямо, можно сказать, у нас на глазах банда Чонкина. И вы не хуже меня знаете, кем оказался этот так называемый Чонкин. И про Курта пресловутого вы тоже, я думаю, слышали. И в этих условиях, когда нашим партийным, можно сказать, долгом является противопоставить подобным бандам наши органы, в этих условиях я не могу понять, для чего первому секретарю райкома партии нужно, чтобы работники органов в глазах населения выглядели предателями и изменниками.

Ревкин хорошо знал Борисова и понимал, что тот никогда не решился бы идти против мнения своего начальства. Если сейчас он это делает, то не иначе как с чьего-то одобрения, Ревкин прекратил прения и в расстроенных чувствах уехал домой. Аглая, не ожидавшая увидеть его в столь раннее время, удивилась:

– Ты что, заболел?

– Нет, – сказал Ревкин и, уйдя к себе в комнату, заперся изнутри.

Приникнув к замочной скважине, Аглая видела, как ее муж, заложив руки за спину, быстрыми шагами ходит из угла в угол по комнате. Время от времени он освобождал руки, чтобы погрозить кулаком кому-то.

– Ничего, – провозглашал он, размахивая кулаком. – Вы не на того напали! Я тоже кусаться умею! Я вам еще покажу!

И опять закладывал руки за спину, и опять быстро-быстро ходил из угла в угол. Вдруг выскочил из комнаты:

– Где машина?

– Ушла в гараж. – Закуривая «Беломор», Аглая нервно ломала спички.

– Звони Мотьке, пусть гонит сюда.

– Да что случилось-то?

– Ничего не случилось. Звони, тебе говорят!

– Если ты позволяешь себе так говорить с женой, – вскипела Аглая, – то сам и звони.

Ревкин остановился и посмотрел на Аглаю. Он посмотрел на нее тем беспощадным взглядом, каким смотрел только на врагов народа.

– Товарищ Ревкина, – сказал он тихо, но отчетливо. – Я тебе не как муж, а как твой партийный руководитель приказываю...

Аглая кинулась к телефону. Моти в гараже не оказалось, сказали, что она в чайной. А в чайной не было телефона. Аглая послала в чайную сына Марата, а сама, куря папиросу, ходила под дверь мужниной комнаты.

Наконец явились Марат с Мотей. Машина стояла у калитки. Аглая постучала кулаком в дверь мужа. Тот выскочил и бегом к машине. Мотя и Аглая за ним. Пока они добежали, Ревкин уже нетерпеливо ерзал на правом сиденье.

– Давай быстро! – прикрикнул он на Мотю.

Нервность его передалась Моте, она долго не могла попасть ключом в замок зажигания. Аглая забежала справа, открыла дверцу.

– Андрей, ты как жене скажи мне, куда ты!

– В обком! – сказал он, вырвав у нее и захлопнув дверцу.

Машина с места рванула и понеслась, плюхаясь в лужи, окатывая брызгами случайных прохожих.

Дорога была длинная. Она убаюкивала. Через полчаса Ревкин сидел уже в своей обычной величественной позе и, поглядывая по сторонам, спокойно взвешивал шансы.

«Вы, Идиот Идиотович, – мысленно обращался Ревкин к далекому Федоту Федотовичу Фигурину, – кажется, немного ошиблись. В погоне за дешевой популярностью вы решили половить рыбку в мутной воде».

Ревкин понимал, что Миляга как таковой вряд ли всерьез интересовал Фигурину, который просто искал предлог для замены руководства района своими людьми. Но Фигурин переоценивал свои силы. Он не знал, что у Ревкина в области есть рука – сам Петр Терентьевич Худобченко, с которым у Ревкина старые связи. В двадцать пятом году вместе учились на рабфаке. И тогда Худобченко дал ему рекомендацию в партию. Вместе проводили коллективизацию...

– Мы еще посмотрим, чья возьмет, – сказал Ревкин вслух.

– Что? – спросила Мотя.

– Ничего, это я сам с собой. Заговариваться начал. – Он улыбнулся. К нему возвращалось не то чтобы хорошее, но обычное деловое настроение. Он даже стал поглядывать по сторонам.

Старуха в лаптях и с мешком на спине тащилась, согнувшись, по обочине в город.

– А ну-ка останови! – приказал Ревкин.

Мотя затормозила. Ревкин откинул дверцу.

– Куда, бабуля, путь держишь?

– В город, милоч, в город, – заулыбалась бабуля доверчиво.

– На базар, что ли?

– Не на базар. Дочке гороху несус. Муж на фронте, а сама с двомя ребятами голодует больно.

– Ну ладно, – сказал Ревкин и закрыл дверцу.

Машина тронулась дальше. Ревкин ехал и думал об оставшейся сзади старухе. «Вот ведь, – думал он, – до чего ж наш народ самоотвержен. У самой небось последнее, а несет дочери в такую даль. Вот что значит наш народ! С таким народом как не победить...»

Он до слез растрогался. Не столько от любви к народу, сколько от своих светлых мыслей. Но подвезти старуху не догадался.

Своего друга Ревкин в обкоме не застал. Только что уехал домой, сказали ему.

Так даже лучше, подумал Ревкин и поехал искать Худобченко дома.

Петр Терентьевич жил недалеко от обкома, в старинном особняке, обнесенном каменным забором и охраняемом специальным нарядом милиции. Оставив машину возле зеленых ворот, Ревкин прошел через проходную. Его здесь знали и пропустили. Не спросил документов и швейцар, дежуривший у парадного входа.

– Они обедают, – сказал швейцар и улыбнулся Ревкину как своему.

– Андрюшка! – услышал Ревкин радостный голос.

Он поднял глаза и увидел жену Худобченко, смазливую и упитанную дамочку, которую официально звали Парасковья Никитовна, а в узком кругу своих – просто Параска. Она стояла на верхней ступени мраморной лестницы.

– Заходи, заходи, – сказала она. – А мы як раз обидать собирались. Скидай свий макинтош и поняй у столовку, там твий дружок сидить, ковьяре у носи.

Подождав, пока Ревкин поднимется, она провела его в помещение, которое называла столовкой. Это был большой зал с узорным паркетом, дорогими люстрами и гардинами. У окон стояли в кадках фикусы и пальмы, на стенах висели охотничьи пейзажи и среди них – портреты Ленина и Сталина. Хозяин дома сидел за огромным столом, предназначенным, очевидно, для больших приемов, потому сам казался маленьким.

– О, кого я вижу! – обрадовался он. – Ну, Параска, теперь никуда не денешься, ставь горилку!

Он вышел из-за стола, пожал Ревкину руку, похлопал его по спине, помял как следует.

– Сидай, друже, сидай, – Худобченко схватил за спинку, поволок по паркету и подтащил к Ревкину ореховый стул. – Вот сыдю тут и думая: это ж надо, какая роскошь! И хто же в ней жил? Буржуи. А теперь сыдю я, Петро Худобченко, хлопец из хлебоборбской семьи. Все

ж таки революция не зря, я думаю, совершилась. – Он хлопнул в ладоши, появилась девушка в переднике и наколке. – Натуся, – обратился к ней Худобченко, – Андрею Еремеевичу прибор принеси. Зараз выпьем, борща рубанем. Настоящего. Не то шо у вас, у кацапов, какие-то щти. Капуста да вода. А тут бураки красные, баклажаны, морква, сметана...

Он стал долго и красочно излагать рецепт приготовления борща, а потом – вареников разных сортов, а потом – галушек, но мы повторять этих рецептов не будем и отправляем желающих к поваренной книге.

Выпили, закусили, и только после этого Ревкин решил поделиться своими неприятностями. Он рассказал, как Фигурин появился в Долгове, как вызывал к себе всех, включая Борисова, как был напечатан в газете очерк о капитане Миляге. Худобченко слушал с сочувствием, а Парасковья Никитовна так та даже всплакнула, она всегда была легка на слезы.

– И вот ты понимаешь, – закончил свой рассказ Ревкин, – они меня обвиняют, что я дискредитирую органы.

– Понимаю. – Худобченко отодвинул недоеденный борщ и закурил. – История, шо и говорить, неприятная. Ну, а для чего ж ты это делал?

– Что делал? – не понял Ревкин.

– Ну это вот... дискредитировал?

– Петр Терентьевич, – сказал Ревкин, – мне сейчас не до шуток.

– Та я ж разве шуткую? Я тебя серьезно спрашиваю: зачем ты это делал?

– Петр Терентьевич, – сказал с обидой Ревкин, – ты, может, меня не так понял. Я тебе говорю, что этот Миляга...

– Та шо мени твой Миляга? – сказал Худобченко. – Меня интересует не Миляга, а Андрюшка Ревкин, то есть ты.

– Так ведь в том-то и дело, что Миляга...

– А я тебе кажу, мени на твоего Милягу наплевать и растереть. – И он действительно плюнул и действительно растер.

Ревкин попробовал зайти с другой стороны:

– Петр Терентьевич, ты меня хорошо знаешь?

– Ну, знаю, – согласился Худобченко, но, как показалось Ревкину, не очень уверенно. – Водку пили, на рыбалку издыли.

– И все?



– А шо еще?

– Но ведь ты же меня знаешь с двадцать пятого года.

– Ну хорошо, признаю, знаю с двадцать пятого года. Но поверхностно.

– Поверхностно? – переспросил Ревкин, надеясь, что он ослышался. Он даже обернулся к Параске, ища сочувствия, но та стыдливо опустила глаза.

– А як же ж. Конечно, поверхностно. Мы хоча и с двадцать пятого года, а если вспомнить, о чем балакалы, ну, не считая, конечно, служебных вопросов, а так, як ото кажут в часы досуга? А ни о чем. Як ото сегодня, про борщ, про горилку, ну, на рыбалке, значит, обсуждали, клюет, не клюет, ну, на мормышку ты меня учил ловить зимой, и это ж все с самого двадцать пятого года и по сей день. А внутрь же я к тебе не залазив, и шо там в тебе творится, не знаю.

– А рекомендацию в партию не ты мне давал?

– Ну, это шантаж! – вырвалось у Парасковьи Никитовны.

– А ты помолчи! – цыкнул на нее Худобченко. – Тут мужеский разговор. Насчет шантажа не знаю, а шо до рекомендации, ну давал. Ну и шо? Я ж тоже человек, могу и ошибиться. Може, Ленин Троцкому давал рекомендацию, откуда я знаю?

– Значит, ты меня уже с Троцким сравниваешь?

– Та не, это я к примеру. Я и сейчас могу сказать, что работник ты был неплохой, деловитый...

– Почему – был? – закричал Ревкин почти в ужасе. – Я еще, кажется, не умер.

– Та ну тебя, – махнул рукой Худобченко. – Ты, я вижу, еще и демагог хороший. Был, не был, я же тебе не про то, а про то, шо если органы в тебе сомневаются, так, может, они тебя лучше знают, у них, может, есть основания.

Ревкин встал. Он хотел уйти молча, но трудно было не высказаться.

– Так, – сказал он горько, – вот ты, оказывается, какой. А я еще считал тебя другом.

Худобченко ничего не ответил. Он сидел, обхватив руками голову, и смотрел в стол.

– А шо друх, – сказала вдруг Параска. – Ты там шо-то натворил со своим Милягой, чи як его, а Петро тепер за тебя должен голову

класты? А то друх, друх. Та як шо б ты був настоящим другом, так ты бы в таком своем положении и порога нашего не переступив. Ты же знаешь, шо Петро хворый, шо вин не один, шо в нього диты...

– Та диты тут ни при чем, – сказал Петро. – И ни при чем, шо хворый. А главное то, шо я коммунист. Дружба, конечно, ничего не скажу, дело святое, но, как коммунист, я партию ставлю на первое место, а дружбу – на второе.

Он слегка откинул голову и возвел глаза к потолку. В описываемые времена не было еще скрытых телеобъективов, не было сверхчувствительных микрофонов. Но Петр Терентьевич не сомневался, что где-то (может быть, в потолке) есть какой-то глаз, который все видит, и есть какое-то ухо, которое все слышит. И этому Уху и этому Глазу Худобченко говорил: посмотри, какой я принципиальный, посмотри, какой я подлец. Нет такой подлости, которой я бы не мог совершить.

– Ну что ж, – сказал Ревкин, поднимаясь, – я вижу, мне здесь делать нечего.

Худобченко ничего не ответил. Он сидел напыжившись, не глядя на Ревкина, и лицо его было красным.

Параска стояла в дверях, скрестив руки на своей пышной груди.

– Ну, я пойду, – сказал Ревкин со смутной надеждой, что его остановят.

Худобченко промолчал, а Параска отступила, освобождая дорогу.

– Я пошел, – еще раз сказал Ревкин.

И опять ему никто не ответил. Он спустился вниз, выхватил из рук швейцара плащ и выскочил наружу.

Худобченко все еще сидел, подперев голову руками. Потом схватил графин, налил себе полный стакан и выпил залпом.

– Ты шо! – сказала Параска с упреком. – Тебе ж нельзя столько.

– А! – махнул рукой Худобченко. – Такого друга потерял, – сказал он и заплакал.

Параска подошла к нему сзади, обвила его жилистую шею своими пухлыми руками.

– Петро, – взволнованно сказала она, – ну шо ж робыты. На войне ж тоже люди гибнут.

– Да, – кивнул он, утирая слезы, – на войне тоже. Эх, Параска! – он привлек ее к себе и усадил на колени. – Давай-ка заспиваем нашу любимую.

Параска подняла голову и, глядя куда-то в угол под потолок, звонким своим голосом затянула:

Ихав казак на войно-оньку,  
Казав: «Прощай, дивчино-оньку!..»

И разомлевший Петро Терентьевич, постукивая в лад рукой по столу, стал подтягивать ей вполголоса:

Прощай, дивчина, черна бровына,  
Йиду в чужу сторононьку.

Чем дальше, тем больше вздувались жилы на шее Параски и тем больше краснело ее лицо и на более высокой и пронзительной ноте брала она следующий куплет песни, и казалось, сейчас сорвется и даст петуха, но не срывалась. А он меланхолично вторил ей своим тихим задумчивым басом. И тому, кто слышал бы их со стороны, могло показаться, что в их песне, вопреки словам и мелодии, есть что-то подпольное, что-то незаконное и что им, закрывшимся в своей скорлупе, враждебен весь мир и они всему миру враждебны.

Дай мне, дивчина, хустыну,  
Я день у поли загы-ыну...  
Темною ночью закрыють очи,  
Та й поховають в могыли...

Ревкин потом говорил Аглае, что он не помнил, как вышел от Худобченко и как очутился в машине. Да и Мотя подтверждала, что всю дорогу Андрей Еремеевич «был как бы не при своих». Всю дорогу он был словно в забытьи, сидел с закрытыми глазами, но иногда вскакивал и вскрикивал:

– Я честный коммунист! Я не позволю!

Но тут же снова впадал в спячку.

Он впадал в спячку, и мерещились ему картины прошлого: большой город, учебное заведение, в котором молодых коммунистов учат руководству хозяйством.

И промеж других ходит простецкий парень в вышитой украинской рубаше. Сам первым подходит к каждому и, протягивая широкую ладонь, представляется:

– Худобченко. По-вашему, Скотинин.

И сам же громко смеется.

Простецкий парень. Звезд с неба не хватал, в теоретических вопросах путался, но практически был весьма сообразителен. И сам над собой подтрунивал, а может, и всерьез говорил:

– Мени уси теории оцей предмет заменяет уполне. – И показывал на свой вислый нос, при помощи которого и в самом деле, казалось, ловко ориентировался в изменчивой ситуации. Нельзя сказать, что его особенно любили, но он был принят во всех компаниях, потому что был незлобив и необидчив, и, когда возникал, например, спор, чья очередь бежать за пол-литром, он кончал этот спор, говоря:

– Та я и сбегаю.

Со всеми он был неизменно ровен, доброжелателен, умел как бы ненароком сказать приятное, помнил дни рождения каждого, всегда был готов к оказанию мелких услуг: одолжить до стипендии трешку или свои большие карманные часы товарищу, идущему на свидание. Ни самолюбие, ни честолюбие, казалось, ему совершенно были не свойственны, в спорах он легко соглашался с доводами оппонента, давая тому почувствовать свое умственное превосходство.

– Когда человек спорит, – говорил он, бывало, Ревкину, – он же не истину хочет доказать, он хочет доказать, шо он умнее тебя. Поэтому я

всегда соглашаюсь. Хочешь быть умнее – будь. Если у тебя есть такая потребность души, шоб плюнуть мени у рожу, плюнь. Я утрусь. Мени это, как говорят у нас, у хохлов, байдуже, то есть все равно.

Был в их учебном заведении только один человек, недоброжелательного отношения к которому Худобченко не скрывал. Это был профессор математики по прозвищу А Скажите Любезный. Но недоброжелательство было ответным – профессор презирал Худобченко за неспособность к освоению своего предмета и грозил не допустить к госэкзаменам.

– А скажите, любезный, – держа Худобченко у доски, измывался профессор, – вот вы, допустим, на волах везете мешок картошки из пункта «а» в пункт «б» со скоростью  $x$  километров в час, а навстречу вам едет всадник со скоростью  $x^2$ . Можете ли вы мне сказать, какую часть пути проедет каждый из вас, если вы встретитесь через четыре часа?

– Ты ж понимаешь, – говорил потом Худобченко Ревкину, – это ж он хочет не шоб я задачу решил, а шоб знал свое место. Волам шоб хвосты крутил. Но он ошибается. В математике он, может, и разобрался, а диалектики еще не усвоил и не может себе представить, шо нам главное – понять не  $x$  и  $x^2$ , а линию партии, ее внутренний смысл. Шо до математики, то нехай ее учат те, у кого башка поздоровше, а мы ими будем руководить.

При этом он толкал Ревкина в живот, подмигивал и громко смеялся.

А Скажите Любезный сдержал свое слово и не допустил Худобченко к госэкзаменам. Но сам же на этом и погорел. Комиссия, разбиравшая жалобу Худобченко, отстранила профессора от преподавания, и вскоре ему пришлось каяться через газету в своем отсталом мировоззрении, в том, что проявлял барское высокомерие по отношению к слушателям из народа и препятствовал обучению пролетарских кадров. Несколько лет спустя, когда профессора арестовали, Худобченко был уже руководящим работником.

– Во, видал, – сказал он Ревкину с усмешкой, – насколько диалектика полезней математики. Нехай он теперь посчитает, сколько нужно времени, шоб добраться из пункта «а» в пункт «б» у стольшинском вагоне.

Параска появилась позже. А до нее была Неточка, на которой Худобченко собирался жениться. Однажды он прибежал к Ревкину чем-то взволнованный.

– Вот шо, друже, у меня несчастье. Неточкиных родителей раскулачили. Я тут заявление набросал, шо осуждаю свою связь с ней. Як думаешь, отдавать заявление или просто Неточку бросить, и все?

Ревкин и сам был не святой, но все-таки тогда удивился.

– Петро, – сказал он, – разве так можно? Ты ж ее любишь.

– Люблю, Ондрийко, люблю, – сказал Худобченко с чувством. – Так люблю, шо даже не знаю, как переживу это все. – На глазах его выступили слезы. – Но я тебе скажу правду: себя я люблю еще больше.

Пропетляв по темным и ухабистым улицам Долгова, Мотя остановила машину возле дома Ревкина. Андрей Еремеевич сидел с закрытыми глазами, должно быть спал.

– Приехали, Андрей Еремеевич, – сказала Мотя.

Ревкин не откликнулся.

– Андрей Еремеевич! – испугалась Мотя и вцепилась в его плечо.

– А? – Он открыл глаза.

– Ох вы меня и напугали, – облегченно вздохнула Мотя. – Приехали, говорю.

– Хорошо, – сказал Ревкин.

Выйдя из машины, он пошел было к калитке, но тут же вернулся, опять взобрался на свое место и сказал:

– Поехали!

– Куда? – удивилась Мотя.

– К Сталину.

Мотя посмотрела на него, сказала «сейчас» и побежала за Аглаей.

Аглая, приложив руку ко лбу Ревкина, сразу все поняла. Вдвоем с Мотей они осторожно вытащили его из кабины.

– Товарищ Сталин у себя? – спросил Андрей Еремеевич.

– У себя, – сурово отозвалась Аглая.

– Доложите ему, что Ревкин прибыл.

Ночью у него был жар и озноб. Аглая ставила ему горчичники и пыталась кутать его, но он раскрывался, буянил и требовал Сталина. Но потом как будто успокоился. Он слышал, как кто-то спросил Аглаю:

– Где у вас моют руки?

Ревкин понимал, что это Сталин, но он боялся, что Аглая захочет присутствовать при разговоре, а он с товарищем Сталиным непременно хотел переговорить с глазу на глаз. Единственный выход был притвориться спящим и подождать, пока Аглая уйдет. Ревкин так и сделал. Он лежал с закрытыми глазами до тех пор, пока не услышал, как скрипнула дверь. Ревкин открыл глаза и увидел Сталина, в белом халате сидящего на кровати у его ног.



– Товарищ Сталин, – приподнято сказал Ревкин, отрывая голову от подушки.

– Лежите, лежите. Самое главное, – обернулся Сталин к вновь возникшей Аглае, – как следует пропотеть. Побольше жидкости – чай, суп, бульон и, по возможности, полный покой.

Маргарита Агаповна, полная женщина с белым лицом, сидела в приемной майора Фигурина, нового начальника Тех Кому Надо. Она сидела у окна, а на подоконнике стояли нанизанные на одну ручку судки с обедом для майора Фигурина, который был мужем Маргариты Агаповны.

– Вы понимаете, Капочка, – говорила Маргарита Агаповна почему-то плачущим голосом, – ведь мой Федоша, он никогда в столовой не ест. Он ужасно боится микробов. Я ему говорю: «Федоша, ты же такой храбрый, ты врагов народа не боишься». А он только улыбнется: «Что ты, Ритуля, сравниваешь. Враги народа, они же крупные, их за километр видно, а эти паразиты такая мелочь, что иного и в микроскоп не рассмотришь как следует». И казалось бы, если уж ты такой осторожный, пожалел бы себя как следует, так нет, не жалеет. Другие люди к работе относятся спустя рукава, лишь бы день до вечера, а Федоша... для него, понимаете, семья на втором месте, а на первом – работа. Работа, работа и ничего, кроме работы. Иной раз ночью проснется, лежит, ворочается, вздыхает. Я спрашиваю: «Федоша, о чем ты думаешь?» – «Да так», – говорит. А я знаю – о работе думает, только о ней. И сына, говорит, делу своему научу. Он ведь, Федоша, знаете какой. Он как на новое место приедет, так сразу какую-нибудь новую организацию разоблачит. Заговор какой-нибудь тут же раскроет. Страшно жить, Капочка, страшно. Вот ходят по улице вроде люди как люди, а ведь у каждого из них что-нибудь на уме. Вы возьмите хотя бы этого князя Голицына. Ведь он же кем притворялся? Простым дезертиром. Федоша говорит, что если, не зная, посмотреть на этого князя, то ни за что не подумаешь. «Но у меня, – говорит, – глаз, Ритуля, лучше всякого рентгена». Потому его и бросают на самые ответственные и опасные участки. Другой бы возразил, а мой Федоша, он ведь такой безотказный...

Тут Маргарита Агаповна достала платок и начала всхлипывать и сморкаться...

Любящие жены иногда наделяют своих мужей добродетелями и достоинствами, которых другие со стороны могут и не заметить. Некоторые люди, жившие в то время, что называется, бок о бок с Федотом Федотовичем Фигуриным и знавшие его довольно близко, утверждают, что ничего в нем такого исключительного не наблюдалось, что был он среднего роста, говорил тихим, немного гнусавым голосом, черные волосы зачесывал на косо́й пробор и смазывал постным маслом, чтобы лоснились.

Ходил всегда в новенькой, как говорится, с иголки, форме, такой чистой, такой отутюженной, словно она не снашивалась и не мялась. Португепя сверкала лаком и нежно поскрипывала. В общем же, был человек как человек. Впрочем, у нас сохранились свидетельства только обыкновенных, средних людей, к суждениям которых следует подходить с большой осторожностью. Средний человек не может отличить гения от простого смертного. Ему кажется, что гений непременно должен отличаться каким-то, может быть, необыкновенным пламенем во взоре или еще чем-нибудь подобным. Но мы-то знаем, что это не так и что гений может выглядеть как самый обыкновенный человек, как мы с вами. Не разглядев в Фигурине гения, многие его не любили, а подчиненные сугубо между собой звали его Идиот Идиотович.

Между тем потом, по прошествии определенного времени, когда майор Фигурин исчез из Долговского района, была найдена тетрадь с собственноручными его записями, содержащими весьма смелые и оригинальные мысли. Вот некоторые из них, взятые наугад:

***ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ***

***ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ, КТО  
ЗАМЕЧЕН В ЧЕМ-НИБУДЬ  
ПОДОЗРИТЕЛЬНОМ***

***НАИБОЛЕЕ ПОДОЗРИТЕЛЕН ТОТ, КТО НИ В  
ЧЕМ ПОДОЗРИТЕЛЬНОМ НЕ ЗАМЕЧЕН***

***КАЖДЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ  
ОБВИНЯЕМЫМ***

***ПОДОЗРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ  
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ АРЕСТА***

***АРЕСТ ОБВИНЯЕМОГО ЯВЛЯЕТСЯ  
ДОСТАТОЧНЫМ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЕГО ВИНЫ***

Нет сомнений, что эти мысли принадлежат весьма незаурядному человеку. Однако у нас нет достаточных доказательств, что они являются плодом раздумий самого майора Фигурина, а не списаны им у кого-то.

В той же тетради отмечена еще одна удивительная по своей свежести для тех времен мысль, но она относится уже не к юридической науке, а к медицине:

***СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НАСТОЛЬКО  
ОБЪЕКТИВНО ХОРОША, ЧТО КАЖДЫЙ,  
КОМУ ОНА НЕ НРАВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ  
ЧАСТИЧНО, ЯВЛЯЕТСЯ СУМАСШЕДШИМ***

Поразительная краткость и ясность, доступная только величайшим умам. В нескольких словах сформулирован краеугольный принцип целого направления в психиатрической науке.

Некоторые скептически настроенные критики и критически настроенные скептики могут указать, что данная формула пригодна лишь для определенного строя, существующего на определенном пространстве в определенное время, но это не так. Замените слова

«советская власть» любыми подходящими для данной местности в данное время, и вы увидите, что формула эта всеобъемлюща и пригодна для всех времен и народов.

Теперь имя майора Фигурина забыто, а идея стала расхожей. В качестве основной и единственной она вошла во многие диссертации, учебники, фундаментальные труды, авторы которых получили ученые звания и ходят в академических шапочках, хотя смысл ими написанного на тысячах страниц майор Фигурин сформулировал раньше и гораздо короче. Если, повторяю, он этого не списал у кого-то другого.

После того как выяснилось высокое происхождение Чонкина, дело его вышло из разряда обыкновенных текущих дел, то есть таких, по которым можно принять любое решение. Оно стало делом особой важности, или, уж если говорить с наибольшей точностью, делом особой государственной важности, и было направлено «наверх», потому что хотя внизу все понимали или по крайней мере догадывались, что надо с этим Чонкиным делать, однако, чтобы не рисковать, ожидали официальных указаний. До получения указаний нижнее начальство проявляло некоторую нерешительность, что нашло отражение в следственных документах и других материалах, связанных с этим делом, где Чонкин именуется и просто Чонкин, и «так называемый Чонкин», а в некоторых случаях даже Белочонкин. Впрочем, уже и в этих документах мелькают иногда двойные фамилии Чонкин-Голицын и Голицын-Чонкин.

Так вот, дело Чонкина было отправлено «наверх» и шло по инстанциям, а тем временем майор Фигурин, пользуясь возникшей паузой, решил немедленно восстановить репутацию органов, пошатнувшуюся в результате неосмотрительной (скажем так) гибели капитана Миляги. С этой целью майор не только добился помещения в газете очерка о подвиге покойного капитана, но решил провести и другое важнейшее политическое мероприятие – захоронить останки героя публично и с подобающими почестями.

Однако при осуществлении этой операции возникло несколько необычное затруднение.

Похороны от других торжественных церемоний отличаются тем, что в них участвует хотя бы один покойник. А тут вся загвоздка состояла в том, что как раз покойника-то и не было. Было известно только, что капитан погиб под деревней Красное, но где в точности и вообще зарыт ли он в землю или валяется просто так, никто толком не знал.

Для обнаружения останков героя майор направил поисковую группу из шести человек во главе с сержантом Свинцовым, которому было приказано провести операцию в глубокой тайне, не привлекая внимания местного населения.

Дело было к вечеру. Плечевой возвращался из Долгова, куда ходил по каким-то своим делам, когда увидел странную картину. Какие-то люди бродили по полю, словно чего-то искали. Они то расходились в разные стороны, то сходились в кучу и что-то обсуждали и опять расходились. Движимый любопытством, Плечевой направился к ним. Люди, бродившие по полю, заметив Плечевого, повели себя еще более странно – построились в колонну по одному и стали отступать к лесу. Плечевой нагнал их возле самой опушки.

– Здорово, мужики, – сказал Плечевой громко.

Те продолжали идти не отвечая.

– Эй! – Плечевой тронул крайнего за рукав. – Прикурить не найдется?

– Нет, – буркнул тот и повернул к Плечевому злое лицо.

– Ого! – удивился Плечевой, узнав Свинцова. – А я думаю, кто бы это мог быть. Ловите, что ль, кого?

Свинцов не ответил, но остановился. Остановилась и вся его компания. Рассредоточились и стали обступать Плечевого.

– Вы чего это, ребята, чего? – испугался Плечевой, пятясь назад. – Я ж так просто, я ж ничего, – бормотал он, внимательно следя за Свинцовым, который, отвернув полу плаща, сунул руку в карман и теперь медленно тащил ее обратно.

Свинцов резко дернул рукой. Плечевой вздрогнул.

– На, прикури, – сказал Свинцов, протягивая спички.

– Ух, напужал! – признался Плечевой. – Да у меня-то ведь и табачку тоже нет.

Свинцов переглянулся со своими, усмехнулся, достал мятую пачку «Звездочки», вытащил корявыми пальцами две папиросы, одну протянул Плечевому:

– Кури.

Задымили. Свинцов, прикрывая ладонью папиросу, пыхтел, поглядывая на Плечевого, как бы колеблясь, спросить или не спросить. Наконец решился.

– Ты это вот что... – сказал он вроде просто из любопытства. – Упокойника тут какого не встречал часом?

– Упокойника? – не очень удивившись, переспросил Плечевой. – Да не, вроде как не встречал. А что, убег?

– Кто?

– Ну этот же, упокойник.

Свинцов посмотрел на него прищурясь.

– Ты что дурочку городишь? Как же упокойник может убежать?

– Ну я и сам думаю своей головой, что не может. Наших-то упокойников мы обыкновенно в землю кладем, они не бегают. А этот... ты ж сам говоришь, не встречал ли?

Свинцов задумался.

– Ты это вот что... – начал он неуверенно с той же фразы. – У меня к тебе одно дело есть. Но если кому проболтаешься... – Он поднес к носу Плечевого кулак.

– Да ты что! – решительно возразил Плечевой, отстраняя кулак. – Чтоб я кому сказал! Могила!

– Ну, гляди. – Приблизив лицо к Плечевому, Свинцов понизил голос: – Помнишь, у нас капитан был?

– Ну?

– Его ищем.

– Воскрес? – просто спросил Плечевой, опять-таки не удивляясь.

– При чем тут воскрес? – поморщился Свинцов. – Тело его ищем. Где-то он здесь захоронен. Не видал?

– Тела не видал, – сказал Плечевой. – А кости попадались. За тем бугром, возле деревни пашня. За пашней канава, и там, в канаве, кости.

– Человецкие? – оживился Свинцов.

– Какие, врать не буду, не знаю, но есть. Там, значит, как на бугор подымешься, да, там пашня. Правда, там сейчас, пожалуй, размокло. Да, однако, обратно же, не потопнешь. Вспахано-то неглыбко, я сам под зябь пахал, да. В прежние-то времена, конечно, пахали поглыбже, поскольку земля своя. Теперича все колхозное. Теперича хочь так паши, хочь эдак, плата одна – вот. – Плечевой скрутил и показал Свинцову огромную дулю с далеко выдвинутым большим пальцем.

– Что, колхозная система не ндравится? – бдительно спохватился Свинцов.

– Политики касаться не будем, – уклонился от прямого ответа Плечевой. – А что до костей, так они как раз у той канавы и лежат,



чистые, гладкие, воронами обклеванные, прямо хоть щас в музей. Вам небось для музея?

– Чего – для музея?

– Да кости же.

– Да они нам вовсе и не нужны. – Вспомнив о секретности полученного задания, Свинцов решил напустить туману.

– А для чего ж спрашивал? – удивился Плечевой.

– А так просто, из интересу. А ежели ты кому скажешь, что костями интересовались, башку снесем, понял?

– Чего ж тут не понять, дело простое, – подтвердил Плечевой.

Плечевого отпустили, но брать кости сразу не решились – были слишком близко к деревне. Решили дождаться в лесу темноты.

– Капитолина, я вас прошу сегодня задержаться, – сказал майор Фигурин своей секретарше. – Очень много дел. Нужно подготовиться к завтрашнему дню. Я сейчас ненадолго уйду, а вы побудьте. Если позвонят из области, я – в клубе. Когда вернется Свинцов, пусть меня подождет.

– Хорошо, – сказала Капа.

В Доме культуры железнодорожников шли последние приготовления к торжественной церемонии. На сцене плотник Кузьма обивал красной материей гроб, стоявший на двух табуретках. Его работой руководили секретарь райкома Борисов, предрайисполкома Самодуров и редактор Ермолкин.

В глубине сцены расхаживал какой-то человек с блокнотом. Он размахивал руками, бормотал что-то себе под нос и потом что-то записывал огрызком карандаша.

В углу сцены художник Геннадий Шутейников, наколов на фанеру лист ватмана, заканчивал портрет Афанасия Миляги, который по клеточкам срисовывал с маленькой паспортной фотокарточки. Карточка тоже была наколота на фанеру рядом с ватманом.

– Ну-ка, ну-ка... – Фигурин взгляделся в карточку, затем отошел подальше, чтобы сравнить с нею портрет. – Вы считаете, похож? – спросил он художника, в почтительной позе стоявшего рядом со своим творением. – У меня такое ощущение, что этот портрет напоминает мне кого-то другого.

– Вполне возможно, – сказал художник. – Карточка очень маленькая. А я обычно к праздникам рисую товарища Сталина. И знаете ли, рука сама...

– Что значит сама? – нахмурился Фигурин. – Рукой вот что должно руководить. – И он постучал себя пальцем по лбу. – Так что вы уж немного облик его, пожалуйста, измените.

– Да, но я боюсь, что тогда он совсем не будет на себя похож.

– Это не важно, – сказал Фигурин. – Важно, чтобы он не был похож на того, на кого он сейчас похож. Вы меня поняли?

– Да-да.

– И вообще, вы знаете, я лично не был знаком с капитаном. Но я слышал, он был жизнерадостен, любил улыбаться, вот и сделайте ему улыбку.

– Неудобно как-то, – робко возразил художник. – Все-таки мертвый.

– Да, мертвый. Но в памяти нашей он должен оставаться живым. Вы меня понимаете, живым, – повторил Фигурин и улыбнулся печально.

Он отошел от портрета, и тут путь его преградил человек с блокнотом. Фигурин посмотрел на него вопросительно.

– Серафим Бутылко, – представился человек. – Стихи пишу, печатаюсь в местной газете, вон у Евгения Борисовича. – Поэт показал на Ермолкина, суетившегося вокруг гроба.

– Очень приятно, – сказал Фигурин. – И что же?

– Я, тык-скыть, хотел бы вас познакомить... кое-что создал к завтрашней, тык-скыть, церемонии.

– Что значит «тык-скыть»? – поинтересовался Фигурин.

– Ну это я, тык-скыть... то есть в смысле «так сказать» говорю, – объяснил Бутылко, несколько смутившись.

– А, понятно. Если я вас правильно понял, вы сочинили стихи, которые хотели бы прочесть завтра.

– Да, над телом, тык-скыть, усопшего.

– Ну, насчет тела я не знаю. Над гробом точнее. А сейчас хотите прочесть мне?

– Точно, – согласился Бутылко. – Хотелось бы, тык-скыть, узнать мнение.

– Ну что ж, – согласился Фигурин. – Если не очень длинно...

– Совсем коротко, – заверил Бутылко.

Он отступил на два шага и стал в позу.

– Романтик, чекист, коммунист, – объявил он, и все суетившиеся вокруг гроба обернулись. Только художник Шутейников продолжал заниматься своим делом.

Держа в левой руке блокнот и размахивая кулаком правой, Бутылко завыл:

Стелился туман над оврагом,  
Был воздух прозрачен и чист.

Шел в бой Афанасий Миляга,  
Романтик, чекист, коммунист.  
Сражаться ты шел за свободу,  
Покинув родимый свой кров,  
Как сын трудового народа,  
Ты бил беспощадно врагов.  
Был взгляд твой орлиный хрустален...  
Вдруг пуля чужая – ба-бах!  
И возглас «Да здравствует Сталин!»  
Застыл на холодных губах.  
Ты стал недопетою песней  
И ярким примером другим.  
Ты слышишь, сам Феликс железный  
Склонился над гробом твоим.

Читая последние строки, Серафим заплакал.

– Ну что ж, – сказал Фигурин, – по-моему, ничего антисоветского нет. И вообще, – он сделал неопределенные движения руками, – кажется, неплохо. А вы как считаете? – обернулся он к Борису.

– Хорошее стихотворение, – сказал Борисов. – С наших позиций.

– Там, правда, в начале неувязочка, – вмешался Ермолкин. – Стелился туман и в то же время воздух был как?

– Прозрачен и чист, – заглянув в блокнот, сказал Бутылко.

– Так здесь как-то не того. Туман – и одновременно прозрачен и чист.

– Так это ж над оврагом туман. А в остальных местах он прозрачен и, тык-скыть, чист.

– Да, так может быть, – авторитетно сказал Фигурин. – Овраг внизу, там туман, а чуть повыше... Но мне лично как раз концовка кажется не совсем. Железный Феликс – это хорошо, образно, но желательно как-нибудь... ну, я бы сказал, пооптимистичнее.

– Побольше, тык-скыть, мажора? – спросил Бутылко.

– Вот именно, мажора побольше, – обрадовался Фигурин подходящему слову. – Ну там, конечно, в начале и еще больше в середине, когда вы пишете, что погиб герой, грусть нужна, не без этого. Но в то же время нужно, чтобы в целом стихотворение не

наводило уныния, а звало в бой, к новым победам. Ну, можно как-нибудь так сказать, что он сам погиб, но своим подвигом вдохновил других, и на его место встанут тысячи новых бойцов.

– Очень хорошо! – с чувством сказал Бутылко, записывая. – Можно, тык-скыть, как-нибудь вот в таком духе:

Погиб Афанасий Миляга,  
Но та-та в каком-то бою.  
Я тоже когда-нибудь лягу  
За Родину, тык-скыть, свою.

Так?

– Вот-вот, – замахал руками Фигурин. – Как-нибудь в этом духе, но не лягу – у вас в стихотворении уже один лежит, хватит, а как-нибудь отомщу, мол, твоим врагам.

– Принимаю к сведению, – сказал Бутылко.

– Очень ценное замечание, – вставил Борисов.

– Ну ладно. – Фигурин посмотрел на часы. – Мне пора. Напоминаю всем: завтра в двенадцать часов. Нужно, чтобы все было спокойно и организовано. Побольше людей с предприятий. И обязательно слушать, кто что говорит. Если услышите такие разговоры, что Миляга не герой был, а совсем наоборот, таких людей, пожалуйста, это просьба ко всем, берите на заметку и фамилии сообщите кому-нибудь из наших людей или еще лучше лично мне. Вести, значит, будете вы. – Борисов наклонил голову. – Два-три выступления здесь и два-три у могилы. Ну, и вы, значит, стихи прочтете. Но, повторяю, побольше оптимизма, так, чтобы, понимаете, после этого жить, знаете ли, хотелось, бороться. Извините, товарищи, тороплюсь.

Фигурин вышел из клуба, но направился не Туда Куда Надо, а к Дому колхозника. Он шел по темной Поперечно-Почтамтской улице. Моросил дождь. Время от времени майор утирал ладонью лицо. Настроение было хорошее. Все шло по плану. В голове вертелись строчки стихов:

Но та-та в каком-то бою  
Я тоже когда-нибудь лягу  
За Родину, тык-скыть, свою.

«Талант, – думал Фигурин о Серафиме, – настоящий талант. Хотя что значит «Феликс железный склонился над гробом»? Железный и склонился. А правильно, что он склоняется? Может, он всегда должен быть прямым, как стрела?»

Войдя в Дом колхозника, он справился у старухи дежурной, вязавшей за перегородкой носок, есть ли кто-нибудь в седьмом номере. Старушка покосилась на доску с ключами и сказала:

– Есть.

Поднявшись на второй этаж и подойдя к седьмому номеру, он услышал внутри какой-то шум и приник ухом к двери.

– Ну что, – услышал он звонкий голос, – будем играть в молчанку? Не выйдет! Если я захочу, у меня рыба заговорит!

Фигурин, подогнув колени, склонился к замочной скважине и увидел картину, поразившую даже его. На стуле спиной к столу сидела полная женщина в зеленом платье, с ярко покрашенными губами. Руки ее были заложены назад. Перед ней стоял подросток в белой рубашке. В руках он держал керосиновую лампу, которую подносил к лицу женщины.

– Гражданин следователь, – взмолилась женщина, – я вам правду говорю, я ничего не знаю.

– Вранье! – беспощадно отрезал мальчик.

Он передвинулся, встал спиной к замочной скважине и заслонил собой женщину. Понимая, что терять нельзя ни минуты, Фигурин

открыл дверь ногой.

При его появлении мальчик вздрогнул, отпрянул от женщины и стоял, растерянно держа в руках лампу. Женщина тоже была смущена.

– Что здесь происходит? – строго спросил Федот Федотович, переводя взгляд с женщины на мальчика и обратно.

– Вы майор Фигурин? – спросила женщина.

– Да, – сказал он не без гордости, – я майор Фигурин.

– Клавдия Воробьева, – представилась женщина, поднимаясь. – Полковником Лужиным направлена в ваше распоряжение.

Руки она по-прежнему держала сзади.

– А этот мальчик? – спросил Фигурин.

– Мой сын Тимоша, – сказала Клавдия.

– Сын? – удивился Фигурин. – Странные у вас отношения с вашим сыном.

– Вы все слышали? – Она улыбнулась.

– Не только слышал, но и видел.

– Это мы играли.

– Играли? – поднял брови Фигурин.

– Мы так часто играем, – сказала Клавдия. – Ну что ты стоишь? – закричала она на сына. – Развяжи!

Сын поставил лампу на стол и снял с рук матери косынку, свернутую жгутом.

– Фу! Даже руки затекли. – Она помахала кистями. – Дело в том, – улыбаясь, объяснила она Фигурину, – что Роман Гаврилович обещал устроить Тимошу в специальную школу, ну и я его немножко пока подготавливаю.

– А-а, – понял Фигурин. – Интересная система воспитания. Я своего сына тоже готовлю, но пока что не так наглядно. Молодец! – Он похлопал мальчика по плечу. – Комсомолец?

– Пионер, – сказал мальчик, потупясь.

– Молодец! – повторил Фигурин. – Далек ли пойдешь. А в школе-то хорошо учишься?

– В школе неважно, – сказала мать, и глаза ее стали печальны. – Особенно по арифметике и по русскому. Ну никак они ему не даются. Да и то сказать, без отца растет. Был бы папка, когда бы ремнем выдрал, когда так поговорил, а меня же он не боится. Ишь, паразит

какой! – неожиданно возбудилась она. – Я вот тебе покажу! Будешь плохо учиться, Роман Гаврилович тебя никуда не возьмет.

– Да уж, брат, – подтвердил Фигурин. – Учиться нужно обязательно, и только на «хорошо» и «отлично». Если уж хочешь в органах работать, знать должен много. Математику, историю, психологию, например. А как же! Вот, я вижу, ты допрос ведешь. Лампу под нос и – давай, говори! Кричишь, ногами топаешь. Разве ж это годится? А ты попробуй без грубостей, в душу подследственному попробуй проникнуть, чтобы он сам осознал глубину своего падения и искренне раскаялся.

– Ну да, искренне, – не поверил мальчик. – Враги народа, они знаете какие упорные.

– Всекие есть, – сказал Фигурин. – Есть и упорные. Есть такие, которые от твоей лампы еще упорнее станут. Поэтому, когда имеешь дело с человеком, важно уметь подействовать на его самолюбие, использовать его любовь к семье, к водке, к женщинам. Женщин любишь?

– Что вы, – сказала Клавдия. – Он еще маленький.

– Ах да, забыл. Но я, собственно говоря, к вам не за этим. Вам Роман Гаврилович объяснил ваше задание?

– Да, – сказала Клавдия. – Значит, завтра на похоронах я буду как вроде вдова капитана Миляги.

– Да-да, – сказал Фигурин. – Похороны очень важные. Им придается большое политическое значение. Надо, чтобы люди видели, какой замечательный человек погиб от рук белочонкинской банды. И одно дело, знаете, когда просто хоронят какого-то военного. Ну, погиб и погиб, сегодня на фронте много людей гибнет. И другое дело, когда гроб стоит, а над гробом жена, ребенок. – Он погладил Тимошу по голове. – Тогда, знаете ли, это производит гораздо более сильное впечатление. Мы, значит, завтра поставим вам табуреточку у изголовья. У вас платье черное есть? Нет? Достанем. Ну, и так особенно рыдать, конечно, не нужно, но хорошо бы, чтобы глаза все-таки были заплаканы. Может, в платочек луку крошить?

– Зачем? – сказала Клавдия. – Я и так плакать умею. Я когда в самодеятельности играла, то, бывало, всегда плакала, даже наш режиссер удивлялся. Вот смотрите. – Она напряглась, покраснела, и вдруг из глаз ее действительно потекли слезы.



– Прекрасно! – сказал Фигурин. – Очень натурально.

– А я плакать не умею, – сказал мальчик.

– А тебе и не нужно. Ты же у нас мужчина. Ты только должен стоять рядом с матерью и утешать ее так, как будто в гробу лежит твой отец.

Когда стемнело, Свинцов собрал свою группу на опушке. Было тихо. Накрапывал дождь, и казалось, что кто-то ходит вокруг и продирается сквозь кусты. Темные фигуры в намокших фуфайках стояли перед Свинцовым, он пересчитал их на ощупь.

– Ну, пошли, – вполголоса приказал он и сам двинулся первым.

Шли напрямик по сжатому полю, и ноги вязли в глинистой почве. Время от времени Свинцов оглядывался, видел, что остальные идут за ним гуськом, стараясь не отставать.

– Сяржант, – спросил шепотом длинный Худяков, – закурить можно?

– Я тебе закурю, – сказал Свинцов не оборачиваясь.

Он шел, пристально глядя себе под ноги, но не видел ничего, кроме смутно желтевшей стерни. Свинцов забеспокоился, что уже прошли то место, на которое днем указал Плечевой, и думал, не развернуть ли свою команду и не прочесать ли все поле шеренгой, когда под ногой что-то хрустнуло.

– Стой! – сказал Свинцов и нагнулся. Пошарив по земле руками, он вздохнул с облегчением: – Кажись, оно. – И обернулся к своим спутникам. – Все сюды! Собирайте кости и кладите у мешок.

Спутники обступили Свинцова и склонились в кружок над чем-то невидимым.

– Слышь, сяржант, – тихо и с удивлением сказал Худяков, – кости-то как быдто ужасно здоровые.

Свинцов и сам это заметил.

– Не твое дело, – пробормотал он сердито. – Бери какие помельче.

Но мелких оказалось немного, а крупные с трудом отделялись от остальной части скелета.

– Вы это вот что, – сказал Свинцов, – какие крупные, те об колено.

Некоторое время сквозь шум дождя слышалось сопение нескольких здоровых мужиков и сухой хруст ломаемых костей. Наполнив мешок наполовину и взвесив его в руке, Свинцов приказал работу прекратить и добавил к собранному материалу крупный продолговатый череп.

Время близилось к полуночи. Капитолина Горячева дежурила в приемной, ожидая возвращения своего начальника. Все было спокойно. Дважды звонили из области. Первый раз спросили, сколько сосисок осталось на складе. Капа сказала «шестнадцать». Второй раз интересовались, прибыла ли вдова и что слышно относительно клада. Капа ответила, что вдова с сиротой записались в колхоз, а клад пока ищут. Ей сказали: «Когда найдут, сообщите тестю».

Оба разговора были кодированы. В первом случае выясняли, сколько осталось дел, не законченных следствием, во втором – добралась ли до места Клавдия Воробьева и найдены ли останки капитана Миляги. Тесть – Лужин.

Звонил женским голосом какой-то мужчина и сказал, что может дать ценные сведения насчет Курта, но когда Капа спросила фамилию звонившего, он бросил трубку.

Делать было нечего. Капа попила чаю, достала из ящика стола потрепанную книгу рассказов Мопассана и погрузилась в чтение. Зачитавшись, она не слышала, как вошел майор Фигурин, и очнулась только тогда, когда он положил на ее плечо свою костлявую руку. Она смешалась и хотела сунуть книгу обратно в ящик, но майор перехватил ее, посмотрел на обложку, прочел фамилию автора. «Хороший писатель, – сказал он, – правильно изобразил язвы современного ему французского общества, но классовой сущности изображенных им же противоречий до конца не понял ввиду ограниченности собственного мировоззрения, и не смог указать выход из создавшегося положения. А выход этот был только в объединении и консолидации всех прогрессивных сил вокруг рабочего класса – вот до понимания чего Мопассан не дошел».

Обсудив с Капой достоинства и недостатки творчества Мопассана, Фигурин высказал беспокойство по поводу долгого отсутствия группы Свинцова, справился, какие были новости, и ушел к себе в кабинет звонить «тестю».

Капа стала собираться домой, но тут опять появился Фигурин и спросил, не хочет ли она составить ему компанию и выпить с ним по

рюмочке коньяку. Капа смутилась и сказала, что она никогда коньяк не пробовала, но от сведущих людей слышала, что он пахнет клопами.

– Распространенный предрассудок, – возразил майор Фигурин. – Коньяк – один из самых лучших и полезных напитков. Он изготавливается из чистейших виноградных спиртов, в отличие от водки, не содержит сивухи, укрепляет стенки кровеносных сосудов и улучшает работу пищеварительного тракта. У меня, например, благодаря употреблению коньяка всегда очень хороший стул, – сказал майор и улыбнулся интимно.

Может быть, этот пикантный довод показался Капе достаточно убедительным, она перешла в кабинет Федота Федотовича, который достал из сейфа початую бутылку, две маленькие металлические рюмочки и лимон. Подстелив чистый бланк протокола допроса, он нарезал лимон тоненькими кружочками при помощи маленького перочинного ножа, сделанного в виде дамской туфельки, и объяснил, что закусывать коньяк лимоном придумал сам Николай Второй.

События развивались стремительно. Уже после четвертой рюмки Капа сидела на коленях Фигурина, а он, шаря рукой у нее под юбкой, читал, раскачиваясь, стихи любимого поэта:

Не жалею, не зову, не плачу,  
 Все пройдет, как с белых яблонь дым.  
 Увяданья золотом охваченный,  
 Я не буду больше молодым...

- Будешь! – жадно и жарко дышала Капа.
- Разденься! – приказал он, дрожа от нетерпения.
- Как? – Она удивилась. – Совсем?
- Совсем! – сказал он и убежал почему-то за шкаф.

Потрясенная, она торопливо раздевалась посреди комнаты. «Интеллигент», – думала, кидая подвязки на стул. Насколько выгодно отличался майор от покойного капитана Миляги, от этой грязной свиньи, которую теперь Капа вспоминала с отвращением. Ведь это грубое животное никогда даже не поинтересовалось ее телесной красотой. Ведь этот дикарь валил ее на диван, не давая снять даже сапог.

Капа разделась и в ожидании стояла посреди кабинета, чувствуя, как покрывается от холода или от страсти гусиной кожей. Стало даже как-то неловко. А майор все еще пыхтел за перегородкой. Слышно было, как что-то треснуло, и со звоном покатила по полу латунная пуговица.

И вдруг с ликующим воплем:

– А вот и я! – майор, словно кенгуру, вылетел в высоком прыжке из-за шкафа.

– Ах! – в ужасе вскрикнула Капа и закрыла лицо руками.

Майор был совершенно гол и без всяких знаков различия, но на нем поверх дряблого и в меру волосатого тела сверкали лаком перекрещивающиеся ремни портупей, и желтая кобура с торчащей из нее рукоятью нагана хлопала майора по белой ляжке.

– Что это? – ослабшим голосом спросила Капа, отрывая от лица одну руку.

– Это? – смутился и покраснел Федот Федотович. – Это... – Он хотел объяснить.

– Нет-нет, – сказала Капа поспешно. – Я про ремни.

– И я про ремни, – еще пуще смешался майор. – Я всегда... я никогда... и нигде... без оружия... – задыхался он, толкая ее к дивану.

А потом была буря, перед которой бессильно даже перо Мопассана. Скрипели диван и ремни портупей. И плыл потолок, и качалась люстра, и рушились стены, и сквозь грохот обвала слышался отчаянный визг:

– А-а-а-а-а!

Капа только потом догадалась, что это визжала она сама.

Вдруг все стихло, и невидимая труба тонко проиграла отбой.

– Большинству людей непонятен смысл нашей работы, – говорил майор Фигурин, рассеянно водя мизинцем по Капиным кудряшкам. – Они нас боятся, они нас ненавидят, они втихомолку над нами смеются, они перед нами заискивают, но не понимают. А между тем, – он вскочил с дивана и, заложив руки за спину, стал расхаживать по комнате, рассуждая, – смысл в нашей работе есть, и смысл глубочайший.

Капа заползла в угол дивана и села, поджав под себя ноги, прикрываясь ладонями сверху и снизу. А майор, увлеченный своими собственными рассуждениями, казалось, совсем забыл, что для лектора он одет не совсем обычно.

– И не только величайший, но и гуманный смысл. Вот представьте себе, что человек без нас. Без нас он живет, но как? Скучно. Он не знает, куда себя деть, и не знает, кому он нужен. Он ест, пьет, отправляет естественные надобности, ходит на работу, ссорится с женой, но у него все время такое ощущение, что он маленький человек, что никому до него нет дела. И вот приходим мы. И мы говорим человеку: ты окружен врагами. Смотри, кто-то попытался отравить твой колодец, кто-то хочет взорвать поезд, в котором ты собираешься ехать, кто-то хочет украсть твоего ребенка. Мы говорим: смотри в оба, где-то рядом с тобой находится твой враг, он не дремлет. Мы говорим, что это не просто враг, не просто какой-то выживший из ума человеконенавистник, нет, он связан с международным капиталом, за ним стоят могущественнейшие силы. И человеку становится страшно, но в то же время он сам начинает себя уважать. Если на его жизнь постоянно покушаются такие силы, значит, его жизнь представляет собой колоссальную ценность. Он становится бдительным, он смотрит в оба, он всюду видит врагов, шпионов, вредителей и диверсантов, и его уважение к самому себе достигает невероятных размеров. Теперь возьмем какую-нибудь из наших жертв.

Ну, допустим, того же Чонкина. Вот жил-был маленький человек. Ничего от жизни не требовал, кроме куска хлеба, крыши над головой и бабы под боком. Впрочем, ничего плохого не делал. И вдруг оказывается, он дезертир, и не только дезертир, но и князь, а

если князь, то, значит, был связан с какими-то силами, и вот, к своему собственному удивлению, из маленького и пустого существа он вырастает до фигуры международного значения. Он становится центром огромного заговора, им интересуются большие люди, и вы посмотрите, какая с ним происходит метаморфоза. Мы объявили его князем, и в его взгляде, в его осанке, помимо его воли, появляется что-то величественное. И он теперешнего своего положения на свое прежнее положение не променяет. Нет-нет, – убежденно сказал Фигурин и помахал над головой указательным пальцем. – Ну, конечно, в связи с тем, что он князь, ему грозят всякие неприятности, но если бы он оставался тем же Чонкиным, разве неприятности были бы меньшими? Вряд ли. Ну, представьте, он просто Чонкин. Его заберут на фронт и там прихлопнут, как муху. Не знаю, свалит ли его шальная пуля или осколок, завалит ли под обломками какого-нибудь здания или его потопят на переправе. В любом случае конец его будет бесславным и незаметным. А мы делаем его фигурой, делаем его заметной и значительной личностью, мы, кроме того, сами проникаемся к себе уважением, и всем хорошо. И теперь попробуйте сказать этому Чонкину, что в князи его произвели по ошибке, попробуйте даже его освободить, он внешне подчинится, конечно, он вообще привык подчиняться, но внутренне он будет разочарован. Да, – закричал Фигурин, – будет разочарован! Потому что...

Договорить ему не дали. Дверь распахнулась, и на пороге появился Свинцов. Сапоги Свинцова до колен были облеплены глиной, с брезентового плаща стекала вода, за спиной болтался намокший мешок.

– Ага, – сказал майор, – наконец-то явился.

Он сунул руку туда, где должен был быть карманчик для часов, рука скользнула по голому телу. Фигурин опустил глаза вниз, потом посмотрел на Капу, которая с выражением ужаса на лице сжалась в углу дивана, перевел взгляд на тупое лицо Свинцова и вдруг, осознав все, заорал не своим голосом:

– Кто разрешил входить без стука? Вон отсюда!

Он с разбегу ткнул Свинцова головой в живот. И огромный Свинцов, вышибя дверь, вылетел в приемную и, взмахнув руками, рухнул, причем голова его оказалась под столом Капы.

Майор тут же прикрыл дверь и закричал на Капу:



– Немедленно оденьтесь! Почему вы не по форме? Тьфу, что я мелю!

Он сам убежал за шкаф и стал торопливо приводить себя в порядок.

Свинцов очнулся оттого, что Капа лила на него воду из графина, а майор бил по щекам. Оба были одеты.

– Ну-ну, Свинцов, – говорил майор почти ласково. – Признаю, я погорячился. Мы с Капитолиной Григорьевной работали, было жарко, ну, немного разделись, а вы без стука... Вставайте же, Свинцов, по моему, все в порядке.

Свинцов со стоном приподнялся и теперь сидел, вытянув ноги и прислонясь спиной к тумбе стола. Он отупело и настороженно поглядывал на майора, на Капу, на мешок, валявшийся в стороне.

– Ну как? – спросил майор. – Уже лучше? Я вижу, что уже лучше. Вы добыли то, зачем я вас посылал?

– Там, – указывая подбородком, хрипло сказал Свинцов. – В мешке.

– Там? – Майор недоверчиво посмотрел на мешок. – Что же там, прямо труп лежит? – Он поежился.

– Не труп, а эти... – сказал Свинцов.

– Останки? – подсказал Фигурин.

– Остатки, – согласился Свинцов. – Кости.

– Ну-ка, ну-ка, – майор склонился над мешком, развязывая шпагат. Вынул кусок кости с загогулиной на конце, посмотрел на нее, посмотрел на Капу, достал еще одну кость, опять посмотрел удивленно, взял мешок за нижние концы и все высыпал на пол. Кости со стуком высыпались и сложились небольшой горкой. Отдельно выпал и откатился в сторону продолговатый череп.

– О, майн готт! – почему-то не по-нашему вскрикнула Капа и закрыла глаза.

Майор поднял череп и стоял, вертя его в руках и ощупывая длинными тонкими пальцами.

– Свинцов, – строго спросил Фигурин, – что это такое?

– Голова, – сказал Свинцов, пожимая плечами. Кажется, он приходил в себя.

– Не голова, а череп, – поправил майор.

– Ну череп, – легко согласился Свинцов. – Что в лоб, что по лбу.

– И вы считаете, что этот череп принадлежит человеку?

– Кто возьмет, тому и принадлежит, – уклончиво ответил Свинцов.

– Сержант Свинцов! – повысил голос Фигурин. – Вы что из себя дурака строите? Вы хотите сказать, что это череп капитана Миляги?

Свинцов постепенно пришел в себя, но все еще морщился, давая понять, что он пришел в себя не окончательно.

– А вы его видали когда? – задал он наводящий вопрос.

– Кого – его?

– Ну, капитана-то.

Майор, переглянувшись с Капой, признался:

– Не видел.

– Вот то-то. А она, Капитолина, видела. И может подтвердить: похож. За остальное не скажу, а улыбка точь-в-точь евонная.

Фигурин опять посмотрел на Капу, она неуверенно пожала плечами.

Майор задумался. Конечно, Свинцова следовало наказать. Но похороны назначены на завтра. Завтра похороны, и, если наказывать Свинцова, где взять подходящие останки? Разве что положить вместо Миляги самого Свинцова.

В начале октября население Красного заметно увеличилось – привезли, или, как, может быть, более правильно выражались местные жители, пригнали эвакуированных из Ленинградской области. Это были жалкие и несчастные люди, в основном старики, старухи и дети, согнанные со своих мест, просидевшие полторы недели в теплушках, дважды, по их словам, попадавшие под бомбежку и затем три дня проводившие под открытым небом на привокзальной площади Долгова в ожидании распределения.

Когда расселяли приезжих по избам, Афродита Гладышева, которой досталась маленькая, сухая, но очень надменного вида бабка с шестилетним внуком, раскричалась на всю деревню, что она никого к себе в дом не пустит, что покойный Кузьма Матвеевич не для того этот дом строил и вкладывал в него душу, чтоб держать в нем кого попало и вшей разводить.

Может, Афродиту никто особо не стал бы и слушать, жильцов могли вселить и принудительно, но старуха, заглянув в избу, вылетела оттуда с вытаращенными глазами и сказала, что в такие антисанитарные условия она и сама не пойдет, тем более что она не одна, а с ребенком, сыном, между прочим, политработника и фронтовика. И еще, глядя на Афродиту, она добавила, что лучше жить в хлеву со свиньями, чем в таком доме. Сильное такое впечатление на старуху произвел, конечно, запах, все еще оставшийся в избе, хотя горшочков, произведших его, давно не было.

Афродита со свойственной ей непоследовательностью взбеленилась еще больше и стала доказывать, что никакого такого запаха в доме нет и, напротив, воздух у нее чист, как в сосновом бору. Спорила она с таким жаром, как будто пыталась завлечь старуху обратно, но та и слушать не стала и спросила председателя, не может ли он подобрать ей что-нибудь другое. Председатель обратился к Нюре, она посмотрела на старуху эту надменную, на внука ее, такого славного белокурого мальчика, и, не раздумывая, сказала:

– Пусть живут.

Старуха и к Нюре вошла с опаской, присматриваясь и принюхиваясь, и поинтересовалась, нет ли клопов.

– Есть маленько, – застенчиво улыбаясь, сказала Нюра. – Без клопов как же?

– Что же, у вас здесь у всех клопы?

– Как же, – сказала Нюра. – Где люди, там и клопы.

Старуха смирилась и стала раскладываться. Багаж ее состоял из двух больших желтых чемоданов с латунными замками и четырех узлов со всевозможным скарбом, включая эмалированный горшок для ребенка.

В виде ли компенсации за клопов или просто так старуха, не спрашивая, заняла горницу и сказала, что спать будет с внуком вдвоем на кровати, на которой Нюра когда-то спала с Чонкиным. Нюра удивилась, но возражать не стала, сказав только, что возьмет себе одну подушку.

– А где же вы будете спать? – спросила старуха.

– Найду где, – улыбнулась Нюра.

Старуха, оценив Нюрину скромность, смягчилась, рассказала, как тяжело они ехали, по ночам без гудков и света, поезд часто останавливался, но никто никогда не знал на сколько, на сутки или на минуты, люди, боясь отстать, нужду справляли на ходу в открытые двери.

Она рассказала, что зовут ее Олимпиада Петровна, а мальчика Вадик, он сын ее дочери, медсестры, а отец Вадика – политрук Ярцев (по совпадению случайностей, какое бывает только в романах и в жизни, это был тот самый Ярцев, под руководством которого еще недавно Чонкин проходил азы политграмоты).

– А вас как зовут? – поинтересовалась старуха.

– А меня Нюрка, – услышала она в ответ.

– Что значит Нюрка? – недовольно переспросила старуха. – Нюрками коз зовут или кошек. Вы мне скажите ваше имя-отчество.

После этого она стала звать Нюру по имени-отчеству – Анной Алексеевной.

Олимпиада Петровна сначала обращалась к Нюре с просьбами одолжить соли, луковицу или что-нибудь из посуды, но скоро почувствовала себя полной хозяйкой.

– Анна Алексеевна, – сказала она однажды, умильно глядя на лежавшего под столом кабана Борьку, – а почему бы вам его не продать? Я бы вам за него сатиновый отрез дала. Не продадите?

– Нет, – сказала Нюра.

– И резать не будете?

– Нет.

– Жаль, – Олимпиада Петровна смотрела на кабана с сочувствием, как смотрят на человека, растратившего зря молодые годы и не достигшего того, к чему был предназначен судьбой.

После этого она стала вести с Борькой планомерную борьбу и возмущалась, как это можно держать животное в доме, где ребенок.

Вадик к Борьке относился иначе, он всегда норовил почесать кабана за ухом, чего старуха, конечно, не разрешала.

О личной жизни Нюры Олимпиада Петровна ничего не спрашивала до тех пор, пока не увидела фотографию Чонкина, приколотую булавкой к стене, над лавкой, где теперь спала Нюра.

– Это ваш муж? – спросила старуха.

– Муж, – сказала Нюра не очень уверенно.

– На фронте?

– Нет, – сказала Нюра, – в тюрьме.

Она сказала это просто, как будто сидеть в тюрьме занятие не менее достойное, чем любое другое. Но старуха такой точки зрения не разделяла.

– В тюрьме? – переспросила она. – И за что же?

– А ни за что, – так же просто сказала Нюра.

Старуха, ничего не ответив, ушла к себе в комнату, но вскоре вернулась.

– Анна Алексеевна, – сказала она с каким-то скрытым вызовом, – а ведь у нас ни за что не сажают.

– Да? – удивилась Нюра. – А у нас сажают.

Среди ночи Нюру разбудил испуганный шепот:

– Анна Алексеевна, Анна Алексеевна!

– А? Что? – Нюра трясла головой, никак не могла проснуться.

– Вы слышите? – Над ней стояло привидение – Олимпиада Петровна в длинной, до полу, ночной рубашке.

– Что? – спросила Нюра.

– Тссс. Слышите? Там кто-то ходит.

– Где?

– Да на улице же.

Полузакрыв глаза, Нюра лежала и слушала. На стене шипели и щелкали ходики: шшш-тук-шшш-тук-шшш-тук.

– Слышите?

– Это часы, – сказала Нюра.

– Да при чем тут часы? – сердилась старуха. – Я вам говорю: там, на улице.

Нюра приподнялась на локте и посмотрела в окно. За окном шел дождь, свистел ветер, ветка облетевшего клена стучала в стекло.

– Это дождь, – сказала Нюра. – Когда дождь, то всегда кажется, будто кто-то ходит.

– Анна Алексеевна, – обиделась старуха, – я еще пока с ума не сошла. Я вам говорю: там кто-то ходит.

Нюра прислушалась.

– Будет вам, – сказала она, успокаивая старуху, – кому это надо в такой дождь ходить?

Все же она встала и, натыкаясь на разные предметы, босая, пошла в сени, добралась до наружной двери, хотела только чуть приоткрыть, но ветер вырвал ее, распахнул настежь, ударил о стену. Нюра выскочила на мокрое крыльцо, поскользнулась, упала на одно колено. Ветер задрал подол рубахи, осыпал дождем. Преодолевая сопротивление стихии, Нюра закрыла дверь, заложила деревянным засовом, по дороге к себе заглянула в хлев. Здесь все было тихо, мирно. Во тьме сонно кудахтали куры, похрюкивал кабан Борька и шумно вздыхала Красавка.

Нюра вернулась в избу. Олимпиада Петровна все еще стояла в своих дверях.

– Ну что? – шепотом спросила она.

– Нет ничего, – сказала Нюра.

Она поправила сбившуюся постель, легла и отвернулась к стене.

Старуха, проворчав что-то, ушла к себе.

Подложив под голову руку, Нюра лежала на боку, судорожно зевала, но сон не шел. Перевернулась на спину, сцепила руки на животе. В последние дни временами казалось ей, она чувствует там, внутри себя, какое-то неясное шевеление, какие-то неотчетливые признаки новой жизни.

Когда-то в какой-то книжке у соседа Гладышева видела она изображение зародыша, страшноватого на вид скрюченного существа с непомерно большой головой.

Теперь она ясно представляла это загадочное существо, свернувшееся в клубочек, она испытывала к нему нежность, она жалела его. И хотя еще ничего, совсем ничего не было заметно, она оберегала это существо от возможных опасностей, она ходила, расправив плечи, а чуть что – инстинктивно заслоняла живот руками, складывая их крест-накрест.

Она лежала, вслушиваясь в себя, смотрела в темный потолок, когда слабый луч света скользнул по нему и пропал и послышалось, будто пробежал кто-то и внятно ругнулся под самым окном. Она вздрогнула и стала думать, было ли это на самом деле или приснилось. По-прежнему громко шуршали и щелкали ходики, и шум, издаваемый ими, путался с шумом дождя и ветра. Вдруг где-то сзади дома заурчал автомобильный мотор. Урчание становилось все громче и громче, потом постепенно стало стихать, видимо, удаляясь.

«Пускай, – думала Нюра, впадая в забытье. – Не нашенское дело, кто там чего».

Утром, выйдя из избы, она не увидела самолета. Жерди забора были раскиданы, на огороде виднелись следы множества сапог, две глубокие колеи тянулись к дороге и здесь терялись среди других следов. Одно только крыло, отбитое когда-то сорокапятимиллиметровым снарядом, наполовину затоптанное в грязь, лежало на краю огорода – видимо, было в спешке забыто.

Тут же бабы, человек пять-шесть, и среди них Плечевой, сбежались обсудить происшествие. Так и сяк гадали, кому бы это понадобилось. Вспомнили про цыгана, который вроде бы приходил приценяться, крутился вокруг самолета, шупал уцелевшие крылья, залезал в кабину, но в конце концов решил, что, если даже эту рухлядь и починить, она не сможет взять на борт больше двух человек, а он хотел поднять в воздух целый табор. Цыган этот явно отпадал. Но кто?

Подошедший к месту событий счетовод Волков (после исчезновения Гладышева самым умным в деревне считался он) высказал мнение, что кража – не иначе как дело рук германской разведки.

– Да на кой он им нужен? – не поверил Плечевой. – Он же весь ломанный, на ем и летать нельзя.

– А им не летать, – сказал Волков, – они его разберут на части и в ЧКБ.

– В чего? – переспросил Плечевой.

– В центральное конструкторское бюро, – разъяснил Волков. – Чиркулем обмерют, чертежи сымут и тыщи таких же построят.

– Да на что им это нужно? – недоумевал Плечевой. – У них и свои не хуже.

– Сравнил! – покачал головой счетовод. – Свои-то дорогие, их много нестроишь. А эти – взял фанеру да клеенку, режь по размеру и клей. А после выберут нужную цель и налетят тучей, как саранча. И против их хоть батарею зениток ставь, ну одного шибанут, ну другого, а всех не собьешь.

– Батарея, это, конечно, да, – согласился Плечевой. – А вот ежели мелкой дробью...

Надо было, однако, как-то реагировать на это дерзкое похищение, и счетовод Волков в отсутствие председателя звонил в районную милицию, просил прислать наряд с ищейкой. Оттуда прислали двух милиционеров с овчаркой Таймыром. Таймыру дали понюхать оставшееся крыло, затем пустили на длинном поводке, он побегал, дважды задрал ногу у забора, потом сел посреди огорода и, подняв вверх умную морду, тоскливо завыл, как будто давал понять, что даже его искусство в данном случае бессильно.

Вечером, когда Нюра стелила себе на лавке, к ней вошла Олимпиада Петровна и, оглядываясь на дверь, сказала, что кража



самолета дело, конечно, не простое и Нюра сама должна заявить о нем  
Куда Надо. Нюра подумала и согласилась не столько из-за самого  
самолета, сколько в надежде пробиться к новому начальнику.

В тот вечер, кажется, ударил первый морозец. Лужи затянуло стеклом. Время от времени принимался идти мелкий снег, но его разносило резким порывистым ветром.

За то время, что Ньюра не была в Долгове, здесь многое изменилось. В первую очередь изменился социальный состав города за счет эвакуации сюда некоторых важных учреждений, и в их числе нескольких научно-исследовательских институтов, двух театров, части московской писательской организации и киностудии документальных фильмов. Резко повысился уровень культурного обслуживания населения. Такой исторический сдвиг характерен для времен, когда недоразвитые народы бывают покорены более цивилизованными нациями.

В связи с поднятием уровня цивилизации и наплывом большого количества людей, хотя и преданных системе, но сильно обовшивевших, в городе был построен новый санпропускник и значительно расширены штаты Тех Кому Надо. В ведение Учреждения было передано примыкавшее к нему здание конторы Заготживсырье. Теперь оба эти здания были обнесены общим забором с зелеными воротами и домиком при нем, представлявшим собой одновременно и проходную, и приемную, где круглосуточно дежурил человек, принимавший устные и письменные заявления граждан.

То есть если вдаваться в подробности, то дежурили, очевидно, несколько человек (не может же один бессменно), но люди, бывавшие Там, утверждали, что дежурные были похожи друг на друга, как близнецы, может быть, они отличались друг от друга группой крови или отпечатками пальцев, может быть, если долго пожить с ними вместе, можно было бы в конце концов увидеть в них и другие различия. Но никто из опрошенных автором свидетелей с ними не жил, никто этих различий и не заметил. Так вот, человек, которого описывают свидетели, носил штатский серый костюм, был средних лет, высокий, коренастый, с приветливым недоверчивым взглядом. Он предложил Ньюре табуретку и записал с ее слов рассказ о совершившейся краже. Когда же Ньюра спросила, нельзя ли ей увидеться с Чонкиным, или передать передачу, или в крайнем случае

хотя бы записку, штатский улыбнулся, развел руками и сказал, что ни то, ни другое, ни третье сейчас совершенно невозможно, потому что в деле Чонкина обнаружилось новые обстоятельства, которые выясняются. Какие обстоятельства, штатский сказать не мог, но пообещал:

– Когда что-нибудь прояснится, мы вас вызовем.

На вопрос Нюры, не может ли она повидать нового начальника, штатский снова развел руками:

– Увы, он сейчас очень занят.

Покинув Учреждение, Нюра направилась в сторону хитрого рынка, где надеялась приобрести пару пусть поношенных, но целых галош производства фабрики «Красный треугольник» или самодельных, склеенных из кусков автомобильной резины.

Выйдя из Учреждения, Нюра заметила одного человека, который стоял перед газетным стендом и, глядя на него как в зеркало, причесывался. Нюра не знала, что, причесываясь, он подает знак еще каким-то людям: «Внимание!» Не представляя себе, что кого-то могут интересовать ее передвижения, Нюра пошла в сторону рынка, и за ней, отставая от нее, перегоняя и не переходя на другую сторону улицы, двинулись шесть здоровых мужиков и две женщины. Проходя мимо Дома культуры железнодорожников, Нюра увидела здесь необычное оживление. Пространство вокруг дома было оцеплено милицией и штатскими с надписями «БСМ»<sup>[6]</sup> на нарукавных повязках. Возле самого Дома культуры толпился народ и стояли в ряд машины – одна грузовая с откинутым задним бортом и два военных автобуса, фары их были закрыты светомаскировочными крышками с узкими прорезями. Боковые борта грузовика были украшены красной материей с черными полосами по краям, а в кузове ближе к кабине стоял жестяной обелиск, сделанный в виде сужающейся кверху четырехгранной пирамиды с красной звездой наверху.

Люди, собравшиеся перед главным входом, прерывистым потоком втекали в открытые двери, а другие вытекали обратно, надевая на выходе шапки. Некоторые из вышедших шли дальше, другие оставались в ожидании выноса, курили и вполголоса переговаривались.

Чуть в стороне ото всех других стояла группа руководителей района в длинных пальто и в дорогих шапках, а среди них кинооператор Марат Кукушкин, который явился со своим аппаратом, чтобы запечатлеть историческую церемонию для потомства, и выделявшийся своим высоким ростом и небрежно расстегнутым пальто детский писатель Алексей Мухин, известный тем, что, когда ему было предложено место во фронтовой газете, он решительно воспротивился и написал Сталину письмо, что его возможная гибель

была бы невосполнимой потерей «для нашей читающей детворы». Говорили, что Сталин на полях письма Мухина написал, что в назидание читающей детворе такого труса следует расстрелять. В тот же день произошла такая история. Мухин выступал перед большой аудиторией во Дворце пионеров. Он стоял на трибуне, читал какую-то свою героическую поэму и отпивал из стаканчика воду, когда его сильно дернули за ноги. Дети решили, что дядя писатель показал им фокус. Только что был на трибуне и вдруг исчез. Они сначала растерялись, потом захлопали. А Мухина в это время два молодца выволокли за кулисы. Отсюда он был доставлен куда-то, где расторопная тройка тут же приговорила его к расстрелу за уклонение от защиты родины. Ночь Мухин провел в камере смертников. Утром его вывели в мощный дворик, и взвод особого назначения вскинул карабины. Командир взвода уже поднял руку, когда во дворик вкатил роскошный лимузин. Из него вышел упитанный важный военный и передал Мухину правительственный пакет, запечатанный сургучом. Когда Мухин плохо управляемыми руками сумел наконец вскрыть этот пакет, он обнаружил в нем маленький листок бумаги, на котором было написано: «Я пошутил. И.Сталин». Все кончилось благополучно. Писатель Мухин и на фронт не попал, и жив остался, и, говорят, историческую записку хранил дома в рамочке под стеклом до конца жизни.

Сейчас Мухин явился сюда, чтобы представлять на похоронах творческую интеллигенцию, и от нечего делать развлекал местных сатрапов фривольными анекдотами о муже, не вовремя вернувшемся из командировки. Слушатели сдержанно улыбались, пытаясь одновременно сохранить на лицах своих выражение государственной озабоченности.

К группе руководителей мягкой походкой подошел майор Фигурин. Он улыбнулся Мухину, тронул за рукав Борисова и спросил, почему нет Ревкина.

– Не пожелал удостоить, – пожав плечами, сказал Борисов.

Из открытых дверей лилась траурная мелодия.

Нюра протиснулась внутрь, и за ней вошли двое незаметных мужчин и две женщины, остальные четверо рассредоточились, занимая ключевые позиции на возможных путях отступления.

В зале были убраны скамейки, толпился народ, чем ближе к сцене, тем гуще. Было тесно, душно, пахло увядшей хвоей, спрятанный в яме военный оркестр тихо играл Шопена.

Продвинувшись немного вперед и по диагонали, Нюра увидела на сцене обтянутый красной материей гроб, у изголовья которого на табуретке сидела безутешная вдова, вся в черном, а рядом с ней рослый мальчик в коротких штанишках, в белой рубашке с красным галстуком. Время от времени вдова утирала слезы платочком и безотрывно смотрела на крышку гроба, словно видела проступающие сквозь нее дорогие черты.

Рослый военный с красно-черной повязкой на рукаве через равные промежутки времени выводил из-за кулис очередную смену почетного караула. Люди, ее составляющие, шли гуськом, высоко поднимая ноги, и застывали каждый на своем месте, словно внезапно пораженные столбняком.

А надо всем этим – над гробом, над вдовой, сиротой и почетным караулом – вознесся огромный портрет, с которого покойный приветливо улыбался всем, пришедшим его проводить.

– Батюшки! – не веря своим глазам, ахнула Нюра. – Как живой!

– Вы таки правы, – шепотом согласился с нею старик в длинном плаще. – Я покойного хорошо знал и могу подтвердить: совсем как живой.

Чем дальше Нюра продвигалась вперед, тем гуще стояла толпа. В конце концов Нюра завязла. Слева от нее стояла старушка в черном платочке, а справа тот самый мужичок, который хлопотал насчет соломы.

Старушка, глядя на сцену, крестилась, плакала и причитала полупшепотом:

– Это ж надо, такая молодая и осталась одна с дитем!

Соломопроситель стоял молча. Он пришел сюда в расчете на то, что в непринужденной и расслабляющей обстановке похорон можно будет как-то неофициально подкатиться со своим вопросом к начальству и получить соответствующую официальную резолюцию, однако судя по выражению его лица, надежды, видимо, оказались напрасными.

– А мальчонка-то, мальчонка, – всхлипывала старушка, – сирота! Как же это он будет без папки-то!

Вдруг музыка смолкла, на сцену один за другим с шапками в руках вышли несколько людей и шеренгой выстроились перед гробом. Они постояли, как бы выжидая, чтобы соответствующая моменту печаль поглубже проникла в души людей.

– Сейчас отпевать будут, – объяснила Нюре старуха в платочке и перекрестилась.

Секретарь Борисов сделал шаг вперед и поднял руку с шапкой, как бы призывая собравшихся к молчанию, хотя все и без того молчали.

– Товарищи, – сказал Борисов, – траурный митинг объявляю открытым.

Затем он сам же и выступил. Он рассказал краткую биографию покойного, который, якобы родившись в простой рабочей семье, с ранних лет познал голод, холод и нужду, характерную для условий того времени, рано начал задумываться над сущностью социальных противоречий и рано вступил в борьбу за свободу и счастье против темных сил реакции.

– Вражеская пуля, – продолжал Борисов, – оборвала эту прекрасную жизнь в самом расцвете. Перестало биться горячее сердце бойца и партийца. Но мы клянемся, что на смерть капитана Миляги ответим еще большим сплочением вокруг нашей партии, вокруг ее великого вождя товарища Сталина.

– Хорошо отпевает, жальливо, – сказала старуха и заплакала.

Прослезилась и Нюра.

Самодуров повторил почти слово в слово то, что сказал Борисов. Мухин сказал, что Миляга, помимо всего прочего, был другом, заботливым товарищем и наставником писателей. Что будто бы все писатели, прежде чем отдавать свои сочинения в печать, шли к Миляге, и его советы всегда оказывались точными, немногословными, но неизменно били в цель. Мухин призвал всех писателей и впредь относиться к советам Тех Кому Надо с должным вниманием.

Серафим Бутылко, слушая Мухина, икал и усмехался. Икал он оттого, что с утра слишком много выпил (для храбрости), а усмехался потому, что слова Мухина казались ему слишком общими и казенными. Бутылко предвкушал, как выйдет он, прочтет свое стихотворение и все удивятся, какой все-таки замечательный талант произрос в этой удаленной от культурных центров местности.



И вот он вышел, помолчал и, размахивая кулаком, завыл:

Стелился туман над оврагом,  
Был воздух прозрачен и чист.  
Шел в бой Афанасий Миляга,  
Романтик, чекист, коммунист.  
Сражаться ты шел за свободу...

Тут Серафим запнулся и, кусая губы, стал смотреть в потолок. Он забыл, что дальше, он понимал, что запинка его ужасна, и от сознания того, что она ужасна, слова стихов совершенно вылетели из хмельной его головы.

– Сражаться ты шел за свободу, – повторил Серафим и оглянулся на Борисова. Тот стоял с каменным лицом.

– Сражаться ты шел за свободу, – еще раз повторил Серафим. Он опять оглянулся на Борисова, но тут из-за кулис показалось лицо Фигурина.

– Покинув родимый свой кров, – громким шепотом подсказал Фигурин.

У Бутылко отлегло от сердца.

Сражаться ты шел за свободу, —

продолжал он уверенно, —

Покинув родимый свой кров,  
Как сын трудового народа...

И тут память его опять отказала. Он в который-то раз оглянулся на Борисова. Тот молчал. Бутылко ждал, не высунется ли Фигурин. Фигурин не высовывался.

Бутылко лихорадочно перебирал возможные варианты. Он думал, что, если бы вспомнить рифму, она помогла бы ему и вытянуть всю строку. И в самом деле, вместе с подходящими на помощь рифмами тут же сами собой складывались новые строки. «И будь бесконечно

здоров», – сочинялось в голове Бутылко. Нет, не то. «Защитник тревожных коров». Опять не то, почему коров? И почему тревожных? «Спаситель задумчивых вдов?»

Борисов, отстранив локтем Серафима, объявил:

– Траурный митинг окончен.

Он дал знак музыкантам, музыканты надули щеки, траурная мелодия вновь растеклась по залу.

Заплакала старушка в черном платочке, заплакала и Нюра. Она плакала сейчас не над Милягой, она не думала, хороший он был или плохой, но гроб, музыка, торжественная печаль обстановки действовали на нее так, что она заплакала просто по ушедшему из этого мира еще одному человеку.

Заплакал и Серафим Бутылко. Как только отошел он от гроба, так сразу же вспомнились ему злополучные строки и вспомнилось все стихотворение, как будто возникло перед ним написанное большими, печатными буквами на огромном экране. Сознание непоправимости удручало Серафима. Если бы можно было все повторить сначала! Если бы опять Борисов предоставил ему слово! Он бы вышел, он бы прочел без запинки. Он бы прочел с выражением. Все бы рыдали. Бутылко вертел головой и, отыскав глазами появившегося из-за кулис Фигурин, приложил руку к груди, всем своим видом показывая, что он не виноват, он не хотел, это так уж получилось. Но Фигурин не принял его молчаливого извинения, нахмурился и отвел взгляд. Вдруг музыка смолкла. Опять вышел Борисов и попросил очистить зал, чтобы дать возможность близким покойного проститься с ним без суеты.

Народ стал выходить. Погода между тем разгулялась, хотя все еще дул холодный ветер, но он же разогнал низко идущие тучи, и солнце прорвалось сквозь расширяющуюся прореху.

Вышли люди, выкатились и шпики, мелькавшие среди них. К каждому подозрительному человеку были приставлены по одному, а то и по два шпики, как защитники в футболе. Те же, кому не достался никто определенно подозрительный, слонялись в толпе, переходя от одной группки к другой, прислушиваясь к разговорам вполголоса, а иной раз и сами разговаривали, вызывая собеседника на откровенность.

Среди высыпавших на улицу оказались и два Мыслителя. Они стояли молча, переглядываясь друг с другом, как бы переговариваясь глазами.

«Ну, что вы на это скажете?» – как бы спрашивал глазами Первый Мыслитель.

«Колоссальный спектакль», – взглядом отвечал Второй.

У них не было разногласий. Оба они помнили слухи, согласно которым капитан Миляга погиб по дурацкой ошибке, и знали, что слухи бывают гораздо правдивее официальных известий (за исключением тех слухов, которые неофициально официальными учреждениями распускаются), и, переглядываясь, пришли к общему выводу, что церемония похорон придумана для того, чтобы отвлечь внимание населения от положения на фронте и нехватки продуктов питания. Они переглядывались между собой, когда к ним подкатил шпик (на лице которого было написано, что он шпик) и спросил, кого хоронят.

Первый Мыслитель не растерялся и быстро ответил, что хоронят народного героя капитана Милягу.

– А что, хороший был человек? – спросил шпик.

– Кристальный, – твердо отвечал Первый Мыслитель.

– Что значит кристальный? – выразил сомнения шпик. – У каждого человека бывают какие-то недостатки.

Тут вмешался Второй Мыслитель и объяснил подошедшему, что недостатки бывают большие, малые, а бывают и вовсе ничтожные.

– Совершенно справедливо, – подтвердил Первый Мыслитель. – А когда у человека с ничтожными недостатками есть и огромные

достоинства, которыми, например, обладал покойный, то тогда недостатки эти и вовсе бывают не видны совершенно.

– Во всяком случае, не нам судить, – поддержал Второй Мыслитель. И тут же добавил, что безвременная гибель капитана Миляги огромная потеря для всех. Он не уточнил, однако, для кого всех. Для всех жителей района, области, Союза или вообще для всего человечества.

– Огромная и невосполнимая потеря, – добавил Первый Мыслитель, сделав печальное лицо и склоняя голову, как бы перед памятью героя.

– Однако я полагаю, я верю, – пошел дальше Второй Мыслитель, – что враги просчитались. Миляга погиб, но на его место встанут новые бойцы.

– Сотни новых, – быстро сказал Первый.

– Тысячи, – поправил Второй.

Шпик тихо отошел, тем самым признав свое поражение.

Широко распахнулись двери, и вышли музыканты: шестеро военных, и среди них одна толстая баба в форме с треугольничками в петлицах. Баба несла барабан и оттого казалась беспредельно беременной. Музыканты встали перед публикой лицом к дверям и приготовились. Возле них крутился кинооператор Марат Кукушкин.

Тем временем в клубе шли последние приготовления к выносу тела. Дважды пробежал по сцене Фигурин, шепотом отдавая кому-то какие-то распоряжения. Затем он выглянул в дверь, убедился, что оркестранты заняли свои места и что Кукушкин тоже готов к работе. Он вернулся на сцену.

– Товарищи, – объявил Фигурин, – приготовились к выносу. Кто понесет?

– Я! Я! – Кинулся со всех ног Бутылко.

Он хотел хоть как-то заглядить свою вину. Он оттеснил нерасторопного Ермолкина и стал перед ним. С одной стороны предрайисполкома Самодуров, с другой он, Бутылко, а за ним обиженно пыхтел ему в спину Ермолкин. Гроб был из сырых досок, тяжелый. Но Бутылко не чувствовал тяжести.

– Так, так, товарищи, – вполголоса командовал Фигурин. – Встаньте ровнее. Этот край чуть выше. Так. Пошли!

Вместе со всеми Серафим двинулся вперед. Распахнулись двери. В уши хлынула музыка, в глаза брызнуло солнце. Слегка прижмурившись, Серафим увидел толпу, увидел сверкающие на солнце инструменты, увидел кинооператора Марата Кукушкина, который, пятясь, крутил ручку своего аппарата.

«Для киножурнала «Новости дня», – догадался Серафим и приосанился. Он представил себе, что фильм вскоре выйдет на всесоюзный экран и зрители во всех уголках страны увидят его, Серафима Бутылко, крупным планом. И может быть... Бутылко слышал, кто-то ему рассказывал, что Сталин лично просматривает все выходящее на экран. Может быть, просматривая очередную ленту и попыхивая своей знаменитой трубкой, он произнесет:

– А кто это такой молодой, симпатичный, который несет... да нет, не этот, я говорю: симпатичный. Вот тот справа? – и укажет

мундштуком на экран.

И тут что начнется! Серафим живо представил себе, как забегают помощники по общим вопросам и по кино, как зазвонят все телефоны правительственной связи, личность молодого симпатичного тут же выяснят, и вот он в мягком вагоне прибывает в Москву. Номер люкс с бассейном и попугаями. Прием в Кремле. Дружеское рукопожатие товарища Сталина. Публикация массовым тиражом поэмы «Дума о хлебе». Сталинская премия, руководящая должность в Союзе писателей и...

Он не успел додумать, что и как... он просто считал: и еще что-то ему полагается, когда нога его ступила в пустоту... Он инстинктивно оттолкнул от себя гроб, чтобы не придавило, и полетел с крыльца, нелепо взмахнув руками.

Шедший с другой стороны Самодуров, почувствовав, что гроб валится на него, с большой силой двинул его обратно, а сам тут же отскочил в сторону. То же сделали и другие. Как-то так получилось, что под гробом оказался один Ермолкин, с вытаращенными от растерянности глазами он стоял на последней ступеньке крыльца, словно былинный богатырь, приняв на себя всю тяжесть гроба. Гроб, покачиваясь на его плече, одновременно поворачивался, словно стрелка компаса, наконец вовсе перекосясь и, сбив с ног Ермолкина, устремился к земле. Отталкивая его, Ермолкин упал очень неудачно, ударился головой о булыжник и, уже теряя сознание, услышал чей-то запоздалый призыв:

– Держи! Держи!

Раздался ужасный треск, гроб торцом врезался в мостовую. Крышка, наживленная на четыре гвоздя, отскочив, накрыла до подбородка Ермолкина, а из гроба со стуком посыпались кости. Последним вылетел, ударился о камни и отскочил в сторону продолговатый череп. Майор Фигурин сделал неосознанное движение к черепу, хотел то ли схватить его, то ли прикрыть от народа, но не успел. Облезлая собака, вынырнув из-под ног, впиалась в череп зубами и кинулись прочь. Может быть, не следовало ей мешать, но чей-то расторопный кованый сапог опустился ей на спину. Жалобно взвизгнув, собака выронила добычу и исчезла.

Говорят, Марат Кукушкин не догадался прекратить съемку и машинально крутил ручку своего аппарата. Говорят, майор Фигурин потом затребовал снятую пленку и много раз ее просматривал. Все, казалось, шло хорошо, можно даже сказать, превосходно. Вот торжественно распахиваются двери. Вот показывается торец гроба. Вот появляются крупным планом лица несущих его Серафима и Самодурова. Пленка немая. Музыки нет. Но чувствуется, что она звучит где-то за кадром. Бутылко и Самодуров осторожно и чинно переставляют ноги. Лицо Бутылко выражает соответствующую моменту скорбь, но в то же время видно, как сквозь скорбь проступает самодовольство, вроде он, сукин сын, заранее знает, что произойдет в следующую секунду, и торжествует злорадно.

Непоправимое всегда кажется невероятным. Вот Бутылко поднимает правую ногу... «Стоп! Стоп!» – кричал в этом месте Фигурин. Он задумчиво смотрел на застывший кадр, словно надеялся, что если в этом месте пленку остановить, а затем пустить снова, то все пойдет как надо. Нога Бутылко опустится на первую ступеньку крыльца, затем другая нога ступит на другую ступеньку... «Давай», – приказывал Фигурин киномеханику, и опять возникала та же картина: неожиданно растерянное лицо Бутылко, а в следующий миг он летит с крыльца, нелепо размахивая руками.



Что было дальше, даже страшно рассказывать.

Народ пришел в ужасное возбуждение и угрожающе надвигался.

– Свят-свят-свят, – бормотала старуха в черном платочке, опять очутившаяся перед Нюрой.

– Лошадь! – скандальным голосом крикнула какая-то женщина. – Лошадь хоронют!

– Лошадь! Лошадь! – прошло по толпе.

Народ шумел. Раздался милицейский свисток. Послышался голос Борисова:

– Товарищи, успокойтесь! При чем здесь лошадь? Вот же покойник! – кричал он, пытаясь предъявить народу Ермолкина.

В это время, как на грех, Ермолкин открыл глаза.

– Живого хоронют! – завопила все та же женщина.

– Что? – пытались понять напивавшие сзади.

– Лошадь хоронют!

– Живую лошадь хоронют!

Шпики рассыпались по толпе и толкались, не имея достаточно ясных инструкций. Народ волновался. Находившийся в общей куче соломопроситель, пользуясь всеобщим возбуждением, решил выдвинуть свои экономические требования:

– Солому!

Ему ответили:

– Заткнись ты, чокнутый!

Майору Фигурину показалось, что кричат: «Свободу Чонкину!» Это впоследствии дало ему основания для просьбы об усилении местного гарнизона.

Волнение масс между тем усиливалось. Желая ввести стихию в нужное русло, Борисов вскочил в похоронный грузовик и величественно поднял правую руку. В это время гнилой помидор (кто-то, щедрый, не пожалел) залепил ему правый глаз. (Потом в донесении Фигурина отмечалось: «Имели место отдельные акты террора против представителей власти».) Борисов почувствовал удар, а когда разлепил глаз, увидел что-то красное.

– Убили! – тихо сказал Борисов и рухнул без памяти головой к обелиску.

Напряжение нарастало. Власти, стремясь овладеть положением, двинули на толпу один из военных автобусов, но он, кажется, тут же заглох.

Дело спас какой-то находчивый шпик. Вскочив на ступеньку автобуса:

– Братцы! – прокричал он. – В раймаге карточки пшеном отоваривают!

Соскочив с подножки, он первым побежал к раймагу. Народ растерялся, ахнул и кинулся за шпиком.

Пшена, конечно, не оказалось. Народ пошумел и утих. А тем временем на площади Павших Борцов появился новый могильный холмик и жестяной обелиск, заставленный искусственными венками. Если раздвинуть венки, можно было прочесть:

***Капитан***

***АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ МИЛЯГА***

***(1903–1941)***

***геройски погиб в бою***

***с белочонкинской бандой***

Говорят, через некоторое время, захватив Долговский район, немцы вскрыли могилу и найденный череп передали местному краеведческому музею, где в отделе «Современный период» он лежал под стеклом. Тут же была и разъясняющая табличка с текстом на двух языках:

*Череп советского комиссара Миляги.*

В общей суматохе одна потеря прошла почти незамеченной...

...Ермолкин лежал уже без сознания, когда крышка гроба, отлетев, упала ему на грудь. Очнувшись, он увидел себя лежащим навзничь на холодном булыжнике, увидел на уровне своего лица множество чьих-то ног, напрягся, но не мог вспомнить, почему он здесь и что было до этого.

Вокруг стоял шум и гам, и какой-то визгливый женский голос выкрикивал:

– Лошадь! Лошадь хоронят!

Что-то давило грудь, он посмотрел и увидел, что на нем, закрывая его почти до подбородка, лежит крышка гроба, обтянутая красной материей. Какой-то человек, указывая на Ермолкина пальцем, говорил: «Вот он, покойник!», а тот же визгливый голос вопил, что хоронят живую лошадь.

Ермолкин не имел ничего против того, чтобы быть похороненным, но он всегда остерегался возможных ошибок.

– Вы заблуждаетесь, – поправил он с достоинством, улыбнувшись, – я не лошадь. Я Ермолкин Борис Евгеньевич.

Может быть, так он сказал, может быть, так подумал, может быть, и не сказал, и не подумал, а просто ему показалось, что он так сказал или так подумал.

Голова его от слабости свернулась набок, он увидел совсем близко что-то белое, что-то продолговатое, кажется, это был череп, да, это был лошадиный череп, он скалил зубы и пытался укусить Ермолкина в нос.

Ему не жаль было своего носа, ему теперь вообще ничего не было жаль, он только хотел понять, почему этот череп лежит рядом с ним. Но тут же вспомнив, что кого-то хоронят, что хоронят скорее всего его самого, он еще раз посмотрел на белый продолговатый предмет и понял, что это его собственный череп. «Значит, правда, я – лошадь», – подумал Ермолкин. Это было странно. Странно и смешно. Он работал ответственным редактором газеты, он занимал важный пост, и никто не заметил, что на самом деле он был просто лошадью, всего лишь лошадью, обыкновенной тягловой единицей конского поголовья.

Облезлая собака, появившись перед глазами, оскалилась и кинулась, рыча, на его отдельно лежащий череп. Она впиалась в череп зубами, Ермолкин понял, что сейчас ему будет очень и очень больно, он закрыл глаза, и сознание его опять помрачилось.

Снова очнувшись, он увидел склонившегося над ним старика в облезлом танкистском шлеме.

– Молодой человек, – сказал старик. – Я бы на вашем месте здесь не лежал. Вы можете простудиться, попасть под машину или под лошадь.

Ему и раньше приходилось встречать этого отважного пожилого танкиста, но он не мог вспомнить, где и когда. Кажется, это было давно. А недавно тут бегали какие-то люди, кричали, суетились, хоронили кого-то, то ли его, то ли какую-то лошадь, да, точно, лошадь, но лошадью этой был именно он. Танкист тоже сказал что-то про лошадь.

«Но, – подумал он вяло, – если я лошадь и если меня похоронили, то почему у меня болит грудь, болит голова, почему я хочу пить и почему вижу перед собой этого танкиста?»

Он догадался, что похоронщики просто ошиблись, похоронили редактора вместо лошади, а лошадь или, точнее, мерин (кто-то, припомнил он, называл его мерином) случайно остался жив. И хотя у него все болело, он почувствовал радость, он понял, что ошибки бывают приятные, он думал, что лучше быть живым мерином, чем мертвым ответственным редактором.

Чего, однако, хочет этот танкист? Что он сказал про лошадь? Должно быть, его прислали, чтобы исправить ошибку...

Ермолкин решил притвориться человеком. Советским человеком и другом советских танкистов.

– Но если вдруг, – пропел он, улыбаясь танкисту, – нагрянет враг матерый, он будет бит повсюду и везде...

В поле зрения рядом с танкистом появилась старуха.

– Мойша, – сказала она, – оставь ты его в покое. Ты же видишь, он таки порядочно пьяный.

«Очень хорошо, – подумал Ермолкин. – Пусть думают, что я пьяный. Лошади пьяными не бывают». Он приподнялся на локте и еле слышно, но с чувством продолжил песню:

Тогда нажмут водители стартеры,  
И по лесам, по сопкам, по воде...

– Я вижу, что он пьяный, – сказал танкист, – но я боюсь, что он простудится и получит воспаление легких.

– Мойша, – сердито возразила старуха, – ты же хорошо знаешь, эти люди, когда напьются, лежат и в лужах, и в канавах, и где угодно, они привыкли, и у них никогда не бывает воспалений легких.

Главное было достигнуто: эти люди считали его человеком. Теперь важно было, чтобы они поскорее ушли. Ермолкин закрыл глаза и притворился спящим. Когда он открыл глаза, рядом с ним никого не было. Он поднялся с большим трудом, во всем теле была ужасная слабость, ноги дрожали и разъезжались, как у малого жеребенка. И ему подумалось, что, может быть, он и в самом деле не мерин, а всего-навсего жеребенок, может быть, ему три с половиной года, его могут обидеть, могут зарезать, ему надо найти свою мать, она его прикроет, она его защитит.

Он куда-то пошел, идти было трудно, болела грудь, болела голова, очень хотелось пить.

У какого-то забора он увидел верховую лошадь, белую, красивую, с добрыми человеческими глазами. Привязанная к столбу, она стояла спокойно, но, увидев Ермолкина, повернула к нему морду и, раздувая ноздри, заржала. «Это моя мать!» – догадался Ермолкин.

– Мама! – сказал он и, встав на колени, прильнул к ее вымени. – Мама! – Повторил он и, втянув в себя один из ее шершавых сосков, зачмокал вытянутыми в трубочку губами.

Почувствовав знакомое ощущение в области вымени, лошадь повернула голову, ожидая увидеть, быть может, своего жеребенка, но увидела двуногое существо, какое-то странное, грязное и больное. Лошадь подняла заднюю ногу, брезгливо махнула ею, и копыто ударило Ермолкина прямо в темя.

– Мама! – заплетающимся языком пробормотал Ермолкин, лег на землю и тут же окончательно умер.

В то утро Второй Мыслитель занемог. (В критические моменты истории, в периоды обострения внутривидовой борьбы, перед ответственными собраниями, на которых надо было кого-то клеймить, низвергать и топтать, ему всегда нездоровилось.) Он лежал в своей комнате, где жил один (он был холостяк), и старательно потел под ватным одеялом, когда в дверь постучали условно – три раза. Мыслитель встал, сунул ноги в галоши, накинул на плечи одеяло и пошел открывать.

– Что с вами? – спросил, появившись на пороге, Первый Мыслитель. – Вы больны?

Второй Мыслитель повел себя очень странно.

– Это, собственно говоря, я должен спросить вас, что с вами? – Отступая, он придерживал одеяло, из-под которого видна была рванина голубых трикотажных кальсон.

– Ага, – хитро улыбнулся и подмигнул Первый Мыслитель, – вы, очевидно, имеете в виду мою голову?

– Да, именно вашу голову я имею в виду.

Допятившись до своей кровати, Второй Мыслитель лег, подтянув одеяло к подбородку, и закрыл глаза. Открыв их снова, он увидел довольное лицо своего приятеля.

– А что, вам кажется, произошло с моей головой?

– Мне кажется, что она стала продолговатой, как огурец, но это, конечно, бред.

– Не больший бред, чем все остальное, – возразил Первый Мыслитель. – Может быть, и это вам покажется бредом? – Он протянул больному свежий номер газеты «Большевицкие темпы».

Больной жадно схватил газету и заскользил глазами по строчкам, надеясь что-нибудь прочесть между ними. Из сообщения «От Советского информбюро» узнал, что наши войска, выполняя стратегический маневр, оставили Николаев и ведут местные бои в районе Великих Лук. Прочел басню Серафима Бутылко «Бешеный Барбос» («Немецкий пес Барбос Бесхвостый решил устроить «дранг нах остен», и вот по плану «Барбаросса» созвал он всех других барбосов...»). Не найдя ничего интересного в местных новостях,

больной Мыслитель дошел до четвертой страницы и увидел в траурной рамочке: «...с глубоким прискорбием извещают о трагической гибели ответственного...»

– Что? – вскричал больной. – Ответственный редактор? Неужели застрелился?

– Нет, – успокоил его гость. – Просто попал под лошадь.

– А-а, – поскущел Второй Мыслитель. Но тут же вскинулся. – Послушайте, что значит – просто попал? Вы уверены, что он просто попал? А может быть... – он оглянулся на дверь и понизил голос до шепота, – может быть, его попали?

– Вы думаете? – удивился Первый Мыслитель. – Очень интересная мысль. Странно, что мне самому это не пришло в голову. Но здесь есть кое-что поинтереснее.

– Где? – нетерпеливо спросил больной. – Я не вижу.

– Вот, – сказал гость и ткнул пальцем в заголовок большой подвальной статьи: «Влияние социальных условий на антропологический тип».

Второй Мыслитель по привычке заглянул в конец статьи и прочел подпись: К. Ушастый, кандидат биологических наук.



Статья была ученая. В ней проводилась такая мысль, что поскольку Октябрьская революция в корне изменила не только социальные условия жизни в нашей стране, но и внутренний мир человека – его отношение к труду, к обществу, – это непременно должно привести и к внешним изменениям облика, а именно: со временем советский человек будет так же отличаться от всех остальных людей, как хомо сапиенс отличается от неандертальца. Конечно, эти изменения произойдут не сразу, но если, как учит нас марксистская диалектика, постепенные количественные изменения переходят в скачкообразные качественные, то нет ничего удивительного в том, что у отдельных людей, отличающихся последовательностью своих идейных убеждений и ясностью мировоззрения, уже сейчас становятся заметны антропологические изменения, которые в первую очередь, естественно, отражаются на строении черепа. Многочисленные и авторитетные исследования, утверждал автор статьи, неопровержимо показывают, что такие изменения происходят в сторону удлинения черепа вследствие удаления жевательных органов от мыслительных центров. «Такие изменения, – развивал свою мысль Ушастый, – наблюдались и буржуазными учеными. Наиболее передовые из них отмечали, что длинноголовые (долихоцефалы) обладают, как правило, более сильным интеллектом, чем круглоголовые (брахицефалы),<sup>[7]</sup> но ограниченность мировоззрения не позволила этим ученым (должно быть, они сами были недостаточно длинноголовыми) подняться до истинного понимания подобных явлений. Эти ученые на первый план выдвигают расовые различия, в то время как наша наука, опираясь на единственно правильное учение Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина, расовому подходу к явлениям противопоставляет подход классовый».

Второй Мыслитель отложил газету.

– Что это такое? – спросил он слабым голосом.

– Это новое научное открытие, – сказал Первый.

– Это дикость! – закричал Второй Мыслитель.

– Не большая дикость, чем все остальное. Подумайте сами.

Предателя и труса объявляют героем. Вместо него хоронят лошадь.

Все говорят, что вдова на похоронах была подставная и сын тоже.

– В таком случае, – усмехнулся Второй Мыслитель, – им следовало бы привести кобылицу и жеребенка.

– Сейчас не время для шуток, – строго сказал Первый Мыслитель. – Вы не понимаете. Это все не так просто. Как вы думаете, для чего они затеяли всю эту историю с черепом?

– А... – Второй Мыслитель махнул рукой, откидываясь на подушку. – Просто положили, что подвернулось под руку. Они же не знали, что этот пьяный дурак споткнется и уронит гроб.

– Вы, как всегда, ошибаетесь! – радостно закричал Первый Мыслитель. – Они никогда просто так не спотыкаются. Они сделали это нарочно.

– Но для чего?

– В том-то и дело. Для чего? А вы сами подумайте.

Второй Мыслитель напрягся, но тут же лицо его прояснилось.

– Понимаю, – сказал он радостно. – Как Калигула объявил своего коня сенатором, так они...

– Чепуха! – резко оборвал Первый Мыслитель. – Калигула сделал коня сенатором, но сам он конем не был, а здесь намек на совсем другое.

– На что же? – нетерпеливо вскрикнул Второй Мыслитель.

– А вот на что! – Первый Мыслитель достал из бокового кармана газету «Правда» с портретом Сталина и развернул ее пред своим собеседником. – Вот взгляните в этот портрет.

Второй Мыслитель взгляделся. Двумя глазами, потом каждым глазом по отдельности.

– Ну и что, что? – спросил он нетерпеливо. – Говорите же, что вы имеете в виду!

– А вы сами не видите?

– Нет, сам я не вижу, – раздражился Второй.

– Надо быть слепым, чтобы этого не видеть. – Хорошо, я вам скажу. – Первый Мыслитель оглянулся, как бы предполагая, что кто-то невидимый и неслышимый подошел и стоит за его спиной. Никого не увидев, он наклонился к уху своего товарища и шепотом прошелестел:

– Разве вы не видите, что в этом лице есть что-то от лошади?

– Глупости! – возразил Второй Мыслитель. – В нем, усатом, есть что-то от кота. Хотя... Пожалуй, вы правы.

– Конечно, я прав. Я всегда прав. А кроме того, вы слышали что-нибудь о князе Голицыне?

– Голицыных много... – ответил Второй Мыслитель уклончиво.

– Не валяйте дурака! – сердито возразил Первый Мыслитель. – Вы знаете хорошо, что я говорю о том Голицыне, который сидит в здешней тюрьме. Обратите внимание, сколько загадочного во всей этой истории. Появляется какой-то Чонкин, который будто бы совершенно один, а против него бросают целую воинскую часть. Его с трудом арестовывают, после этого выясняется, что он вовсе не Чонкин, а князь Голицын, потом затевается история с длинным черепом, и теперь вот эта статья. Нет, это все неспроста. Вы понимаете, что это значит?

– Что? – Второй Мыслитель был крайне заинтригован.

– Борьба круглоголовых во главе с князем Голицыным окончилась пока победой длинноголовых.

– И что же вы думаете?

– Я думаю, что вам в первую очередь надо надеть вот это... – С этими словами Первый Мыслитель вынул из-за пазухи второй парик и бросил на кровать к ногам своего друга. Это был замечательный парик, своего рода шедевр, с ватной подкладкой.

– Вот это? – спросил Второй Мыслитель, ногой отталкивая подарок. – Вот это? – Он вскочил как ужаленный. – Никогда! – прокричал он, размахивая кулаками. – Запомните, никогда я не надену на себя эту пакость!

– То же самое сказал сначала и я, – горько усмехнулся Первый Мыслитель. – А потом я подумал: лучше все-таки носить длинную голову, чем совсем никакую.

Осталось совсем неизвестным, сколько времени и слов еще потратил Первый Мыслитель на то, чтобы убедить в своей правоте Второго, но уже вечером оба прогуливались (Второй Мыслитель скоропостижно выздоровел) по улице Поперечно-Почтамтской (кажется, она в то время – но, как выяснилось, ненадолго – была переименована в Милягинскую) без головных уборов и некоторым оторопелым знакомым небрежно кивали удлинненными своими головами.

Говорят, что Первый Мыслитель оказался полностью прав, и в городе несколько дней шла охота на круглоголовых. И у некоторых головы вроде сразу удлиннились, и те, с кем это произошло, бывало, в пылу полемики говорили своим оппонентам:

– А что-то мне сдается, у вас головка больно уж кругловата.

Правда это или чистые враки, утверждать не берусь (сам я лично этому, конечно, не верю), но вот что с Андреем Еремеевичем Ревкиным на этой почве случилась преогромная неприятность, это уж, кажется, точно.

С Ревкиным случилось вот что. Он эту ученую статью кандидата Ушастого воспринял как выпад против себя лично. Он перед зеркалом даже вертелся тайком от Аглаи, вершками обмеривал свой собственный череп от затылка до подбородка и от уха до уха, и измерения эти оказались удручающими для него. А удлинить свою голову при помощи спецпарика он, конечно, не мог, ибо народ его знал таким, каков он есть, и терять свой авторитет он не желал. Однако он понял, что власть его уходит из рук, как песок, и потому решился на самый отчаянный шаг. Он определенно заявил, что подобного безобразия терпеть не будет, и послал в обком статью Ушастого и свою докладную записку, в которой называл статью псевдонаучной и шарлатанской, утверждал, что она инспирирована, конечно, новым начальником Тех Кому Надо, который с самого начала ведет себя вызывающе, игнорирует партийные органы и тем самым противопоставляет свое Учреждение партии. Опровергая основные положения статьи, Ревкин пошел на весьма рискованное, если не сказать безумное, возражение, написав, что если бы марксистское мировоззрение действительно влияло на строение черепа, то самый вытянутый череп был бы у товарища Сталина, ибо именно он обладает самым последовательным марксистским мировоззрением. «Между тем, – утверждал Ревкин, – стоит посмотреть на любую фотографию товарища Сталина, чтобы убедиться в абсурдности доводов К. Ушастого». Ревкин предлагал привлечь Фигурину к строгой партийной ответственности. Записку он эту направил в обком, но копию ее еще выше, в ЦК. Не дожидаясь ответа, он решил проявить свою власть на месте. Он написал короткую записку: «Т. Фигурин, вам необходимо срочно зайти в РК для выяснения некоторых обстоятельств». Записку отправил с шофером Мотей и стал ждать ответа. Он явно нервничал и ни на чем не мог сосредоточить внимание. Мотя вернулась через сорок минут.

– Почему так долго? – напустился на нее Ревкин.

Ответить она не успела. Вслед за ней вошли два рослых молодых человека в штатском, и один из них, улыбнувшись, спросил:

– Где у вас оружие, хозяин?

И самое удивительное, Ревкин не спросил у них никаких документов, сразу показал на ящик стола, в котором лежал револьвер.

В сопровождении молодых людей Ревкин вышел в приемную.

– Анна Мартыновна, – сказал он зачем-то секретарше, – я тут вынужден ненадолго удалиться. Если позвонят с бондарного завода, скажите, чтобы собрание проводили без меня.

– Хорошо, – сказала Анна Мартыновна, тревожно глядя на Ревкина. – А вы... скоро вернетесь?

Давая ей понять, что дальнейшее зависит не от него (хотя она и так все поняла), Ревкин посмотрел на одного из сопровождающих и вежливо спросил:

– Как вы думаете, мы скоро обернемся?

Но тот улыбнулся и сказал:

– Пойдемте, хозяин.

Майор Фигурин встретил своего гостя радушно.

– Очень рад, очень рад, – бормотал он, пожимая Ревкину руку, – давно мечтал познакомиться, но не успел приступить к работе, сразу все навалилось: и этот Чонкин, и этот Миляга... так закрутился, что даже не смог выбрать времени представиться вам. А тут как раз ваша записка. Вот я и подумал, что, пожалуй, будет удобнее, если мы встретимся у меня, а не у вас.

Затем он сказал, что поведение Ревкина последнее время его несколько беспокоит.

– Мне не очень понятно, – сказал он, – что вы так выступаете против этого несчастного Миляги, ведь он, собственно говоря, уже покойник, а вы... а вы еще нет. – Фигурин широко улыбнулся. – У вас с ним личные счеты?

– У меня ни с кем личных счетов нет, – резко сказал Ревкин, – а погиб Миляга не как герой, а как предатель. Я сам был тому свидетелем.

– Ах, Андрей Еремеевич, – покачал головой Фигурин. – Не мне вам говорить, что нам нужна не всякая правда, а только та, которая нам нужна. И потом, это ваше возмущение, что там в гробу оказался не тот череп. Допускаю, что вы видели, как он погиб, но череп же его вы не видели. Ну, согласен, может, не тот череп, может, другой. Ребята наши тут торопились, некогда было, время военное, положили что нашли. Стоит ли из-за мелочей поднимать шум?

– Стоит, – сердито сказал Ревкин, – очень даже стоит. Весь район про это говорит.

– А вы поменьше обращайтесь внимания на слухи. Мало ли что кто говорит, и мало ли у кого какой череп. В конце концов, мы можем ваш череп положить вместо его черепа, а еще чей-то череп вместо вашего черепа, незаменимых черепов у нас, как известно, нет.

Фигурин опять улыбнулся и благожелательно посмотрел на Ревкина.

– Вы со мной не согласны? Ну хорошо. Вот вам бумага, пишите.

– Что писать? – спросил Ревкин.

– Напишите, когда и при каких обстоятельствах вы вступили на путь враждебной деятельности против нашего государства, кем завербованы, что успели сделать, какое получили за это вознаграждение, в какой валюте и так далее, и тому подобное, мыслью по древу особенно не растекайтесь, но и упускать подробностей тоже не нужно.

– Послушайте, вы, – сказал Ревкин, – вам надо срочно обратиться к врачу, вы больны, у вас не все дома.

– Да, это мне некоторые уже говорили, – печально согласился Фигурин. – В том числе и врачи. Но где они? Нет, вы не подумайте, я не обидчив, вы меня хоть горшком назовите, мне все равно, но ведь я представляю собой некую известную вам организацию, и оскорблять ее я вам не рекомендую. Это может лишь ухудшить ваше и без того затруднительное положение. Сейчас вас отведут в камеру, и вы там в спокойной обстановке сосредоточьтесь, подумайте, а потом поговорим еще. И пожалуйста, не проявляйте излишнего упрямства, потому что наши люди бывают порою грубы.

Ревкина увели в камеру и поместили среди разных преступников, что больно задело его самолюбие.



Ночью он впал в истерику, бился головой о железную дверь камеры и никак не хотел внять уговорам надзирателя, что после отбоя шуметь не положено. Водворенный же в карцер, он и вовсе помешался и грозился послать телеграмму лично товарищу Сталину, но к утру затих и смирился.

Утром он попросился к Фигурину и там в его присутствии собственноручно записал свои показания. «В контакт с международной реакцией, – написал он, – я вступил в Лондоне. Мы провели несколько тайных встреч, на которых присутствовали Троцкий, Чемберлен и шеф гестапо Гиммлер. На этих встречах мы обсуждали разнообразные коварные планы, как то: диверсии, саботаж и вредительство. Во исполнение этих планов, будучи секретарем райкома, я ввел в бюро райкома лиц, враждебно относящихся к советскому строю, и по рекомендации всемирной буржуазии направлял их деятельность на развал сельского хозяйства, резкое уменьшение продуктивности животноводства и снижение жизненного уровня трудящихся до минимальных пределов, с тем чтобы вызвать недовольство среди населения и, может быть, даже бунт. Последняя цель, однако, достигнута не была».

Записав эту абракадабру, Ревкин надеялся, что вышестоящее начальство поймет абсурдность выдвинутых Фигуриным обвинений, но этого, судя по дальнейшему развитию событий, не произошло.

Фигурин, прочтя показания, даже похвалил Ревкина.

– Вы очень хорошо пишете, – сказал он. – Богатая фантазия, хороший слог. Из вас мог бы получиться вполне приличный писатель.

К удивлению и тайной радости Ревкина, Фигурин не заметил в показаниях никаких противоречий и копию протокола отправил вверх по инстанциям. Ревкин ждал результата с нетерпением и даже не без злорадства. Позднее он узнал, что показания и «наверху» были приняты с удовлетворением. Роман Гаврилович Лужин сказал о показаниях Ревкина: «Чудовищно интересно». Потом подумал и Чемберлена вычеркнул, сказав, что упоминать представителя Великобритании, союзника по антигитлеровской коалиции, сейчас, пожалуй, не стоит. Вместо Чемберлена Лужин вписал Чонкина,

которого Ревкин должен был признать своим главарем и который, в свою очередь, через какого-то Курта был связан с германским верховным командованием. Ревкин неожиданно оскорбился. Он согласен был считаться крупным преступником, но отказывался признать себя подручным какого-то Чонкина. Когда же его как следует побили, он и вовсе заартачился, озлобился, стал вести себя вызывающе. И вообще отказался от прежних своих показаний. Ему напоминали, что партия его вырастила, бесплатно учила, лечила, кормила, одевала и обувала, но он проявил полную неблагодарность и кощунственно написал: «С 1924 года состоял в преступной организации, называемой ВКП(б), занимал ряд руководящих постов и совместно с другими членами этой организации наносил максимальный вред стране и народу».

Прочтя это заявление, майор Фигурин тут же отправил Ревкина на психиатрическую экспертизу, где врач, хорошо знакомый с медицинской доктриной майора, определил:

«Больной Ревкин А.Е., сорок лет.

Психоневрологический статус:

Сознание нарушено до степени оглушенности.

Обоняние сохранено.

Острота и поля зрения не нарушены, глазные щели  $D = S$ , движение глазных яблок в полном объеме, зрачки обычной величины и формы, фотореакции живые,  $D = S$ , реакции на конвергенцию и аккомодацию сохранены.

Иннервация мимических мышц лица сохранена,  $D = S$ , легкая девиация языка влево.

Глотание, фонация и артикуляция не нарушены, нёбный и глоточный рефлексы сохранены, рефлексов орального автоматизма нет.

Асимметрия лица  $D < S$ .

Походка не нарушена, синкинезий нет, пробу Мингадини-Барре выполняет удовл.,  $D = S$ . Коленные и ахилловы оживлены,  $D = S$ .

В позе Ромберга неустойчив, имеются явления гемибаллизма, псевдобульбарного синдрома, паллидарного и интенционного тремора, каталепсии и адиадохокинеза.

Болевая, температурная, тактильная чувствительность не нарушены.

Больной находится в мрачном, подавленном состоянии, необщителен, на вопросы о жалобах отвечает: «Жалуюсь на незаконный арест», на другие вопросы отвечает неохотно, но потом возбуждается, вскакивает со стула, кричит, требует оставить его в покое. В некоторых случаях все же проявляет желание контакта с врачом, объясняет пространно и путано, что в прошлом занимал крупную должность, «руководил целым районом», был «солдатом партии», был «предан своему народу», «пользовался авторитетом» и т. д. Но потом на службе у него якобы завелись враги и завистники, которые метили на его должность и потому строили против него всякие козни, приведшие его в конце концов в тюрьму. Утверждает, что до ареста замечал за собой слезку. Говорит, что следствие якобы вымогает у него ложные показания против себя самого, действуя угрозами и физическим насилием. Время от времени начинает плакать, грозить, что «дойдет до самого Сталина». Некоторые газетные сообщения, не имеющие к нему никакого отношения, считает направленными против него лично. Иногда бред теряет видимость логичности, появляются фразы о преимуществе круглых голов перед длинными и т. д. О советской власти говорит, что служил ей верой и правдой, а теперь разочаровался.

Диагноз: Больной страдает параноидной формой шизофрении, развившейся на почве длительной ненависти к советскому строю и сопровождающейся бредом величия и преследования. Прогноз сомнительный. Лечение симптоматическое. Противопоказаний к содержанию под стражей не имеется».

Поскольку Ревкин тоже оказался хотя и не такой, как Чонкин, но все-таки достаточно важной фигурой, было приказано выделить отдельную камеру и ему. Начальник тюрьмы старший лейтенант Курятников, не придумав ничего лучшего, поместил бывшего секретаря в одной камере со своей коровой и вынужден был мириться с тем, что Ревкин по ночам укладкой отсасывал у нее молоко.

Лаврентий Павлович Берия сидел за своим столом в расстегнутом габардиновом пальто, в сапогах с галошами и в серой шляпе, надвинутой на глаза.

Шел второй час ночи, он собрался домой, но сил не хватало подняться. Подперев голову руками и полузакрыв глаза, он думал о положении на разных участках фронта, о том, что дело дрянь, о том, что не далее как вчера ночью Сталин говорил с ним грубо, упрекал Берию в том, что руководимая им служба работает из рук вон плохо, неповоротливо, не умея приспособиться к условиям военного времени.

Москву, видимо, не сегодня-завтра придется оставить, а эвакуация важнейших предприятий и учреждений ведется неорганизованно, в панике. Не хватает подвижного состава. Часто грузится второстепенное оборудование, а наиболее ценное остается. Многие руководители заводов и фабрик торопятся в первую очередь вывезти не свои заводы и фабрики, а самих себя. Основные железнодорожные и шоссейные пути, мосты и вокзалы до сих пор не заминированы. В городе циркулируют дикие слухи, и значительная часть населения поражена капитулянтскими настроениями, то есть, проще говоря, ждет немцев. Очень мало сделано для подготовки специальных боевых групп, которые должны остаться и в условиях подполья вести подрывную и диверсионную работу.

Но больше всего Сталина вывело из себя сообщение, что на территории одной из ныне оккупированных областей действовала разветвленная тайная организация, способствовавшая захвату этой области врагом, причем в организации были замешаны некоторые партийные работники и даже работники органов.

Сталин кричал на Берию и даже плюнул ему в лицо, но через некоторое время остыл и сказал: «Извини, нервы».

«Нервы не нервы, но зачем же плевать?» – думал Берия, когда дверь в кабинет отворилась, и молодой полковник, исполнявший обязанности секретаря, приблизился и положил на край стола увесистую папку, перевязанную шелковыми тесемочками.

– Что это? – не подымая глаз, спросил Берия.

– Начальник управления контрразведки просил ознакомиться, – сказал секретарь и вышел.

Видимо, в папке было что-то сверхважное, если начальник контрразведки и секретарь решились побеспокоить наркома в столь позднее время.

Берия открыл один глаз, скосил его на папку, увидел крупно написанную фамилию Голицын-Чонкин, удивился, открыл второй глаз и придвинул папку к себе.

Развязал шелковые тесемочки и, плюя на палец, стал переворачивать подшитые к делу листы. Письмо о дезертире Чонкине за подписью «жителей деревни Красное». Ордер на арест с продырявленной печатью. Протоколы допросов. Характеристика. Донесение Рамзая о каком-то Курте. Донесение с трижды подчеркнутыми красным карандашом словами: «происходит из князей Голицыных». Ордер на арест Курта. Протокол допроса, где Курт утверждает, что под личиной рядового дезертира скрывался князь Голицын. Еще куча всяких бумаг, в которых подследственный именуется: Чонкин, так называемый Чонкин, Белочонкин, Чонкин-Голицын и, наконец (кто-то догадался вывести нужную фамилию вперед), Голицын-Чонкин.

Берия сдвинул шляпу на затылок, подумал, нажал на кнопку, вызвал начальника контрразведки, которому дал пятнадцать минут на то, чтобы во всех бумагах вымарать фамилию Чонкин как совершенно излишнюю.

Пока исполнялось его приказание, он сделал короткую зарядку, побрился, попрыскался «Шипром» и выпил стакан крепкого чая.

Полчаса спустя в окружении многочисленной свиты, состоявшей из полковников и генералов, он появился на станции метро, не имевшей названия. Как только он там появился, из тоннеля вышел поезд, на головном вагоне которого было написано: «В депо».

Поезд был почти обыкновенный, от прочих отличался он только тем, что двери и окна его были непрозрачные.

Поезд остановился. Шумно открылись двери, и вдруг на перроне стало тесно от вооруженных людей. Изо всех дверей высыпали военные в касках и плащ-палатках и, взяв автоматы на изготовку, направили их на Берия и его свиту. Не зная, в чем дело, можно было бы предположить, что сейчас здесь состоится сражение. Однако это была обычная процедура, когда Берия ехал к Сталину, проживавшему в то время в метро.

Несмотря на свою обычность, процедура всякий раз пугала Лаврентия Павловича. Как всегда, он инстинктивно попятился и наступил кому-то из сзади стоящих на ногу. Но тут же пришел в себя, выхватил из чьих-то рук свой желтый английский портфель и решительно шагнул навстречу направленным на него автоматам.

Из-за спин автоматчиков вышли двое в плащ-палатках и касках, но с пустыми руками. Один козырнул Лаврентию Павловичу и сказал:

– Попрошу документы!

Торопливо порывшись в кармане, Берия протянул красную книжечку.

Военный долго рассматривал документ и предъявителя, переводя недоверчивый взгляд с карточки на оригинал и обратно. Затем документ оказался у второго военного, и тот тоже долго сличал карточку с оригиналом, словно в первый раз видел и то, и другое. Наконец второй военный вернул книжечку первому, первый вернул владельцу и, пропуская его вперед, снова взял под козырек:

– Прошу!

Берия вошел в вагон, сел в углу, положив портфель на колени, и стал похож на бухгалтера, который едет домой с работы. Те, которые проверяли документы, сели напротив, автоматчики заняли свои места

– по двое у каждой двери. Двери закрылись, поезд тронулся. Берия взглянул на часы.

Место, где жил Сталин, в секретных документах именовалось подземной дачей. Берия догадывался, что «дача» находится на соседней станции, но знал, что в целях конспирации ему будут морочить голову, будут долго возить где-нибудь по кольцевой линии, прежде чем доставят к месту назначения.

Все молчали. Всякие разговоры между пассажиром и охраной с целью исключения лишних контактов были строжайше запрещены.

К конечному пункту поезд пришел через сорок шесть минут. Двери открылись, но на этот раз автоматчики остались в вагонах.

Двое проверяющих опять преградили путь. Старший снова, козырнув, сказал: «Попрошу документы!» – и снова, возвращая, сказал: «Прошу!»

На этом, однако, проверка не кончилась. Личная охрана того, который жил в метро, состоявшая целиком из соплеменников приезжего, встретила его на перроне, наставив автоматы и прищулив глаза. И здесь повторилось: «Попрошу документы!», «Прошу!»

Затем заглянули в портфель, вывернули карманы, ничего подозрительного не нашли, кроме маленького перочинного ножика в виде дамской туфельки, который приказали оставить до возвращения.

Обыск закончился тем же словом «Прошу!», и начальник личной охраны взял при этом под козырек.

Пока Лаврентий Павлович застегивал портфель, у него в голове возникла озорная мысль: а что если проверить, как начальник охраны несет свою неусыпную службу? Он посмотрел на начальника веселым взглядом и задал как будто совершенно невинный, но на самом деле такой вопрос, который мог бы стать первым шагом на пути к неформальным отношениям.

– Как дела, генацвале? – интимно и по-грузински спросил Лаврентий Павлович, застегивая слегка озябшими пальцами пуговицы френча. При этом он улыбнулся и подмигнул начальнику, как бы говоря, что уж мне-то, как своему человеку, ты можешь рассказать о себе, поделиться своими радостями или заботами. Но начальник не принял ни этой улыбки, ни этого интимного тона и, казалось, вообще не услышал звука произнесенных здесь слов. Молча сжав губы, он терпеливо ждал, покуда приезжий справится с замком, и только после этого произнес по-русски:

– Товарищ Сталин вас ждет.

И, пропуская Лаврентия Павловича вперед, нажал на кнопку секретной сигнализации, предупреждая кого-то о прибытии нового гостя.



Сталин радушно встретил гостя на пороге своего просторного кабинета с глобусом и фальшивыми зашторенными окнами, точно такого же кабинета, какой был у него в Кремле. Некоторые люди, которых сюда привозили в закрытых вагонах, так и думали, что они находятся в Кремле, попав в него тайным подземным путем.

– Здравствуй, дорогой, – сказал Сталин, с протянутой рукой приближаясь к Лаврентию.

– Здравствуй, Коба! – ответил Лаврентий Павлович возвышенно.

Они сблизились, и Лаврентий Павлович, поставив портфель на пол, схватил протянутую ему руку двумя руками.

– Еще раз здравствуй, дорогой! – сказал Сталин с чувством.

– Еще раз здравствуй, Коба! – отозвался гость с еще большим чувством.

– И еще раз здравствуй, дорогой! – Сталин обнял приехавшего и, щекоча усами, крепко поцеловал в губы.

– Здыр...ав...уй! – зашелся гость в экстазе.

– Проходи, дорогой, проходи, – сказал Сталин, похлопывая Берию по спине. – Как доехал? Как жена, дети? Здоровы?

– Слава богу, здоровы. – Подняв портфель, Берия шел за Сталиным в глубь кабинета. – Вместе со мной, вместе со всем народом думают: лишь бы ты был здоров.

– Садись, дорогой. – Сталин указал гостю на кожаный диван, а сам отошел к своему столу, раскрыл папиросы «Герцеговина Флор» и, разламывая их, стал набивать табаком трубку.

– Мне кажется, ты чем-то расстроен, – сказал он, заботливо глядя на Берию, который сидел на диване и держал свой портфель на коленях.

– Я? – вскинул голову Берия. – Нет, ничего, пустяки.

– А все-таки?

– Не обращай внимания, – потупился Берия. – Это совсем ерунда. Ты не должен об этом заботиться. У тебя есть заботы важнее.

– У меня, – согласился Сталин, – конечно, есть очень много забот. Но как же я могу о тебе не заботиться? Ведь ты мой верный соратник,

и мне неприятно, если ты чем-то расстроен. Мне очень хочется знать, что у тебя на душе.

– Вай-вай! – замахал руками Берия. – Какие, право же, пустяки. Да, ты очень зорко подметил, я немножечко огорчен, я вот столечко огорчен твоим недоверием, но это не имеет совершенно никакого значения.

– Что значит не имеет значения? – нахмурился Сталин. – Это имело бы очень большое значение, если бы было правдой. Но ты мне скажи, в чем ты видишь мое недоверие?

– Ну хорошо, я тебе скажу, но мне, право же, неудобно. Это маленькое недоверие проявляется в том, что твои люди возят меня в закрытом вагоне, а потом обыскивают, как будто я какой-то преступник. Я, конечно, понимаю, что в жестокий период военного времени нужна очень высокая бдительность и твоя жизнь дороже зеницы ока, но все-таки такое обращение немножечко, чуть-чуть-чуть унижает мое человеческое достоинство.

– Человеческое достоинство? – удивился Сталин и, попыхивая трубкой, прошелся по кабинету. – Я тебя очень хорошо понимаю, Лаврентий. Но посуди сам, что я могу сделать со своими людьми? Они так любят меня. Они так боятся за меня. Они же не только тебя, они всех обыскивают.

– Да-да-да-да, – закивал Лаврентий, – это, конечно, правильно. Но все-таки мне казалось, все-таки я иногда думал, что я для тебя – как бы это сказать? – немножечко не все.

– Да, конечно. – С трубкой в губах Сталин присел рядом, причмокивая. – Ты не все. Ты для меня особенный. И я должен тебе доверять на сто процентов и даже немножечко больше. Но иногда я вот чувствую почему-то, что из всех людей, которые здесь бывают, я, пожалуй, никому не верю меньше, чем тебе.

Сталин вынул изо рта трубку, резко повернулся к Лаврентию и стал смотреть на него не мигая, как будто пытался прочесть его ответные мысли. Лаврентию взгляд Хозяина очень был неприятен, но он не отвернулся и не потупился, а, напротив, сквозь пенсне тоже смотрел на Сталина не мигая. Так они сидели и смотрели друг на друга не отрываясь, как два удава. Сталин сдался первым.

– Черт тебя знает, – сказал он, отворачиваясь и вздыхая. – Всех вижу насквозь, одного тебя только не вижу. Иногда думаю: может

быть, он честный человек, иногда думаю: может быть, он собака. Может быть, думаю, он уже договорился с Гитлером или с Гиммлером, чтобы Москву сдать, а меня выдать. А? – Сталин опять повернулся к Берия и уставился на него. – Признайся, договорился?

– Я? – Отбросив в сторону портфель, Лаврентий Павлович пал на колени, обнял сапог Сталина, прижал его к сердцу, прижался к нему щекой. – Коба, – сказал он с упреком, – как можешь ты так говорить? Да, я собака. Собака, да. Но собака чем отличается от человека? Она отличается преданностью своему хозяину. Ты меня обижаешь, но преданный пес не может обижаться на своего хозяина, и я на тебя не обижаюсь. И если тебе нужно, чтобы я кого-нибудь грыз и кусал, я буду его грызть и кусать. Ты мне только укажи пальцем и скажи «фас!», и я...

Лаврентий Павлович встал на четвереньки и оскалил зубы.

– Ладно. – Сталин был растроган. На щеке его блестела слеза. Он погладил ладонью вспотевшую лысину Лаврентия Павловича. – Ладно. Это я так. Просто хотел тебя немножко проверить. Настроение, понимаешь, плохое. Сижу здесь как крот. – Сталин встал, подошел к глобусу. – А немцы, вот они уже где. Вот. Совсем близко. Как ты думаешь, Лаврентий, Москву, наверное, придется сдавать?

– Нет, – сказал Лаврентий, отряхивая колени, – не придется. Теперь не придется.

– Теперь не придется? – прищурился Сталин. – А что же теперь такое случилось, что теперь не придется?

– А вот я тебе сейчас кое-что покажу, – сказал Лаврентий, расстегивая портфель и вынимая папку с шелковыми тесемками. – Ты же понимаешь, я бы не решился беспокоить тебя в столь позднее время по пустякам. – Он поднес папку и положил ее на край стола. – Вот, – сказал он торжественно, – дело князя Голицына.

– Голицына? – удивился Сталин.

– Князя Голицына, – повторил Берия, ставя ударение на слове «князя». – Обширнейший заговор. Мои ребята поработали. Постарались. Да ты сам почитай. Ты сам все увидишь.

– Некогда мне читать, – покосился на папку Сталин. – Изложи кратко.

– Хорошо. Очень кратко. Представь себе один ничем не примечательный летний день незадолго до начала войны. Глухая

русская деревня. У них, у русских, все деревни глухие. Солнышко светит, птички поют, розы... Нет, не розы... картошки цветут, бабочки... – Лаврентий изобразил полет бабочек, – летают. И вдруг что-то совсем большое, что-то совсем не бабочка – самолет.

Берия помолчал, давая слушателю вжиться в картину.

– Слушай, Лаврентий, – поморщился Сталин. – Ты мне про бабочек не рассказывай. Про бабочек я могу позвать кого-нибудь другого, он мне лучше расскажет. Ты мне давай суть.

– Хорошо, – согласился Берия. – Даю суть. Представь себе город Берлин, канцелярия рейхсфюрера, Гитлер сидит в своем кабинете. И размышляет над планом «Барбаросса». Он собирается напасть на Советский Союз, но понимает, что дело это опасное. Потому что Германия, конечно, сильное государство, но Советский Союз сильнее. У меня, думает он, есть пушки, танки и самолеты, но у него, у тебя то есть, тоже есть пушки, танки и самолеты. Значит, надо рассчитывать не только на силу, а на неустойчивое (по его, конечно, мнению) внутреннее положение. Новый строй, по его мнению, в России еще недостаточно укрепился. Русский народ, воспитанный на традициях самодержавия, хочет, чтобы у него был царь, был помещик, чтобы помещик ему говорил: «Ты вот здесь вспаши, ты вот это посеи и, когда соберешь урожай, половину дай мне, а половину сам можешь скушать». И вот этот Гитлер обращает внимание на всяческих недобитков в виде бывших дворян, в виде бывших царских приспешников. И находит, кроме прочих, князя, под которым можно собрать всех недовольных нашим строем, объединить их, подготовить к борьбе против советской власти. И вот незадолго до войны этот самый Голицын под видом простого красноармейца прибывает на самолете в деревню Красное в этом примерно месте, – Берия ткнул пальцем в глобус, – поселяется у одной местной женщины и начинает плести свою паучью сеть. План его прост и понятен: дожидаться, когда Гитлер кинет на нас свои девяносто дивизий, подготовить восстание и в нужный момент по сигналу из Берлина ударить нам в спину. Таким образом он надеется оттянуть часть наших сил с фронта, раздробить их и затем...

– Хватит! – резко перебил Сталин. – Ты говоришь так, как будто тебе самому это нравится. Где он сейчас, этот князь?

– Будь спокоен. Сейчас он в надежных руках, – сказал Берия и показал два своих кулака.

Сталин положил трубку на стол и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету.

– Голицын! Князь Голицын! – бормотал он почти про себя.

Берия знал, что делал. Он знал, что Сталину сейчас, как никогда, нужен кто-то, на кого можно было бы возложить вину за неудачное начало войны.

– Да, – сказал Сталин, подумав. – Я всегда знал, что один внутренний враг опаснее ста внешних врагов. Я всегда указывал, что бывшие эксплуататоры и дворяне никогда не смирятся с историческим своим поражением. Но видно, я слишком доверчив, я не мог себе даже представить, что эти люди так ненавидят новый строй, так ненавидят новую Россию, что готовы выступить против нее в союзе с ее злейшим врагом. Ну что ж, Лаврентий, враги бросают нам вызов, мы его примем. На примере этого Голицына мы покажем народу, чего хотят эти капиталисты и эти помещики. И на этом же примере мы покажем капиталистам и помещикам, что народ наш любит советскую власть и не хочет их возвращения. И на этом же самом примере мы покажем бесноватому фюреру, что он зря рассчитывает на этих мелких прислужников, они ему не помогут.

Он взял ручку и на первом листе дела князя Голицына своим мелким, но четким почерком начертил:

«Князя Голицына и сообщников судить показательным судом с освещением в прессе. Не знаю, как для других, но для князя Голицына, думаю, расстрел не будет слишком суровым наказанием по законам военного времени.

*И. СТАЛИН».*

Старожилы запомнили, что в тот вечер в деревне страшно выли собаки. Они выли, скулили, лаяли и метались на привязи, словно хотели своих хозяев о чем-то предупредить. Счетовод Волков обратил внимание на поведение своего Джека и даже подумал, что дело нечисто, что зря собака так волноваться не будет. Волков посмотрел на небо, оно было ясное, со звездами, но без луны. Невидимый во тьме самолет монотонно сверлил в небе дырку, прерывистый звук мотора казался обычным, мирным. Счетовод послунил и поднял вверх палец, пытаясь определить направление и силу ветра, но ни силы, ни направления не было. Волков постоял, покурил, помочился под яблоней, а потом, прежде чем застегнуть ширинку, долго подпрыгивал.

Джек по-прежнему рвался с цепи, лаял, завывал и даже как будто плакал.

– Но-но, не балуй! – прикрикнул на него хозяин и дал псу сапогом в морду.

Тот заскулил, завизжал, забился в будку и стал выть оттуда.

«Да, – подумал Волков, – чтой-то это да значит».

В двадцатых годах во время службы в Туркестанском военном округе случилось ему быть свидетелем сильного землетрясения, и тогда тоже вот так же волновались и выли собаки. Но в широтах, где проживал ныне однорукий счетовод, стихия вела себя смирно, ничего страшнее буреломов и незначительного выхода Тёпы из берегов отродясь не бывало.

Не зная, как объяснить поведение животного, Волков вернулся в избу.

Приближение чего-то необыкновенного почуял как будто и кабан Борька. С вечера он визжал и хрюкал под дверью и, когда Нюра его выпустила, долго не мог найти себе место и метался по комнате, забиваясь то под печь, то под лавку.

В ту ночь Нюра долго не засыпала. Вспоминала Чонкина, всю свою жизнь и всякую ерунду, много чего лезло в голову.

Потом приснилось ей, будто идет она с Чонкиным по какому-то полю, он держит ее за руку и спрашивает, далеко ли еще, а она отвечает: нет, совсем недалеко. И встречает их подполковник Лужин в одних кальсонах и галошах на босу ногу и говорит: «Вот, Беяшова, я как раз хотел предложить вам вместо вашего Чонкина этого, может быть, он вам подойдет». Нюра смотрит на Чонкина, а он ей подмигивает, мол, соглашайся, потому что я – это я и есть. И Нюра пытливо смотрит на него и никак не может понять, настоящий ли это Чонкин или какой-то другой, подделанный под настоящего. Тут же появляется Любовь Михайловна и приносит Нюре зарплату за три месяца. И вот они уже сидят за столом: и Нюра, и Чонкин, и Лужин, и Любовь Михайловна, и вдруг в комнату врывается Олимпиада Петровна и кричит не своим голосом:

– Свет! Свет! Какой ужасный свет!

И тут Нюра проснулась. И увидела не во сне, а наяву, что вся комната озарена каким-то действительно ужасным пронзительным и неестественным светом, по комнате мечется необычно высокая Олимпиада Петровна и что-то кричит. Нюра слетела с лавки, глянула в окно и тоже закричала. Все пространство за окном было залито этим пронзительным мертвым светом без теней, речка Тёпа пылала, огромное пламя клубилось над ней, казалось, по всей длине. Пламя как будто двигалось от речки к деревне, было похоже, что вот-вот все займется, все запылает.

– Что это? – услышала Нюра за спиной шепот Олимпиады Петровны.

– Не знаю, – сказала Нюра.

Тут с неба на середину улицы опустилась длинная фигура в белом. Воздев руки кверху, фигура часто перебирала ногами и

подпрыгивала, словно исполняя какой-то шаманский танец. Вдруг она повернулась к Нюре белым лицом и глаза ее страшно сверкнули.

– Ай! – закричала Нюра, узнав в фигуре покойника Гладышева.

Потом появились на улице другие фигуры в белом. Это народ, видя наступление конца света, высыпал наружу в одном исподнем. Какой-то ошалелый петух, решив, вероятно, что проспал день, вскочил на забор, захлопал крыльями и пронзительно закричал.

Между тем наиболее хладнокровные люди, приходя в себя, осознали, что этот ужасный слепящий свет исходит от каких-то машин, полукольцом охвативших деревню. Сколько их было – пятьдесят? сто? тысяча? – впоследствии высказывались самые разные версии. В этом свете пар, клубившийся над речкой Тёпой, казался пламенем.

Потом уже стало известно, что это была разработанная Там Где Надо и блестяще проведенная операция, за которую руководители ее получили награду, которая впоследствии многократно упоминалась в различных приказах, инструкциях и тактических разборах. Спустя три года она была блистательно повторена маршалом Жуковым на Кюстринском плацдарме и навсегда осталась в истории. Люди еще только приходили в себя, когда в деревню въехал грузовик с торчащими в разные стороны раструбами вроде граммофонных, но гораздо больших размеров.

– Внимание! – кричал оглушительный лающий голос. – Всем жителям деревни приказываю: взяв с собой самое необходимое, не более двадцати килограммов на человека, собратся перед конторой для погрузки на автомобили. На сборы дается сорок минут. Опоздавшие будут доставлены принудительно. К уклоняющимся будут применены все меры воздействия вплоть до оружия. Внимание!..

Медленным ходом машина прошла из конца в конец деревни и обратно, многократно вылаивая приказ.



Затем часть машин, освещавших операцию, перегруппировалась, небольшая колонна вошла в деревню и выстроилась напротив конторы, остальные машины продолжали светить. Вместе с колонной въехала новенькая «эмка» и, поблескивая лаком, стала чуть в стороне. Задняя дверца открылась, из нее медленно вылез человек небольшого роста в белых бурках, прошитых кожаными полосками, в шинели с меховым воротником, в высокой папахе, в очках, в белых перчатках. Он выбрался на ступеньку, спустил одну ногу на землю и так и остался стоять – одна нога на земле, другая на ступеньке, а правая рука застыла на полуоткрытой дверце. Так этот человек и стоял, не двигаясь ни туда, ни сюда, словно в остановленном кинокадре.

Он стоял в стороне и со стороны наблюдал то, что происходило перед его глазами, как бы не имея к этому прямого отношения. Но именно он и был главным организатором и руководителем этой удивительной по своему замыслу и масштабу операции. Он стоял один, никто из группы стоявших неподалеку более мелких командиров не решался к нему приблизиться, но стоило ему двинуть хоть одним членом, как любой из них или все вместе кинулись бы со всех ног выполнять любое его приказание.

Это был Лужин.

Он стоял, он слышал крики, ругань, плач и вопли отчаяния, но ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое не задевало струн его души, не возбуждало в нем сострадания, его заботило только, чтобы погрузка живого товара была произведена в срок и, по возможности, без излишнего шума.

Старуха Олимпиада Петровна никак не могла примириться с неизбежностью. Время от времени кидалась она к обступившим толпу вертухаям.

– Товарищи! – взывала она, показывая на Вадика. – Этот мальчик – сын политработника Красной Армии.

Вертухай воротили морды, Вадик кричал: «Бабушка!» – и хватал ее за подол.

Нюра видела все как во сне. Вдруг появился перед ней подталкиваемый вертухаями Гладышев с Гераклом на руках. Нюра больше не удивлялась. Видимо, наступил Страшный суд и мертвые поднялись.

Потом уже выяснилось, что свое самоубийство Гладышев симулировал. Что на самом деле все это время он скрывался в подвале, отчего Афродита и не желала поселения к ним чужих людей. Только по ночам он выбирался и спал с женой. И вот, тепленького, его выгребли вместе со всеми.

Нюра потом не могла вспомнить, что за чем происходило, как очутилась она в машине рядом с семейством Гладышева – все вспоминалось кусками.

Но вот погрузка закончилась. Вертухай закрыли борта и разместились на отдельных скамейках, спиной к кабине, лицом к охраняемым. Уже головная машина разворачивалась перед конторой, уже Лужин подтянул левую ногу, чтобы поставить ее рядом с правой на ступеньку своей легковушки, когда слышались возгласы:

– Стой! Стой!

И взору отъезжающих открылась великолепная в своем роде картина. Два дюжих вертухая, схватив за руки, бегом катили по улице на колесиках инвалида Гражданской войны Илью Жикина.

Головной грузовик остановился, и на нем снова откинули задний борт.

– Раз-два взяли!

Вертухай с ходу подхватили инвалида под мышки и стали раскачивать, чтобы забросить в кузов. Тут случилось непредвиденное. Жикину удалось вырвать правую руку, и он, падая, успел залепить ею в глаз левого вертухая. Тот ухнул, схватился за глаз и выпустил Жикина. Но в это время другой вертухай успел опять схватить правую руку Жикина, находившегося уже в состоянии свободного падения. Укороченное тело Жикина дернулось, и самодельная тележка, к которой он был приторочен ремнями, с размаху ударила вертухая по ногам чуть ниже колен. Тот рухнул как подкошенный и, истошно вопя, корчился в пыли. Его товарищ двумя руками держался за подбитый глаз. Сам Жикин лежал неподвижно чуть в стороне, поблескивая колесиками, как потерпевший аварию автомобиль.

Еще два смельчака кинулись к Жикину, но он снова ожил и, дернув одного из этих двоих за ногу, ухитрился повергнуть и его.

Тут подвалила целая свора. Сгрудившись над Жикиным, они матерились и ухали, видимо, били и мяли наглеца, но тот не кричал.

Среди некоторых отъезжающих прошел ропот. Кто-то выкрикнул:

– Фашисты!

Роман Гаврилович Лужин, видимо, осознал, что текущая сцена может произвести неприятное впечатление на отъезжающих, и, ничего не говоря, хлопнул в ладоши. И хлопнул-то несильно, только сделал вид, что хлопнул, а если б даже и сильно, кто бы его услышал? Но только он хлопнул – сцена вмиг переменилась. На земле остались только сам Жикин и тот, которого он стукнул тележкой.

– Вы! – сказал Лужин кому-то из командиров и поманил его вялым пальцем.

Тот подбежал, козырнул и вытянул руки по швам.

– Этого, – сказал Лужин и медленно повел рукой чуть вниз и в сторону.

– Расстрелять? – еще больше вытянулся командир.

– Отпустить! – сказал Лужин.

Жикина поставили на колесики, подтолкнули, и он, не потрудившись выразить благодарность за проявленный гуманизм,

быстро покатыл по улице, отталкиваясь от земли своими гибкими, как у обезьяны, руками, и вскоре скрылся во мраке.

Как только колонна перестроилась, все фары тут же погасли. Машины, освещавшие операцию, подстраивались в полной темноте.

В Долгов прибыли в том же количестве, в каком выезжали из Красного. Дед Шапкин по дороге тихо скончался, зато Нинка Курзова родила мальчика и назвала его впоследствии в честь деда по отцу Никодимом. Плечевой, оставаясь во всех обстоятельствах человеком крайне несерьезным, предлагал, учитывая обстоятельства рождения мальчика, назвать его Энкаведимом.

Председатель Голубев избежал общей участи, потому что в ту ночь находился в областном городе. Накануне его вызвал к себе Петр Терентьевич Худобченко, который был с ним мил и приветлив. От Худобченко Голубев узнал, что его персональное дело отменяется, поскольку было возбуждено против него врагами народа в порядке избиения партийных кадров.

Тут же Худобченко извлек из сейфа голубевский партийный билет и сказал:

– На, возьми. В вопросе об уборке урожая ты занял правильную позицию и отстаивал ее по-большевистски, но в другой раз кидаться билетом все же не рекомендую.

Голубев на радостях напился, переночевал в обкомовской гостинице, встал затемно и утро встретил в пути.

По дороге он думал о прихотях судьбы. Вчера еще был готов к любому результату своего дерзкого поведения, к тому, что если его не расстреляют, то по крайней мере посадят, а тут вот все как обернулось. Ревкин и Чмыхалов сидят, а он едет домой с партбилетом в кармане.

Вспомнился разговор с прокурором, его слова о том, что рано или поздно все равно окажешься виноват, все равно накажут.

«Наказать-то накажут, – думал председатель, – но когда и за что, не угадаешь, и потому нужно вести себя как считаешь правильным».

Утро было свежее, лошадь бежала шибко. Председатель, подняв воротник полушубка и спрятав руки в карманы, полудремал после недосыпа в гостинице. Шуршали колеса, поскрипывали рессоры. Возле деревни стало ощутимо потряхивать. Голубев открыл глаза и увидел, что дорога сильно повреждена двумя глубокими колеями, которые вряд ли могли сделаться от одной даже очень тяжелой машины. Председатель удивился, но не придал этому значения, мало ли что могло произойти и мало ли кто мог проехать. Видимо, прошла какая-то военная колонна, но для чего ей было идти по этой уходящей от главного тракта и, по существу, тупиковой дороге, было непонятно. Впрочем, в этой жизни было так много непонятного, что можно было уже перестать удивляться. Он разобрал вожжи и повел лошадь краем дороги, чтобы не опрокинуться в колею.

За бугром, от которого открывался вид на деревню, встретился ему кабан Борька, видимо, поджидавший Нюрино возвращение. Сама же деревня Голубева чем-то удивила, он не понял чем. Но что-то в ее привычном как будто виде было странно, он только потом, много позже, догадался, что странное заключалось в том, что ни из одной трубы не шел дым. Когда он приблизился, ему показалось еще страннее. В деревне стоял непрерывный тоскливый вой, это выли собаки и мычала скотина. Ворота дворов и двери большинства изб были распахнуты настежь, на изрытой неизвестными машинами дороге валялись оброненные кем-то случайные вещи – соломенная шляпа, детская распашонка, банка с огурцами, что-то еще. Голубев остановил лошадь возле Нюриной избы и постучал кнутовищем в окно. Никто не отозвался.

– Эй, есть тут кто живой? – прокричал председатель.

То же самое прокричал он и у окна Гладышева. И там никто не отозвался.

Контора колхоза тоже была открыта, председатель поднялся туда, на полу было много грязных следов от сапог, валялись окурки и газета «Правда» от позавчерашнего числа. Он, естественно, кинулся к сейфу, но сейф, по всей видимости, не был тронут; в нем все оказалось на месте. Тогда председатель оставил контору как есть и поехал домой. Дома тоже никого не было. На столе в кухне стояла немытая посуда. Постели были не застелены. Повсюду виднелись следы поспешного бегства. Вещи были разбросаны по всему дому. Сундук стоял с откинутой крышкой. На столе догорала керосиновая лампа. Не было ни жены, ни детей. Потом на полу он нашел записку старшего сына Гриньки: «Папа, нас увозят».

Иван Тимофеевич сел за стол, обхватив голову руками, и задумался. Что значит «нас увозят»? Неужели же всех подряд, включая стариков, женщин и детей? По всему выходило, что так. А куда, для чего? И к чему такая спешка? Эвакуация? Но, судя по сообщениям газет, если им можно верить хоть сколько-нибудь, немцы были еще слишком далеко.

Голубев сидел, думал, потом спохватился, побежал в контору, позвонил Борису. Тот ничего вразумительного объяснить не мог, но посоветовал сидеть на месте и не рыпаться.

Голубев вернулся домой, связал в узел подушку и одеяло, перетащил в контору. В опустелой избе бабы Дуни нашел два ведра самогону и тоже отнес в контору. Там он заперся, пил, топил печку и опять пил, лежал на диване, вскакивал, размахивал руками, снова ложился и снова вскакивал и все думал, думал, думал, иногда – про себя, а чаще – вслух, отчего складывается такая идиотская жизнь. Кто в этом виноват: люди или система? И никак не мог добраться до истины: с одной стороны, вроде люди формируют систему, а с другой стороны, вроде система из них же и состоит.

Время от времени звонил телефон, и представители разных организаций запрашивали сведения о поставках молока и мяса, о дополнительной сдаче в армию конского поголовья, о подготовке семенного фонда, что-то спрашивали насчет скота, опороса, количества кур-несушек и заготовок кормов.

– Все идет по плану, – отвечал Голубев и клал трубку.

Ему звонили снова: как по плану, когда то не делается, того нет, а это не поступало?

– Все по плану, – повторял Голубев и клал трубку.

Он еще не допил первого ведра, когда его, заросшего бородой и опухшего, арестовали за срыв всех поставок и контрреволюционный саботаж.

Трясаясь в «воронке», Голубев припомнил все, что рассказывал Леша Жаров, как встречают в тюрьме новичков, и ему стало как-то не по себе. Он представил себе явственно, как блатари ради потехи устроят ему «выборы», а потом и «воздушный десант». Нет, нет, этого ни в коем случае нельзя допустить. Надо сразу поставить себя так, чтобы это было совсем невозможно. Уж пусть лучше зарежут. Он вспомнил кое-что еще из того, что рассказывал ему Жаров, и подготовился к вступлению в новую жизнь.



В камере № 1 тюрьмы № 1 жизнь шла своим чередом. С тех пор как отсюда убрали Чонкина, здесь мало что изменилось. Так же поднимали людей по утрам, так же заставляли выносить парашу, так же трижды в день кормили баландой, ну, может быть, чуть пожиже. Профессор Цинубель дорвался до власти – его назначили старостой камеры. Теперь он спал не у параша, а на нижних нарах.

Новый день в неволе только еще начинался, каждый проводил его как умел. Запятаев и Цинубель играли в шахматы, вылепленные из хлеба. На нарах грузин Чейшвили рассказывал кому-то из новичков все ту же лирическую историю, как он жил одновременно с двумя певицами.

Тут раздался ужасный крик, и пан Калюжный стащил с нар упирающегося Штыка.

– Будешь красты? Будешь красты? – приговаривал пан Калюжный, выкручивая Штыку и без того уже красное ухо.

– Пусти, падло, поносник, сазан сучий! – вопил Штык, пытаясь вырваться.

– В чем дело? – поднял голову Цинубель.

– Сало вкрав, – объяснил пан Калюжный. – Я шапку обменяв у вертухая за шматок сала, поклялся учора це сало пид голову, а зараз дывлюсь – немає.

– Отпустите его! – резко сказал профессор. – Это что еще за методы? Вася, ты брал это сало?

– Ты что, профессор? Не брал я, бля буду, век свободы не видать, не брал.

– Смотри, Вася, мы здесь в нашем коллективе воровства не потерпим. Как тебе не стыдно, Вася? И откуда это в тебе? Ведь ты родился не при старом режиме. Ты родился в новом обществе, навсегда ликвидировавшем социальную почву для преступности. Ведь ты же не навек сюда попал. Вот выйдешь на волю... Перед тобой все дороги... Куда же ты пойдешь с такими наклонностями?

– Кончай, профессор! Душа из меня вон, не брал я это вшивое сало. Эх, суки, – взъярился он вдруг, – пахана на вас, фраеров, нет, он бы, бля, вас покурочил, он бы вас научил свободу любить.

– Да, Вася, – грустно сказал профессор, – видно, долго еще надо с тобой работать, чтобы сделать из тебя настоящего человека.

– Иди ты, профессор, на... – Он отошел в угол, снял штаны и сел на парашу.

Конфликт, однако, сам собою как-то угас. Калюжный, смирившись с потерей, полез к себе на нары. Профессор с Запятаевым сосредоточились над неуклюжими своими фигурками. Штык, сидя на параше, задумался.

Жизнь его складывалась неудачно. Был он начинающим щипачом, то есть шарил по карманам. Много раз попадался. Били его в трамваях и в поездах, однажды даже на ходу скинули под насыпь. И мечтал он всегда о том, что найдется пахан, возьмет его под свое покровительство. «Не трожьте, – скажет, – суки, пацана. Он мой шестерка».

И тут дверь в камеру распахнулась, на пороге появился грузный, свирепого вида бородатый человек в полушубке и в шапке, надвинутой на глаза. Это был Иван Тимофеевич Голубев. Он видел устремленные на него глаза, которые смотрели, как ему показалось, очень враждебно. Особенно страшными показались ему эти двое, которые, стоя над табуреткой, играли в какую-то странную игру, наверное, кого-то проигрывали. «Бандиты! – внутренне содрогнулся Иван Тимофеевич. – Сейчас начнут издеваться или просто зарежут. Нет, надо сразу показать, что не на того напали».

Дверь за спиной захлопнулась, проскрежетал ключ. Голубев остался на пороге один на один с этой сворой бандитов.

– Вы что, суки-падлы, законов не знаете? – закричал он сразу на всех, делая свирепые глаза и холодея от страха.

– Ты что? – не отрываясь от параша, поднял голову Штык. – Блатной или голодный?

– Отвали, поносник! – Голубев, не раздумывая, дал ему сапогом под зад, и Штык слетел с параша, едва ее не опрокинув.

– Ты что? Ты что? – закурился по камере Штык, одной рукой придерживая штаны, а другой держась за ушибленный зад.

– Полотенце! Где полотенце, суки позорные? – сходил с ума новичок и свирепо таращил свои глаза.

Штык первым сообразил, в чем дело. Одной рукой продолжая держать штаны, другой он схватил свисавшее с нар чье-то грязное

полотенце и издалека бросил его грозному новичку. Тот поймал полотенце на лету, швырнул себе под ноги и стал вытирать об него сапоги.

– Пахан! – ахнул Штык. – Бля буду, самый настоящий пахан! – выкрикивал он возбужденно и восхищенно. И наконец решился приблизиться к новичку и, глядя на него снизу вверх, заискивающе спросил: – Как тебя называть, папа?

Голубев слегка растерялся. Он хотел было сказать свою фамилию и имя-отчество, но вспомнил, что у воров должны существовать воровские клички. И не имея времени придумать что-нибудь поудачнее:

– Председатель! – сказал он, швыряя полотенце в парашу.

В начале октября 1941 года адмирал Канарис получил от своего личного агента следующее донесение:

«В Долгове органами НКВД раскрыт крупный заговор, возглавлявшийся неким Иваном Голицыным, представителем одной из самых аристократических фамилий старой России. Как я уже сообщал, за некоторое время до этого на территории района действовала так называемая банда Чонкина. Авторитетные источники полагают, что Чонкин и Голицын – одно и то же лицо.

Местные власти и органы пропаганды пытаются приуменьшить масштабы заговора, но, судя по проводимым мероприятиям, сами относятся к происшедшему с наивысшей серьезностью.

Газеты полны многозначительных намеков, скрытых угроз, призывов к бдительности и укреплению дисциплины, заклинаний в поголовном патриотизме и преданности населения советскому строю.

В колхозах, совхозах, на предприятиях местной промышленности, в школах и детских садах проводятся громкие митинги с истеричными требованиями расправы над бунтовщиками.

Судя по циркулирующим среди населения слухам, волнениями охвачена большая часть территории района.

Власти принимают срочные меры по ликвидации последствий заговора. В город введены не менее двух мотомеханизированных частей НКВД особого назначения, а в ближайшем лесу расположилась танковая бригада. В городе идут повальные аресты руководящей партийной верхушки во главе с первым секретарем районного комитета ВКП(б) Андреем Ревкиным.

Приняты решительные меры по усмирению мятежного населения. Так, например, жители деревни Красное, где располагался штаб Голицына-Чонкина, депортированы в Долгов и размещены в местной школе-семилетке, огороженной колючей проволокой и превращенной во временную тюрьму (в дополнение к уже имеющейся постоянной). По слухам, всех их, кроме детей моложе двенадцати лет, ждет самое суровое наказание. (По советским законам дети от двенадцати лет несут ответственность перед законом в полном объеме наравне со взрослыми.)

На одной из центральных площадей города выставлен для показа населению самолет устаревшей советской конструкции с оторванным крылом, принадлежавший заговорщикам.

Насколько мне удалось выяснить, князь Голицын является представителем белоэмигрантских кругов и находящейся в изгнании царской фамилии, действовавших по заданию Германского верховного командования. Если это так, то я крайне удивлен, дорогой адмирал, что полковник Пиккенброк не позаботился о том, чтобы связать меня своевременно с Голицыным-Чонкиным, сообщая мы могли бы действовать гораздо успешнее.

Судя по сообщениям газет, информации, почерпнутой из инструкций, рассылаемых партийным агитаторам, и других источников, основной целью заговора являлось широкое восстание местного населения против Советов (используя главным образом недовольство колхозной системой), захват данной территории и удержание ее до подхода германских войск.

Заговорщики были близки к цели, когда их постигла трагическая неудача. Однако, как мне кажется, еще не все потеряно. Более того, я считаю, что в районе сложилась весьма благоприятная обстановка для нанесения по нему решительного удара наших войск. Эта обстановка обуславливается следующими факторами:

1. Линия фронта на данном участке сильно ослаблена тем, что Советы вынуждены были оттянуть часть своих сил на подавление мятежа.

2. Население политически полностью подготовлено к смене власти.

3. Значительное число инициативных людей во главе с самим Голицыным, находящимся сейчас под стражей, смогут составить крепкое ядро для создания учреждений самоуправления, тыловых соединений и отрядов местной полиции. С их помощью можно будет развить и закрепить успех, достигнутый нашими войсками».

В Долговском Доме культуры железнодорожников готовится театрализованное представление – «Процесс князя Голицына». Суд открытый при закрытых дверях. Вход свободный – по пропускам.

Действующие лица и исполнители:

Князь Голицын – Иван Чонкин  
 Государственный обвинитель – прокурор  
 Евпраксеин  
 Председатель суда – полковник Добренький  
 Члены суда – майоры Целиков и Дубинин  
 Секретарь суда – пожилой толстый сержант без  
 фамилии  
 Защитник – член областной коллегии адвокатов  
 Проскурин  
 Участвуют лжесвидетели, лжеэксперты,  
 лжезрители и прочие лжечеловеки.

Посреди просторной, хорошо освещенной сцены длинный стол, покрытый красной материей, и три дубовых стула с высокими спинками. В левом углу сцены, за деревянной перегородкой, на табуретке, исполняющей роль скамьи подсудимых, сидит Иван Чонкин – исполнитель роли князя Голицына. Роль князя явно ему не подходит – как был Чонкиным, так Чонкиным и остался. Маленький, щуплый, лопухий, в старом красноармейском обмундировании, он сидит, раскрыв рот, и крутит во все стороны стриженной и шишковатой своей головой. А по бокам двое конвойных. Такие же лопухие, кривоногие, любого из них посади на место Чонкина, Чонкина поставь на их место – ничего не изменится.

Между Чонкиным и длинным столом за столиком маленьким прокурор Евпраксеин, напялив на нос очки, перебирает лежащие перед ним бумаги.

На другой стороне сцены за такими же маленькими столиками – секретарь суда и защитник.

Защитник, плюгавый человек в перелицованном костюме (пуговицы на левой стороне), подслеповатый, весь скрючился, вывернул голову, как петух, и, касаясь левым ухом крышки стола, что-то размашисто пишет на разровненных тетрадных листах, и рука его рывками движется по бумаге. Он, видимо, решил исполнить роль свою во всем блеске, поразить публику красноречием, он, изображая из себя этакого Плевако в местных масштабах, время от времени взглядывает на прокурора, дергает шеей и даже как будто подмигивает, как бы давая противной стороне понять, что ей следует заранее смириться со своим поражением. Пока защитник смотрит на прокурора, рука его соскальзывает с бумаги и заканчивает фразу на крышке стола, а иной раз соскальзывает и с крышки.

Не вполне понимая, для чего его сюда привели, Чонкин вертит головой, с любопытством поглядывая на прокурора, на защитника, на конвойных и вниз, на публику, которая тоже смотрит на него с любопытством.

Публика разочарована. Она ожидала увидеть князя, какого-нибудь усатого, мордатого, может быть, даже свирепого, в черкеске какой-нибудь с газырями или в белогвардейском мундире с невыгоревшими пятнами на месте сорванных погон и крестов. Но перед нею не князь, а черт знает кто.

Если заглянуть за кулисы, то там, как и полагается перед премьерой, находятся режиссеры: майор Фигурин, полковник Лужин и маленький, сухонький, с подстриженными седыми усиками пожилой дядя в потертом пиджачке. Внешне дядя похож на какого-нибудь, скажем, банщика или привратника при гостинице, но он не банщик и не привратник, он генерал, прибывший из Москвы для наблюдения за процессом. Заложив руки за спину, тихим голосом, каким умеет говорить только очень большое начальство, он дает последние указания трем еще не вышедшим на сцену артистам: председателю и членам суда.

Тут же, за кулисами, болтается пока без дела детский писатель Алексей Мухин. Ему поручено в образной форме рассказать в печати не только «нашей читающей детворе», но и взрослым читателям о строгом, беспристрастном и справедливом суде над подлым изменником родины, показать истинное лицо его приспешников.

Приезжий генерал, закончив инструктаж, посмотрел на Лужина, все ли готово, Лужин посмотрел на майора, майор кивнул Лужину, Лужин кивнул генералу, генерал толкнул в живот полковника Добренького:

– Ладно, идите.



Из-за кулис на сцену выходят трое. Первый – председатель выездной сессии Военного трибунала полковник Добренький с папкой в руках. Лицо одутловатое, нос фиолетовый, глазки маленькие. За ним два члена суда, два майора, два мрачных типа – Целиков и Дубинин.

СЕКРЕТАРЬ (вскакивая, торжественно). Прошу встать! Суд идет!

Грохот откидываемых сидений, все встают. Вошедшие занимают места за длинным столом: председатель посередине, члены – по бокам. Председатель кладет перед собой папку и развязывает тесемки.

СЕКРЕТАРЬ. Прошу садиться.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (после небольшой паузы, глядя в зал). Слушается дело по обвинению Голицына Ивана Васильевича в измене родине, контрреволюционном саботаже, вооруженном разбое, антисоветской агитации и других преступлениях. Подсудимый, встаньте!

Чонкин, думая, что обращаются к кому-то другому, сидит.

Подсудимый, я вам говорю. Встаньте!

ЧОНКИН (тыча себя пальцем в грудь). Я?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (улыбаясь). Уж не я ж. (Строго.) Встаньте.

Чонкин встает, двумя руками держится за перила перегородки.

Подсудимый, назовите ваше имя, отчество и фамилию.

ЧОНКИН. Мое?

Смех в зале.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (сердится). Подсудимый, здесь вам не цирк, а заседание Военного трибунала. Я вам советую не валять дурака и четко отвечать на вопросы. Ваша фамилия?

ЧОНКИН (неуверенно). Раньше был Чонкин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. А теперь?

ЧОНКИН (подумав). Не знаю.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Что значит – не знаете? На предварительном следствии вы показали, что являетесь врагом народа князем Голицыным, ставленником белоэмигрантских кругов и международного капитала. Вы подтверждаете свои показания? (Чонкин молчит.) Подсудимый Голицын, у вас есть отводы к составу

суда? Нет? Садитесь! (В зал.) Суд приступает к слушанию обвинительного заключения.

Всякому спектаклю предшествуют репетиции. Может, потому, что Чонкин оказался плохим артистом, его мучили долго. Особо важные следователи наехали из Москвы и работали посменно. Они допрашивали его много суток подряд, не давая ни спать, ни есть. При плотно зашторенных окнах ровным желтым раздражающим светом горела лампочка, он не знал, когда день, когда ночь, всякое движение времени полностью прекратилось.

Следователи долбили одно и то же: кем заслан? Какое задание выполнял? С кем был связан?

Чонкин, видя, что ни один из его ответов их устроить не может, совсем озверел и на все вопросы отвечал одной фразой: «Кому надо, тот знает». За время следствия он отощал, постарел, засыпал прямо на допросах, иной раз терял сознание. Его хлопали по щекам, отливали водой, усаживали на стул и опять спрашивали: кто, где, когда, шифры, пароли, явки и адреса. Он, еле ворочая сухим ошершавевшим языком, тупо и бессмысленно повторял: «Кому надо, тот знает». Следователи говорили: «упорный очень», самые невозмутимые выходили из себя, кричали, топали ногами, пускали в ход кулаки и даже плевались. Один из них, доведенный до ручки, рухнул перед Чонкиным на колени: «Ты, ирод проклятый, себя не жалеешь, так хоть меня пожалей, у меня же семья!»

Мучения Чонкина кончились, когда за дело снова взялся майор Фигурин. Разобравшись в обстановке, Фигурин накормил Чонкина, напоил чаем, угощал длинными папиросами, от которых сладко кружилась голова, и говорил по-хорошему, как человек с человеком.

– К сожалению, Ваня, среди наших работников тоже не все святые. Служба такая, что иной раз поневоле ожесточишься. К тому же люди, которые к нам попадают, не всегда трезво оценивают обстановку, не всегда правильно могут оценить, что от них требуется. Вот, скажем, мы берем человека и говорим ему: «Ты наш враг». Он не соглашается, он возражает: «Нет, я не враг». Да как же это может быть? Если мы арестовываем человека, он, естественно, нас ненавидит. А если он при этом считает себя невиновным, то ненавидит вдвойне и втройне. А раз ненавидит, значит, враг, значит, виновен.

Поэтому, Ваня, я лично считаю злейшими врагами именно невиновных.

Майор Фигурин не хотел возводить на Чонкина напраслину и приписывать ему то, чего не было.

– Я не сторонник таких методов. Я пользуюсь в своей работе только фактами, а не домыслами. Значит, в деревню Красное ты прибыл по заданию своего командования. Так?

– Так, – согласился Чонкин.

– Тебе дали винтовку, патроны, посадили в самолет и отправили в Красное? Так?

– Так.

– Ну, значит, так и запишем: «Получив задание своего командования, я был снабжен оружием, боеприпасами и воздушным путем заброшен в деревню Красное». Правильно?

Чонкин пожал плечами: вроде правильно.

– Пойдем дальше. Тебя оставили одного, стоять скучно, ты стал смотреть туда-сюда, увидел Нюру, помог ей на огороде, выпили, остался ночевать, потом познакомился с другими жителями, разговаривал с ними о том о сем, интересовался, как живут... Я ничего не путаю?

– Нет.

– Хорошо, запишем: «По прибытии к месту своей будущей деятельности вел визуальное наблюдение, заводил связи, устанавливал контакты, выяснял настроения, вступил в незаконные отношения с Беляшовой...»

– Э-э! – всполошился Чонкин, чуя подвох. – Как же это незаконные? Я ж не насильничал, я ж по согласию.

– А я ничего такого и не говорю, – сказал майор. – Я имею только в виду, что ты с ней не был расписан. Это же правда?

– А, это-то? – сообразил Чонкин. – Это-то да.

Нет, что ни говори, понял Чонкин, а следовательно следовательно рознь. Майор Фигурин ото всех выгодно отличался тем, что не кричал, не топал ногами, не замахивался и дурацких вопросов не задавал, писал все как есть, хотя, правду сказать, писал словами какими-то мудреными, приобретающими зловещий смысл. А то, что майор добавил насчет мировой буржуазии, эмигрантских кругов, бывших помещиков и капиталистов, про это, Чонкин знал, ученые люди и в

газетах писали, на собраниях говорили, об этом и политрук Ярцев на политзанятиях твердил постоянно.

Майор с Чонкиным вел себя по-хорошему, и Чонкин с майором вел себя по-хорошему и на каждом листе, который ему был предложен, аккуратнейшим образом вывел: «Чонкин». Что-что, а это уж он умел, даже майор его похвалил: «Здорово, – говорит, – у тебя получилось», – и фамилию Голицын всюду проставил в скобках.

Спектакль на сцене разыгрывался, как и полагается, в полном соответствии с заранее написанной пьесой.

Вызванные на сцену эксперты исследовали вещественные доказательства – винтовку образца 1891/30 года и ордер на арест подсудимого. Зачитав результаты дактилоскопической, баллистической и химической экспертиз, они неопровержимо доказали, что отверстие в ордере является пулевым, произведено выстрелом из данной винтовки, которой в момент выстрела пользовался подсудимый.

Экспертов сменили свидетели, доставленные в зал суда под конвоем.

Свидетель Гладышев показал, что подсудимый с первой минуты своего появления в деревне Красное вел разнузданный образ жизни, покинул пост, вступил в сожителство с почтальоном Беяшовой, пьянствовал, вел провокационные разговоры, допустил потраву огорода, имеющего неопределимое научное значение, оказал сопротивление властям. О том, что под личиной рядового Чонкина скрывался князь Голицын, свидетель якобы не знал, но поведение подсудимого вызвало в нем подозрение, что это не наш человек, наши люди, а тем более воины Красной Армии, так вести себя не могут.

Особое возмущение зрителей вызвали показания Ревкина, который признал, что, будучи участником тайной троцкистской группы, захватил пост секретаря райкома, действовал под прямым руководством подсудимого, систематически занимался избиением партийных кадров, прилагал все меры к развалу идейно-политической и воспитательной работы среди населения. При помощи людей, поставленных им на ключевые посты, искусственно вызывал постоянное падение урожайности, снижение продуктивности животноводства, вел курс на обнищание колхозного крестьянства с тем, чтобы настроить его против советской власти.

Свидетель Курт Филиппов, пробравшись по заданию германской разведки в органы НКВД, осуществлял прямую связь между подсудимым и верховным командованием Третьего рейха...

Во время допроса Филиппова майору Фигурину позвонили и сообщили, что прибыли наконец скандинавы. Скандинавов ждали еще

с утренним поездом, но поезд задержался в пути, неизвестно было, придет или не придет, думали даже перенести прения сторон, последнее слово и вынесение приговора на другой день, однако все обошлось.

Майор доложил о звонке приезжему генералу, тот сказал:

– Очень хорошо, пойді проинструктируй.

В коридоре перед своей приемной Фигурин застал группу молодых людей, сидевших на стульях вдоль стены. Опытный глаз сразу мог бы определить в молодых людях столичных жителей, вели они себя чуть развязнее, чем обычно ведут себя люди в учреждениях подобного типа, а впрочем, и во всяких других учреждениях тоже.

Приезжих было девять человек – восемь парней и одна девица в беретке набекрень. В ярко накрашенных губах девица держала дешевую папироску и любезничала с сидевшим рядом с ней молодым человеком с бородкой, усиками и такими длинными волосами, за которые по тем временам могли и посадить.

– Здравствуйте, товарищи, – поздоровался на ходу Фигурин, и весь этот сброд нестройно ему ответил.

Фигурин поинтересовался, кто из них старший. Поднялся тот самый с бородкой и длинными волосами, Фигурин пригласил его к себе.

В кабинете бородач предъявил свои полномочия, Фигурин объяснил ему, что к чему, затем позвонил директору Дома культуры железнодорожников, приказал: во время перерыва в судебном заседании принять приезжую группу, дать возможность ознакомиться с залом и оказать необходимое содействие в подготовке им рабочего места.

Директор, маленький суетливый человек, встретил приезжих почтительно, с блокнотом в руках и с выражением готовности ко всяческим услугам на лице.

Бородач, пожав директору руку, представился, сказал, что его зовут Федор Шилкин, про других сказал: «А это мои люди».

В зале, на время перерыва очищенном от публики, приезжие рассредоточились: Шилкин сел в первом ряду, двое других на некотором расстоянии друг от друга в четвертом, один в седьмом, опять двое в десятом, девица в беретке в тринадцатом и последние двое в шестнадцатом.

– Так. – Шилкин встал и повернулся лицом к залу. – Все на местах? Хорошо. Приготовились! Люся, перестань курить! Поехали. Три-четыре!

Все приезжие вскочили на ноги и, к большому удивлению директора (ему, провинциалу, раньше такого видеть не приходилось), начали, хлопая в ладоши, хором скандировать:

На-ша Ма-ша е-ла ка-шу!  
На-ша Ма-ша е-ла ка-шу!

Так они повторили несколько раз. Покинув свое место, Шилкин передвигался по залу и с каждой новой позиции внимательно вслушивался в произносимые хором слова. Затем замахал руками:

– Все, спасибо, молодцы. Вам, – повернулся он к директору, – тоже спасибо. Акустика, конечно, не ахти, но ничего, работать можно. Эти места прошу зарезервировать.

– Будет исполнено, – послушно сказал директор, отмечая что-то в блокноте.

Закончив репетицию, приезжие отправились в столовую ИТР отovarивать свои рейсовые талоны.



В Москве, в Ленинграде, может быть, и в других больших городах, где сосредоточено много зрелищных заведений, существует особая категория граждан, которых – мужчин – называют сырами, а женщин – сырихами. Ни одно сколько-нибудь заметное театральное представление, будь то опера, балет или драма, не обходится без участия сыров и сырих. Они проникают на все премьеры, бурно реагируют на удачные реплики, громко хлопают, кричат «браво» или скандируют фамилии своих отличившихся на сцене кумиров. Сыры бывают универсальные, бывают приверженцы какого-нибудь одного вида театрального искусства. По преданности кумирам они в свое время делились на лемешистов, козловистов, качаловцев, яблочкинцев, улановцев и так далее. Федя Шилкин был обуховцем. Это не значит, что других артистов он вовсе не замечал, нет, будучи объективным знатоком оперы, он выделял многих артистов, но сердце его принадлежало только одной Надежде Андреевне Обуховой (меццо-сопрано). Федя гордился тем, что в Москве не пропустил ни одной оперы, ни одного концерта с участием любимой певицы (а бывало, ездил за ней и в другие города). И ни разу ни на один спектакль или концерт не пришел он без цветов, которые при его мизерной зарплате (Федя работал в какой-то малозаметной конторе на малозаметной должности) обходились ему не дешево. Ходил он в стареньком, штопаном, всегда одном и том же костюмчике, иной раз обходился без обеда, а то и без ужина, но на любом выступлении Обуховой неизменно появлялся с букетом, и не каким попало, а непременно – розы, гвоздики, ну в крайнем случае георгины.

Во время спектакля или концерта Федя попусту не кричал и в ладони не бил. Сидит чинно, ждет конца представления. Зато уж когда дадут занавес, когда артисты выходят с поклонами, тут Федя преображался. Подбежит к самой сцене, изогнется хищно, и букет, словно граната, летит к ногам любимой певицы. Надежда Андреевна, бывало, поднимет букетик и смотрит в зал, кому бы послать блуждающую свою улыбку. И тут с Федей как будто припадок случается.

– Бра-во! – кричит он. – Бра-во! – хлопает в ладоши, бьется в конвульсиях. – Бра-во! Бра-во!

Стоящие рядом с Федей смотрят на него, недоумевая, мол, псих какой-то. А Федя, красный от напряжения, глаза вытаращены, дергается и скандирует любимое имя:

– О-бу-хо-ва! О-бу-хо-ва!

И вокруг него создается такое как бы электрическое поле, что и стоящие рядом с ним, иногда даже весьма флегматичные и далекие от искусства люди, сами того не замечая, впадают постепенно в экстаз и вместе с Федей начинают скандировать то, что скандирует он. Сам Федя признавался, что в такие минуты, когда он выбегает к сцене, швыряет цветы и скандирует что-нибудь, он испытывает то высшее наслаждение, которое испытывает человек от любви или водки.

Неизменная и бескорыстная преданность Феде искусству и лично Обуховой в конце концов была вознаграждена тем, что Надежда Андреевна заметила его и выделила из среды многих своих поклонников. Среди сыров и сырих стал широко известен случай, как однажды, в дождливый вечер, выйдя после спектакля из театра, где ее ожидала толпа терпеливых поклонников и поклонниц, она скользнула взглядом по восторженным лицам, отыскала среди них лицо Феде и, улыбнувшись лично ему, попросила: «Федя, будь добр, слови мне такси».

И потом, садясь в машину с охапкой цветов, отбиваясь от наседавших других сыров, она на протянутой Федей открытке со своим изображением не просто расписалась, как делала это в других случаях, а четко начертала: «Феде – Обухова».

Федя эту открытку в рамочке пристроил у себя на стене и всем соседям, родственникам и знакомым в тысячный раз рассказывал историю этого автографа, как он стоял у служебного входа, как вышла Обухова, как отыскала глазами Феде, как, улыбнувшись (Федя очень похоже изображал ее интонацию), попросила: «Федя, будь добр, слови мне такси».

Среди слушателей встречались люди, абсолютно глухие к искусству, на них рассказ Феде впечатления не производил, зато сыры сгорали от зависти.

Федина карьера прервалась самым неожиданным образом. Он жил в те романтические времена, когда Те Кому Надо вели неустанную

борьбу за светлое будущее. Уничтожив эксплуататорские классы, одержав победу над буржуазными партиями, покончив навсегда (или надолго) со всяческой оппозицией, они стали наносить удары и по более мелким враждебным группировкам, как то: нумизматы, филателисты, баптисты, эсперантисты, преферансисты. Дошла очередь и до сыров. В одну прекрасную ночь их всех почти поголовно вынули из постелей и увезли в неизвестном направлении – на Лубянку.

Сгнули сыры, сгинул и Федя. Федина мама карточку Обуховой на всякий случай порвала и спустила в канализацию.

Скучно стало в театрах. Нет, театральная жизнь, конечно, продолжалась. Зрители покупали билеты и заполняли залы, актеры выходили на сцену и что-то играли, но атмосфера была не та. Не было той, что ли, взрывчатости, той высокой приподнятости, зрители хлопали вяло, цветы на сцену летели редко, на знаменитостей после спектакля никто не кидался, отчего некоторые из них запили.

Обухова с грустью рассказывала своим родственникам, друзьям и знакомым о тех временах, когда ее преследовали сыры и среди них был один самый преданный, который ей однажды словил такси.

И вдруг в театральных кругах пронесся слух – появился Федя. Его видели в Большом театре, он сидел во втором ряду.

А на сцене (в президиуме) сидели люди (и среди них, между прочим, Люшка Мякишева), игравшие роль знатных доярок, чабанов, свинопасов, создателей новых пород скота и зоотехников.

Представление называлось – Всесоюзное совещание передовиков животноводства. Выступавшие, войдя в образ, обещали достичь небывалых успехов в производстве мяса, молока, шерсти, в несении яиц и в самое ближайшее время по всем показателям намеревались догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны. (Во время работы этого совещания в адрес президиума поступила телеграмма от одной патриотической молодой мамы, назвавшей только что рожденных ею близнецов Догнатием и Перегнатием.)

Когда закончилось совещание и было принято приветственное письмо Центральному Комитету и лично товарищу Сталину и начались здравицы и овации, в зале послышались ритмичные выкрики, сперва неразборчивые, а потом все более мощные, и уже через несколько секунд весь зал стоя скандировал:

– Пе-ре-го-ним Сэ-Ше-А! Пе-ре-го-ним Сэ-Ше-А!

После этого деятельность Феди и его группы была одобрена в высших инстанциях, вся группа была зачислена в штат Учреждения под кодовым названием «скандинавы» (от слова «скандировать»). Группа оказалась совершенно незаменимой. Ни один сколько-нибудь значительный съезд, слет, сессия или митинг не обходились без участия скандинавов, и когда в газетных отчетах мелкими буквами было указано: «Бурные овации. Все встают и скандируют то-то и то-то», эти примечания могли появиться только благодаря Феде и его группе.

Конечно, некоторые из случайно уцелевших сыров относились к скандинавам презрительно, как к людям, изменившим высокому искусству. Отдельные высказывания сыров доходили до Феди, но он от них отмахивался, говоря, что настоящее искусство – то, которое прямо служит народу, и что он, Федя, от одного только торжественного обещания Алевтины Мякишевой надоить по четыре тонны молока в год от каждой коровы получает большее эстетическое удовлетворение, чем от любой, даже тонко исполненной арии какой-нибудь хваленой столичной певички.

В перерыве Павел Трофимович Евпраксеин пообедал и принял свои сто пятьдесят, чтобы привести себя в норму. Ему поручили быть государственным обвинителем (военный прокурор, который должен был исполнять эту роль, заболел), он не хотел, но подчинился – что поделаешь? – в кармане партбилет, а дома семья.

Правда, накануне, выпив побольше, он дома бузил и даже набросал какой-то проект: «Обвинения, предъявленные подсудимому, материалами дела не подтверждаются. Как прокурор я вношу протест, а как коммунист выхожу из...» Плакал, бил себя в грудь: «Сволочью больше не буду...» Клялся положить билет, «как Ванька Голубев». Утром, однако, встал в другом настроении, написанное вечером сжег, почистил костюм, ботинки и отправился выполнять свой солдатский долг.

Во время утреннего заседания, перечитывая свою речь, думал: «Что же, если не я, так другой. Ему все равно крышка, так неужели ж и мне вместе с ним?» Время от времени поглядывал он на Чонкина, и пару раз даже взгляды их встретились. Подсудимый, ему показалось, смотрит на него с надеждой, это Евпраксеину не понравилось. «Не надейся и не жди, – мысленно ответил он Чонкину на его взгляд. – Сам собрался тонуть, и тони, а других втягивать нечего. Тебе, может быть, твоя жизнь копейка, а у меня семья, дети, я их сиротами оставлять не собираюсь, в конце концов я героем быть не обязан. Я не сам. Мне приказали, я исполняю. И вообще я не знаю, кто ты на самом деле. Если не князь, то не надо было все, что подсунут, подписывать. А раз подписал, раз признался, что князь, то нечего из себя дурака строить, держи ответ с достоинством».

Чонкин чем дальше, тем больше раздражал его своим видом и нахальным своим поведением. Но все же после роковой фразы: «Слово предоставляется государственному обвинителю», когда прокурор поднялся и, затягивая время, стал раскладывать перед собою бумажки, он почувствовал, что у него дрожат руки, дрожат колени и во рту появился неприятный привкус, как это в последнее время бывало с ним всякий раз, когда он делал что-то, чему его совесть противилась: «нельзя», а начальство толкало: «надо». И теперь та часть его мозга,

которой управлял страх перед начальством, посылала его организму одни приказы, а другая часть, руководимая совестью, посылала другие, и то ли клетки, то ли нуклеиновые кислоты, то ли чего-то там еще, не зная, чему подчиняться, сшибались друг с другом, вызывая ненормальное биение сердца, дрожание членов и отвратительный привкус во рту.

– Товарищи судьи! – не подымая глаз, произнес он и, услышав звучание собственного голоса, стал приходить в себя. – Роль прокурора в данном процессе чрезвычайно сложна и ответственна. Перед нами не обычный преступник. Перед нами человек, посягнувший, – прокурор сглотнул слюну, – на самое, – произнес он медленно, как под гипнозом, – дорогое для каждого из нас, на наш строй, на нашу Родину, на нашу новую жизнь.

Теперь ему стало легче. Та часть, которой управлял страх перед начальством, брала верх, а другая часть смутилась и отменила свои приказы.

– И хотя следственные органы провели кропотливейшую работу по анализу всех деяний подсудимого, глубоко обнажили корни, питавшие ядовитыми соками зловерное дерево его преступлений...

– Хорошо говорит, а? – подбежал за кулисами Лужин к приезшему генералу.

– Неплохо, – наклонил голову генерал.

– О-о-о-о... – сказал писатель Мухин.

– Что? – удивился генерал.

– О-о-о-образно очень.

– А-а, – сказал генерал.

– Великая Октябрьская социалистическая революция не только установила новый политический строй, но и произвела глубочайшие перемены в социальной структуре нашего общества. Могучим освежающим ветром пронеслась она по всем необъятным просторам нашей страны и, как помой, выплеснула помещиков, капиталистов и прочих эксплуататоров трудового народа. Ведомый партией Ленина – Сталина, наш народ приступил к строительству новой, свободной жизни...

Прокурор все чаще взглядывал на Чонкина. Тот сидел маленький, противный и вертел в разные стороны стриженной и шишковатой своей

головой величиной с кулак. Отвратительный вид подсудимого успокаивал прокурора и вселял в него ощущение уверенности в своей правоте.

Чонкин вздохнул и пытался послушать прокурора, но, изнуренный ночными и дневными допросами, не мог сосредоточиться на достижениях, перечисляемых прокурором: коллективизация, индустриализация, ДнепрогЭС, Папанин и Полина Осипенко...

– ...Но как учит нас великий вождь товарищ Сталин, с установлением диктатуры пролетариата классовая борьба не только не утихает, она по мере нашего продвижения вперед еще более обостряется. Разбитые и выброшенные за борт корабля истории эксплуататорские классы никогда не смирятся со своим поражением. Они, – прокурор прямо указал пальцем на Чонкина, – предпринимали и будут предпринимать все более изощренные попытки реставрации своего отжившего строя.

Кажется, прокурор полностью овладел и собой, и аудиторией.

– Ярким примером гениального предвидения товарища Сталина может служить событие, происшедшее в деревне Красное за несколько дней до начала войны. Я позволю себе напомнить, что именно произошло. Солнечным летним днем жители Красного становятся свидетелями невиданного до сих пор события. За околлицей, неподалеку от дома почтальона Анны Беляшовой, совершает вынужденную посадку самолет с советскими опознавательными знаками. Жители, естественно, сбегаются посмотреть на невиданное чудо. Приезжает даже председатель Голубев, ныне разоблаченный как враг народа. Наш народ любит нашу армию и ее сталинских соколов. Жители Красного смотрят на летчика с естественным уважением и интересом. И никому, в том числе председателю, не приходит в голову проверить у этого, с позволения сказать, летчика документы. Более того, проявляя преступное ротозейство, председатель приглашает летчика в контору, предоставляет в его распоряжение служебный телефон, при помощи которого летчик не замедлил тут же связаться со своим штабом. И вот над деревней появляется новый летательный аппарат, а в нем в качестве почетного пассажира со специальным заданием прибывает наш подсудимый...

Тут Чонкина совсем сморило, и он опять очутился в Красном, молодой, глупый и полный сил. Светило солнце, стрекотали кузнечики, хотелось есть, пить, курить, отправлять всевозможные надобности и самым разнообразным способом нарушать устав караульной и гарнизонной службы. Он делал и то, и другое, и третье, бежал за девками, которые ехали на телеге, они ему что-то кричали, и он им что-то кричал, а потом приблизился к Нюре, говорил ей слова, и она ему слова говорила, но какой-то железный голос мешал, громко говоря чертовщину:

– ...снабжен оружием, боеприпасами и воздушным путем вступил в незаконные отношения с Беляшовой...

Он знал, что Нюра в любой момент может исчезнуть, и спешил тут же вступить с нею в незаконные отношения, она тоже была не против, она играла с ним, щекоталась, ему стало радостно, и он опять засмеялся.

И снова ворвался в уши все тот же железный голос:

– Он не только тогда глумился над марксистской теорией происхождения человека, но и сейчас смеется над нашим советским правосудием.

– Какая наглость! – сказал кто-то еще, и Чонкин проснулся.

Он не сразу вспомнил, где находится, что это за люди и кто этот страшный, который тычет в него своим длинным пальцем.

Выждав паузу, пока улеглось возмущение публики поведением подсудимого и сам подсудимый, поерзав на табуретке, пришел в себя, прокурор отхлебнул из стоявшего перед ним стакана воды и продолжал:

– Лично я, товарищи судьи, против ханжества в половых вопросах. Я не буду осуждать Беляшову за то, что она вступила в интимные отношения с человеком, которого видела первый раз в жизни. При оценке этого ее легкомысленного поступка необходимо учесть, что ей попался настойчивый противник...

Чонкина одолевала дремота. Он кунял носом, валился с табуретки, просыпался, таращил глаза, и опять засыпал, и опять



просыпался. Сон путался с явью, прокурор превращался то в черта, то в лешего, то в какую-то птицу, то в жабу и в огородное пугало. И конвой, и судьи, и зрители превращались в нечистых чудовищ, они то сидели на своих местах, то испарялись, выныривали на каком-то болоте, булькая и строя мерзкие рожи.

– Товарищи судьи! Третьего июля мы все с огромным душевным волнением слушали по радио историческое выступление товарища Сталина. Слушали его и жители Красного, слушал и подсудимый. Он не мог не видеть, какое глубочайшее впечатление произвели на людей проникновенные, западающие в душу слова нашего любимого вождя. И вот, чтобы разрушить это впечатление, он применяет весьма хитроумный и даже, я бы сказал, оригинальный маневр. Он запускает корову своей сожительницы в огород колхозника Гладышева, известного мичуринца и селекционера, который, впрочем, ныне также разоблачен как враг народа. Таким образом, подсудимый сразу убивает двух зайцев. Во-первых, с помощью коровы уничтожает научные достижения Гладышева, а во-вторых, отвлекает внимание колхозников от общенародных проблем, указанных товарищем Сталиным. С какой же целью прибыл в наши края преступник и чего он хотел добиться?

Прокурор из крокодила превратился в ворона, взлетел на ветку, почистил перья и закричал:

– Для того чтобы понять мотивы того или иного преступления, его тайные пружины, прежде всего необходимо ответить на вопрос: кому оно на руку? Мы легко ответим на этот вопрос, если вспомним, кем оказался этот так называемый Чонкин, к какому классу принадлежит, чьи интересы представляет.

Слетев с ветки, ворон обернулся прокурором и отпил воды из стакана.

– Органами следствия установлено, что под личиной рядового Чонкина скрывался матерый враг нашего строя представитель высшей дворянской аристократии князь Голицын. Кто же такие Голицыны? Основатель этого рода был когда-то князем Новгородским и Ладожским. От него пошли многочисленные крепостники, реакционеры. Один из предков подсудимого еще в 1607 году возглавил подавление народного восстания под руководством Болотникова. Другой трижды претендовал на российский престол и был

единственным серьезным соперником основателя династии Романовых царя Михаила. На протяжении трехсот лет князья Голицыны занимали наиболее значительные места при царском дворе. И вот я задаю вопрос: случайно ли представитель именно этой фамилии оказался в деревне Красное накануне войны? И я отвечаю: нет, не случайно. Марксистская диалектика учит нас, что случайностей в природе вообще не бывает. Все происходящие в мире явления связаны друг с другом, вытекают друг из друга и обуславливают друг друга.

Завороженный собственным красноречием, прокурор чем дальше, тем больше верил своим словам и уже не невинную жертву видел перед собой, а зловещую фигуру, в руках которой незримые нити всемирного заговора.

– Разбитые наголову белобандиты всех мастей от Керенского до Деникина не успокоились, не утратили своих надежд на возвращение поместий, заводов и фабрик. Поддерживаемые международной буржуазией, гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом, вынашивая планы реставрации царского строя, рассчитывая на поддержку скрытых врагов народа, ушедших в подполье троцкистов и кулацких недобитков, используя недовольство всяких ревкиных, голубевых и иже с ними, используя недовольство еще имеющимися у нас кое-где отдельными недостатками и трудностями, они послали подсудимого своим эмиссаром. Будучи представителем высшей ступени дворянской иерархии, он, как никто другой, был заинтересован в восстановлении царского строя и, может быть, даже сам... – прокурор задохнулся от заранее не продуманной мысли, от внезапной догадки, которой он сам испугался, но не смог удержать, – и, может быть, даже сам... он сам хотел стать царем! – быстро прокричал прокурор, затряс кулаками и головой и сел, оглушенный собственным открытием.

В зале прошел гул, как будто морская волна налетела и разбилась о скалы. Стоявшие за сценой невольно подались к кулисам.

– Что он сказал? – шепотом спросил приезжий генерал.

– Он говорит, что этот, – Лужин испуганно указал пальцем на Чонкина, – хотел стать...

– Цэ-э-зааре-ом, – раззаикался сзади Мухин.

В зале установилась мертвая тишина, в которой было слышно только, как вспотевший защитник рвет в мелкие клочья проект своей

речи. Все смотрели на Чонкина, а он, проснувшись от внезапно наступившей его тишины, смотрел и не мог понять, где он находится, откуда здесь столько чертей, почему они молчат и таращатся на него.

– Товарищи судьи!..

Придя в себя после сделанного им открытия, прокурор поднялся, чтобы продолжить свою выдающуюся речь.

Тем временем приезжий генерал кинулся Куда Надо и передал «наверх» шифровку: «В ходе судебного разбирательства прокурор Евпраксеин неопровержимо установил, что подсудимый Голицын намеревался провозгласить себя императором Иваном VII».

Со скоростью света шифровка достигла Москвы и вызвала там новый переполох.

Сбиваясь с ног, забегали по коридорам полковники и генералы. Товарища Лаврентия на службе не оказалось, нашли его совсем в другом районе Москвы в постели какой-то артистки.

Прокурор еще не закончил своей речи, как из Москвы получилась ответная шифровка: «Прокурору Евпраксеину выражаю личную благодарность. Лаврентий Берия».

– Подсудимый и его зарубежные хозяева в своих грязных расчетах не учли того, что народ наш предан своему строю, своей партии и лично товарищу Сталину. Нам не нужны ни цари, ни императоры, ни бесноватые фюреры. Действия подсудимого не нашли поддержки в широких народных массах. Наши доблестные чекисты, верные заветам Дзержинского, вовремя пресекли зловредную деятельность «божьего помазанника», а жалкая кучка его приспешников не решилась открыто встать на его сторону. Будучи полностью изобличен, он оказал яростное сопротивление сначала посланному для его ареста спецотряду, а затем и регулярным подразделениям Красной Армии. Сопrotивляясь с яростью обреченного, он лелеял безумную в его положении надежду – во что бы то ни стало отстоять захваченный им плацдарм, любой ценой продержаться до прихода гитлеровских войск.

– Не вышло, господа! – закричал прокурор, обращаясь к судьям. – И никогда не выйдет.

Вновь обернувшись чертом, прокурор стал перечислять преступления, совершенные Чонкиным: нарушение правил караульной службы, дезертирство, оказание сопротивления с применением оружия, принуждение лиц, находящихся при исполнении служебных

обязанностей, к нарушению этих обязанностей, потрава и дурное обращение с пленными. Он назвал и статьи Уголовного кодекса, в соответствии с которыми Чонкин в условиях военного времени и при отягчающих обстоятельствах мог бы быть расстрелян трижды или четырежды...

– Но, – сказал черт, взмахивая копытом, – этот клубок преступлений, которого хватило бы для расстрела целой шайки бандитов, для подсудимого был лишь прелюдией к его основным злодеяниям. Эти злодеяния предусмотрены статьями Уголовного кодекса, которые я считаю необходимым процитировать полностью.

Черт напялил на глаза очки, раскрыл какую-то чертовскую книгу и зачитал:

– «Статья 58.2. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех же целях, и в частности с целью насильственно отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной республики какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с иностранными государствами договоры, влекут за собой высшую меру социальной защиты – расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с допущением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества.

Статья 58.3. Сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно содействие каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, влекут за собой...

Статья 58.4. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее свержению... влечет за собой...

Статья 58.5. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем общественных групп путем сношения с их представителями к

объявлению войны, вооруженному вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным действиям, в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества Союза ССР или союзных республик, разрыву дипломатических сношений, разрыву заключенных с Союзом ССР договоров и т. п., влечет за собою...

Статья 58.8. Совершение террористических актов влечет за собою...

Статья 58.10. Влечет за собою...»

...Чонкин шел по дну оврага вдоль ручья, журчавшего меж камней. Сквозь журчание слышались ему какие-то слова:

– ...совокупности совершенного, учитывая принцип сложения и повышения при особо отягчающих условиях военного времени...

Он наклонился к ручью напиться и увидел в нем чье-то лицо. Он думал, что это его отражение, но, взглядевшись, увидел вместо себя прокурора.

Было плохо слышно, и Чонкин окунул голову в воду, но увидел не прокурора, а Нюру, которая, обернувшись русалкой, манила его к себе, слегка помахивая ресницами и плавниками. Она что-то ему говорила.

– Чего? – переспросил Чонкин.

– Мыряй, – повторила Нюра. – Мыряй поглыбже.

Он нырнул. Ему казалось, что Нюра вот она, совсем рядом. Резкими гребками он пытался приблизиться к ней, но она уходила все глубже и глубже, она манила его, и он подчинялся, хотя и понимал, что обратно ему уж не вынырнуть.

– А, все равно, – сказал он себе самому и широко открыл рот.

Вода хлынула в него, забулькала в легких, запузырилась, и он, к радости своей, обнаружил, что дышать водой можно так же, как воздухом, и даже лучше, и, успокоенный, поплыл рядом с Нюрой, как рыба.

– Хорошо? – спросила Нюра, слегка щекоча его плавником.

– Хорошо! – сказал он, щекоча ее тоже.

– А виновным себя признаешь ли?

– Признаю.

– А бесовские слова говорить умеешь?

– Не, – признался он, – не умею.

– А я умею, – засмеялась Нюра и, сделав озорное лицо, быстро, по-чертячьему, залопотала: – Коммунизма, капитализма, фашизма, идеализма, катаклизма...

– Клизма! Клизма! – закричал Чонкин в восторге от того, что и ему вспомнилось бесовское слово.

Оба стали смеяться, бултыхаясь и переворачиваясь. Чонкин все кричал: «Клизма! Клизма!» – и вдруг увидел, что поток разделился, Нюра попала в одну струю, он в другую, расстояние между ними все больше и больше, и струя, в которую попал он, несет его к отвесной скале. И сквозь шум ревущего за скалой водопада вновь донеслось до него:

– ...к высшей мере пролетарского гуманизма – расстрелу всего имущества нет места на нашей земле...

Поток вынес его на гребень скалы, и, зависнув над бездной, он глянул вниз и увидел пену и острые камни, торчащие из нее...

...Падая с табуретки, он успел вцепиться руками в перила и стукнул ногою в пол. И в тот же миг зал взорвался аплодисментами, а какой-то черт, длинноволосый, с бородкой, подскочив к сцене и выпучив глаза, завопил:

– Ти-ше ме-ряй! Ти-ше ме-ряй!

Чонкин удивился. Что значит «меряй» и почему тише? Потом услышал и увидел, что кричит не один этот черт с бородкой, а и другие, стоящие дальше. А потом и все, кто был в зале, повскакали со своих мест и тоже: «тише меряй, тише меряй», он только в конце разобрал, что на самом деле кричат не «тише меряй», а «к высшей мере».

За кулисами к Павлу Трофимовичу подлетел писатель Мухин и стал трясти его руку, заикаясь:

– Пэ-пэ-пэ-аздравляю! Пэ-пэ-пэ-ревосходно!

Подошел майор Фигурин, пожал руку молча.

Подошел полковник Лужин, улыбнулся:

– Слушал вас с чудовищным интересом.

Приблизился приезжий генерал, руки не подал, не улыбнулся, но проскрипел:

– По поручению товарища Берии передаю вам личную его благодарность.

Подходили еще какие-то люди, жали руки, говорили слова. Один только судья полковник Добренький, на время покинув судейское кресло, хотел выразить прокурору недовольство его отсебятиной, но, услышав, что отсебятина понравилась самому Лаврентию Павловичу, тут же переменял мнение и тоже поздравил самым энергичным образом. Прокурор принимал поздравления, но был хмур и отвечал односложно, прикуривал от одной папиросы другую и вполуха слушал выступавшего вслед за ним защитника.

– Товарищи судьи! – взволнованно начал тот. – Долг адвоката состоит в том, чтобы защищать своего клиента. По роду своей профессии мне приходилось защищать воров, грабителей, насильников и убийц. И каким бы тяжким ни было преступление моего подзащитного, всякий раз я находил в его действиях те или иные смягчающие вину обстоятельства. Но, товарищи судьи, советский адвокат прежде всего советский человек. И как советского человека, как коммуниста меня глубоко возмущают действия моего нынешнего подзащитного. Да, я защитник, – повысил он голос, – но, когда я вижу такого ужасного преступника, я невольно хочу защищать не его, а от него наш народ, нашу страну, нашу власть. И именно с целью защиты всех наших завоеваний я решительно поддерживаю требование прокурора и считаю, что нет такой казни, которая могла бы хоть в какой-то степени соответствовать чудовищным злодеяниям подсудимого.

Адвокат сел. Задвигали стульями заседатели, заерзали на своих местах зрители, прокурор отхлебнул воды, полковник Добренький, отворотясь, трубно высморкался и, складывая платок вчетверо, объявил:

– Суд приступает к слушанию последнего слова подсудимого. Подсудимый, встаньте. Что вы хотите сказать суду?

Чонкин встал, держась руками за верхний край перегородки. Он хотел сказать много, но не мог сказать ничего. Относясь к своим умственным способностям без большого доверия, он думал, что люди, которые сейчас вот решают его судьбу, руководствуются чем-то таким, что выше его понимания. Он и раньше никогда не знал, какое его действие или бездействие вызовет какие последствия, за что его накажут, а за что наградят. Со временем он пришел и к более безнадежному выводу: что ни скажи, что ни сделай, хоть то, хоть это, все в конце концов обернется против тебя.

– Подсудимый, – сказал Добренький теплым голосом, – объясняю вам ваши права. Вы можете опровергать выводы прокурора, можете отвести некоторые обвинения, можете сказать что-то в свою защиту.

Чонкин молчал. Что мог он сказать в свою защиту? Что он молод, что он жизни не видел, что не наслаждался еще ни едой, ни водой, ни свободой, ни трепетным женским телом. У него не было того понимания, что он есть неповторимое чудо природы, что с его смертью умрет и весь мир, который в нем помещался. Обладая конкретным и не тщеславным воображением, он определенно знал, что с его исчезновением вокруг ничего не изменится. Так же будет всходить и заходить солнце, день будет сменяться ночью, а зима летом, будут идти дожди, будет расти трава, будут мычать коровы, блять козы, и какие-то люди будут управлять лошадьми, спать со своими бабами, охранять объекты и вообще делать все то, к чему их приставят. Ему было бы легче, если бы хоть раз за все это время он встретил Ньюру, и она бы ему сказала, и он бы узнал, что семя его, прилепившись где-то внутри ее организма, пустило ростки и что-то вроде головастика вступило в период своего потайного развития, чтобы в конце концов превратиться



пусть в кривоногое, пусть в лопоухое, но похожее на Чонкина человеческое существо.

– Подсудимый, – напомнил о себе председатель, – вы что-нибудь скажете или нет?

– Прошу простить, – сказал Чонкин, еле двигая языком.

– Ишь чего захотел – простить! – выкрикнул некий лжечеловек из зала.

Но другой, почти такой же и все-таки чуть получше дал тому локтем под дых и громко сказал:

– Заглохни, псина!

Эти два неожиданных выкрика как бы нарушили торжественность момента. Все повернули головы туда, откуда эти выкрики слышались. Тот, кто крикнул вторым, сидел бледный, сожалея о том, что невольно проявил в себе человека.

– Суд удаляется на совещание для вынесения приговора, – объявил Добренький, поднимаясь.

Донесение Курта было получено адмиралом Канарисом во вторник. Вечером того же дня на очередном совещании у фюрера, посвященном обсуждению деталей операции «Тайфун» (операция по захвату Москвы), Канарис в числе прочих данных своей разведки доложил о донесении из Долгова. Гитлера донесение неожиданно заинтересовало.

– Кто он, этот русский? – переспросил Гитлер.

– Князя Голицыны – одна из стариннейших дворянских ветвей, – объяснил Канарис.

– Это я понял, – перебил Гитлер. – Я спрашиваю, это ваш человек?

Канарису показалось, что Гитлер чем-то недоволен, и он быстро ответил, что в его агентуре таких не значится.

– Жаль, – сказал Гитлер. Он вскочил и забежал по кабинету. – И все-таки, господа, это прекрасный симптом. До сих пор, кажется, ничего подобного не было.

Да, не было. Хотя он и рассчитывал на мощь своих вооруженных сил, но он не думал, что сопротивление русского народа будет столь упорным. Он был уверен, что русские только о том и мечтают, что сбросить с себя ярмо коммунистического рабства. Он думал, что они будут выходить навстречу его войскам с хлебом-солью. Как всякий диктатор, Гитлер был не только жесток, он был сентиментален. Планируя уничтожение народов, он в глубине души хотел, чтобы эти же народы, евреи, цыгане, поляки, русские, любили его как своего освободителя.

Его поражало, почему русские не восстают против большевиков, почему не идут навстречу его войскам.

– Господа! – остановившись посреди комнаты, он высоко поднял руку, давая понять, что принимает историческое решение. – Я думаю, мы должны помочь этому русскому. Мы не имеем права оставлять его одного в беде. И мы ему, – он вытянул горизонтально указательный палец, – поможем.

– Но, мой фюрер, я повторяю, – сказал Канарис, – я не знаю, кто он. В моей агентуре такого человека нет.

– Мой фюрер, – вмешался молчавший до этого Гиммлер, – в России, помимо агентуры адмирала Канариса, существуют и другие службы.

– Ты хочешь сказать, что этот... как его... Голицын твой человек?

– Я должен это проверить, мой фюрер. – Гиммлер многозначительно улыбнулся.

Гиммлер, конечно, не думал, что мифический князь состоит у него на службе, но, видя, что фюрер затевает какое-то новое дело, решил тут же к нему примазаться. Это понял и Канарис; понял и Гитлер, но, увлеченный новой идеей, он рад был косвенной поддержке Гиммлера.

– Это замечательно! – говорил Гитлер, ходя по комнате и размахивая руками. – Это изумительно. Это превосходно! Гудериан! – закричал он. – Где сейчас находятся ваши танки?

Генерал-полковник Гудериан встал, одернул мундир, посмотрел на часы, как бы выжидая наступления именно того самого точного момента, о котором начал говорить:

– В данный момент, мой фюрер, мои танки в районе Каширы, прорвав оборонительный заслон русских, вышли на прямую дорогу к Москве.

– Вы их повернете к Долгову!

– Как? – вырвалось у Гудериана.

Вскинул голову Браухич, задергал шеей генерал-полковник Гальдер. Один только Кейтель сидел по-прежнему невозмутимо. Даже Гиммлер посмотрел на фюрера с опаской, но тут же опустил глаза.

– Но, мой фюрер... – У Гудериана в глазах стояли слезы. – До Москвы осталось всего семьдесят километров. Мои танки ворвутся в нее с ходу.

– Ваши танки ворвутся в нее с ходу, но сначала пусть они возьмут Долгов, пусть освободят этого несчастного князя. Право, оставить его в беде было бы неблагородно. Я бы себе этого никогда не простил.

Тут поднялся ужасный переполох. Все генералы вскочили на ноги, и все, перебивая и отталкивая друг друга, кричали:

– Мой фюрер! Мой фюрер! Мой фюрер!

– Молчать! – Фюрер хлопнул ладонью по столу и затряс ею от боли. – Всем замолчать! Говорите по одному. Что? Чем вы недовольны?

– Мой фюрер, – выступил вперед фельдмаршал фон Бок, – в данных условиях, когда наши войска находятся на подступах к Москве...

– Я вас понял, фон Бок, и объясняю: взять Москву мы успеем всегда.

– Но я полагаю... – приблизился фон Браухич.

– Все! – раздраженно сказал Гитлер и снова хлопнул рукой по столу. – Полагать вы могли до того, как я принял решение. Теперь вы обязаны только лишь исполнять. Что стоите? Все свободны.

Генералы и маршалы покорно двинулись к выходу.

В кабинете остались только Гитлер и Гиммлер. Гитлер продолжал бегать по комнате, размахивать руками и выкрикивать:

– Ничтожества! Мелкие твари! Козьявки! «Я полагаю...» Кто вы такие, чтоб полагать! Навешали на себя ордена и погоны и думаете, что вы действительно стратеги и полководцы. Да я с вас в один миг все это посдираю, и вы будете у меня голенькие. Ничтожные глупые старики с обвисшими животами!

Гиммлер сидел в мягком кресле и с легкой улыбкой наблюдал за истерикой своего вождя.

– Но, мой фюрер, – сказал он с легкой улыбкой, – не стоит на них так сердиться. Дюжина средних умов никогда не сможет постичь одной мысли гения.

– Льстишь? – повернувшись к нему, быстро спросил Гитлер.

– Льщу, мой фюрер, – сказал Гиммлер, и оба весело рассмеялись.

Говорят, в Москве какого-то октября была всеобщая паника. Никто не знал, что происходит на фронте, никто не работал, никто никому не подчинялся. На вокзалах творилось что-то невероятное. Люди осаждали стоявшие на путях теплушки и вагоны электричек, во всех направлениях, лишь бы из города, ехали на машинах, мотоциклах, лошадях, велосипедах, шли пешком, толкая перед собой тачки с пожитками. Метро не работало. Магазины, банки, сберкассы были открыты: заходи, бери, если чего найдешь. Возле помоек лежали груды сочинений Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина и других подобных авторов. Брошенные хозяевами голодные собаки, бродя меж фолиантами, внюхивались в них и воротили морды, тоскливо повизгивая.

На улицах не видно было ни военных патрулей, ни милиции, райкомы и райисполкомы не действовали, власти не было.

Говорят, что в тот день немцы могли взять русскую столицу голыми руками.

Почему же они этого не сделали?

В обширной исторической литературе существует на этот счет немало противоречивых, а порой и весьма оригинальных суждений. Одни говорят насчет погодных условий, другие противопоставляют морально-политический фактор и массовый героизм, что, конечно, было. Нередко приходится слышать и о личных заслугах одного из второстепенных персонажей данного сочинения, я имею в виду того, который сидел в метро. Мы, мол, победили потому, что он был с нами.

Признаться, с горькой усмешкой следил автор долгие годы за перепалкой историков. Сколько всего наговорено, сколько лесов порублено на бумагу, сколько щепок зазря пролетело, а ведь истина вот она, под рукой.

Нет, полностью отрицать заслуги того, который сидел в метро, я не буду. Он тоже свое дело делал: и трубку курил, и жирным пальцем глобус мусолил, указывая, куда какую кинуть дивизию и как наилучшим образом уничтожить живую силу и с той стороны, и с этой. Но с нами он не был. Он в метро сидел, оставив нас на поверхности.

Однако если говорить не о каких-то заслугах, а о выдающихся и решающих, то теперь мы знаем, что они принадлежат главному герою нашего скромного повествования, который в роковой час отвлек на себя танки Гудериана и таким образом спас столицу. И что с того, что ростом он невелик, лопоух и кривоног немного? Ведь если разобраться по совести и без горячки, так и тот, который сидел в метро, был тоже ничем не лучше. Ростом полтора метра с фуражкой, морду имел побитую оспой, руку сухую, лобик шириною в два пальца, а зубы кривые и желтые. А вот же, несмотря на эти вопиющие недостатки, вошел в историю и выведен в бесчисленных сочинениях, авторы которых изображают его либо не иначе как горным орлом, либо не иначе как совершенной свиньей. [8]

Завершая настоящий пассаж, мы выражаем надежду, что теперь, когда в запутанный историками вопрос внесена полная ясность, многолетняя полемика представителей различных школ и направлений, потеряв всякий видимый смысл, прекратится сама собой.

Выполнив возложенную на него свыше миссию, автор скромно отходит в сторону.

Генерал Дрынов получил повышение неожиданно. Когда ударная армия с входившей в нее дивизией Дрынова, потеряв половину своего состава, вышла из окружения, ее командующий был арестован за то, что не удержал Каширу. На его место назначен был Дрынов. Остатками потрепанной армии он должен был удерживать подступы к Москве. Положение было незавидным. Равнинная местность, лишенная всякой растительности, не считая травы. По приказу нового командующего бойцы окопались и ждали появления немцев. Утром появились немецкие танки. В армии Дрынова было четыре противотанковых ружья, из них одно неисправное, другое без боеприпасов, и одна пушка-сорокапятка (та самая) без снарядов. Сопротивление было бесполезно. Но Дрынов получил приказ «ни шагу назад» и намерен был его выполнить. Танки шли развернутым строем. Одно противотанковое ружье твякнуло и замолкло, в него угодил немецкий снаряд. Из другого удалось подбить один танк, и он загорелся, но тут и для этого последнего ружья кончились боеприпасы. И тогда Дрынов решился на отчаянный шаг. Он поднялся во весь рост и с криком:

– За родину! За Сталина! Ура! – размахивая пистолетом, побежал навстречу танкам.

Увлеченные его порывом, поднялись и бойцы. Расстояние между ними и танками стремительно сокращалось.

И вдруг – чего только в жизни не бывает – танки остановились. Эти громадные и некрасивые железные чудовища стояли и словно в нерешительности поводили дулами своих пушек туда-сюда.

Бойцы тоже остановились. От растерянности никому не пришло даже в голову залечь.

И вдруг, видимо получив команду по радио, все танки одновременно повернули на сто восемьдесят градусов и кинулись наутек.

Все опешили.

– Батюшки, что ж это такое? – удивился неподалеку от Дрынова пожилой красноармеец и перекрестился, не веря своим глазам.

– Ага, гады, трусили! – закричал Дрынов и побежал с пистолетом вдогонку. Кажется, он даже выстрелил раз или два, но, так или иначе, танки ушли.

Корреспондент «Правды» Александр Криницкий, узнав об этом от очевидцев (сам он видеть этого не мог, ибо старался описывать подвиги, глядя на них издалека), по телефону передал срочное сообщение в газету.

Утром, просматривая газеты, на эту заметку наткнулся Сталин.

– Что за несусветная чушь! – сказал он и приказал Маленкову позвонить в редакцию и от его имени передать корреспонденту Криницкому, чтобы врал, да знал меру. Маленков вернулся удивленный и сказал: Криницкий клянется, что на этот раз ничего не приукрасил, все так и было. Маленков звонил в штаб фронта, но и там ему подтвердили, что Криницкий не врет: остановленная армией Дрынова, танковая группа Гудериана отступила, и контакт с ней утерян.

И вот тогда Сталин приказал: генерал-майора Дрынова произвести в генерал-лейтенанты, представить к званию Героя Советского Союза и доставить на «подземную дачу» для личной беседы.

И то, и другое, и третье, разумеется, было выполнено немедленно.



На «дачу» Дрынов прибыл не один, а в составе группы генералов, каждый из которых чем-нибудь отличился.

Полководцев привезли в закрытом вагоне и в караульном помещении каждого подвергли личному обыску.

Тут произошла небольшая заминка – у одного из генералов в кармане кителя обнаружился плоский металлический предмет, а в нем что-то тикало. На вопрос о назначении предмета генерал объяснил, что это трофейный портсигар, который открывается только через определенные запрограммированные промежутки времени. Генерал хотел подарить этот портсигар товарищу Сталину, который, по слухам, в последнее время слишком много курит.

– Откройте! – приказал начальник охраны, худощавый грузин с двумя шпалами на петлицах.

– К сожалению, это невозможно, – улыбаясь, объяснил генерал. – В том-то и заключается принцип его работы, что время очередного открытия устанавливается изнутри.

Начальник охраны вертел портсигар в руках и испытующе смотрел генералу в глаза.

– Через сколько времени должен сработать механизм?

– Минут через пятнадцать, я думаю, – неуверенно сказал генерал, посмотрев на часы. – Я хотел приурочить к тому времени, чтобы как раз в момент передачи подарка товарищу Ста...

Не договорив, он опустил на стул, но тут же вскочил, стал шарить по карманам, что-то ища, очевидно, платок, но не нашел и стер пот с лица рукавом.

– Значит, в момент передачи? – переспросил начальник охраны, пристально глядя на несчастного генерала.

– Да, я думал...

– А почему вы волнуетесь? – перебил начальник охраны.

– Я... Я не волнуюсь, – пролепетал генерал совершенно убитым голосом.

Пока происходил этот разговор, несколько находившихся здесь охранников, рассредоточившись по комнате, взяли автоматы на изготовку и направили их на всех генералов.

Начальник охраны подошел к телефону, набрал номер и, не спуская глаз с подозрительного генерала, коротко с кем-то поговорил по-грузински.

– Бачевадзе! – положив трубку, обратился он к одному из своих подчиненных и, опять сказав несколько слов по-грузински, передал тому портсигар. Тот, схватив одной рукой портсигар, а другой придерживая перекинутый за спину автомат, торопливо вышел из помещения. Стало тихо. Генералы, инстинктивно отделившись от своего подозрительного коллеги, стояли посреди караулки, сбившись в кучу, как овцы. Все молчали. Один из генералов, маленький и толстый, дышал тяжело, слышно было, как у него в горле что-то свистит и клокочет. Толстяк первым не выдержал напряжения и посмотрел на часы. Вслед за ним и другие его товарищи задвигались и, отворачивая рукава кителей, стали смотреть на часы.

– Сейчас с минуты на минуту откроется, – сказал вдруг владелец портсигара, но не очень уверенно, начальнику охраны.

Тот ничего не ответил и снова посмотрел на часы.

Его подчиненные стояли возле стен, расставив ноги и держа оружие наготове. Но стволы все-таки слегка опустили.

Владелец портсигара, осмелев, подошел к Дрынову.

– Сейчас откроется, – сказал он Дрынову, но тот отвернулся.

Потом уже этот недотепистый полководец рассказывал, что, хорошо зная, что портсигар был именно портсигаром, и ничем иным, он тем не менее испытывал необъяснимый страх, что портсигар, вопреки своему назначению, взорвется. Дверь отворилась, это вернулся Бачевадзе. В одной руке он держал раскрытый портсигар, который был набит папиросами «Герцеговина Флор». Начальник охраны взял у него портсигар, повертел, положил на стол. И объявил генералам, что они в сопровождении дежурного могут проследовать к товарищу Сталину.

– А портсигар теперь можно взять? – спросил хозяин портсигара.

– Пока оставьте, – сказал начальник охраны.

– Но я же хотел подарить его товарищу Сталину.

Начальник охраны посмотрел на него и медленно произнес:

– Товарищ Сталин не любит подобных подарков.

Гостей под конвоем ввели в небольшую комнату, попросили снять шинели и построиться по ранжиру. Как только они это сделали, свет

погас и тут же зажегся. И ослепленные генералы увидели перед собой невзрачного человечка в засаленном суконном мундире без знаков различия. Человечек сосал погасшую трубку и, шевеля выцветшими усами, волочил по лицам собравшихся цепкий настороженный взгляд. Генералы сперва удивились: что еще за явление, потом обмерли, и Дрынов, первым оценив обстановку, рявкнул, как на параде:

– Великому полководцу, товарищу Сталину, ура!

– Ура! Ура! Ура! – троекратно грянули генералы.

Сталину такой прием, видимо, понравился, тем более что он не был отрепетирован, а вождь любил искренние проявления любви. Он улыбнулся отдельно Дрынову и затем всем остальным и, сдавив трубку в желтых зубах, шутливо заткнул пальцами уши, показывая, что так можно оглохнуть, а затем стал хлопать в ладоши. Генералы, естественно, тоже. Дрынов, в восторге от того, что Сталин улыбнулся ему отдельно, аплодировал с остервенением, как мальчик на стадионе. Сталин заметил это и опять улыбнулся ему отдельно. Хлопали долго. Затем хозяин дачи прекратил это дело, дав понять, что прозвучавшие аплодисменты он считает достаточным выражением любви к нему лично и в его лице к партии, правительству, народу, к родине, к необъятным ее просторам и к отдельным березкам. Прекратив аплодисменты, товарищ Сталин пошел перед строем и стал совать каждому свою сморщенную ладошку для пожатия.

– Так вот вы какой! – сказал он, дойдя до Дрынова.

Дрынов с перепугу несколько перестарался. Великий вождь поморщился от боли и вскинул на Дрынова подозрительный взгляд. Но моментально понял, что генерал сделал это не из террористических побуждений, а от полноты чувств, усмехнулся в усы и сказал с заметным акцентом:

– Значит, есть еще в наших мускулах сила, товарищ Дрынов?

– Так точно, товарищ Сталин! – отрубил Дрынов.

– Так точно? – быстро переспросил Сталин с некоторым удивлением. – Вы что же, товарищ Дрынов, поклонник уставных выражений, принятых в царской армии?

– Никак нет! – гаркнул Дрынов и, осекшись, покраснел, а затем побледнел, чувствуя конец своей военной карьеры.

Сталин молчал. Он молчал и с любопытством смотрел на Дрынова, наблюдал, как меняется тот в лице.

– Почему же никак нет? – сказал вдруг Сталин и опять улыбнулся. – Нам не следует отказываться от того хорошего, что было в царской армии. Пожалуй, нам следовало бы вернуть некоторые хорошие традиции, принятые в старой армии. Вы со мной согласны?

– Так точно! – отрапортовал Дрынов уже без всякой опаски.

Своим поведением и внешним видом Дрынов так понравился Сталину, что тот попросил его задержаться после общего приема и провел с ним отдельную беседу. Поговорили об общем положении на фронтах и о положении на том участке, который контролировался дрыновской армией. Дрынов на все вопросы отвечал по-военному четко и кратко. Сталин поинтересовался его биографией, и Дрынов сказал, что он из простой крестьянской семьи.

Сталину это еще больше понравилось.

– Значит, вы потомственный крестьянин? – спросил Сталин.

– Так точно, потомственный, – отвечал Дрынов.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что дед Дрынова был из крепостных князя Голицына.

– Вот оно что! – удивился Сталин. – Между прочим, мы недавно одного из бывших ваших господ разоблачили. – Он вспомнил о деле князя Голицына, и ему стало неприятно. – А скажите, товарищ Дрынов, вы хотели бы снова стать крепостным князя Голицына?

– Что вы, товарищ Сталин! – отказался генерал и тут же смутился, подумав, что, может быть, и в этом смысле великий учитель хочет вернуться к прежним традициям (в таком случае Дрынов, конечно, хотел бы стать крепостным князя Голицына). Но у Сталина была другая мысль, и он опять был доволен ответом Дрынова.

– Правильно, товарищ Дрынов, – сказал Сталин. – А вот некоторые князья думают, что русский народ только о том и мечтает, чтобы снова попасть к ним в рабство. Я полагаю, что с политической точки зрения нам надо поднимать простого человека, преданного нашему строю и нашей партии, потому что только мы открыли ему настоящий путь вперед. И среди простых людей, я думаю, есть немало истинных героев, которые жизни своей не пожалеют для укрепления нашего народного строя. Не так ли, товарищ Дрынов?

Дрынов охотно согласился. Тогда Сталин попросил его назвать какого-нибудь простого бойца, желательно из крестьян, который

проявил бы пример беззаветного служения родине и истинного героизма.

– Знаю я одного такого, товарищ Сталин, – сказал Дрынов. Надо сказать, что Чонкин своей храбростью очень понравился Дрынову. Дрынову было как-то неловко, что он не проявил должной твердости и отдал бойца Тем Кому Надо. Он захотел рассказать о Чонкине Сталину, но сомневался.

– Так кого же вы знаете? – спросил Сталин. – Я вижу, вас что-то смущает?

– Так точно, смущает, товарищ Сталин.

– Что же именно вас смущает?

А, была не была, Дрынов решился:

– Тут вот какое дело, товарищ Сталин, боец есть один, Чонкин Иван...

– Чонкин Иван? – переспросил Сталин. – Очень хорошо. Простое русское имя. Так что же сделал этот Чонкин Иван?

И Дрынов рассказал все как было. Чонкин Иван стоял на посту, часть, в которой он служил, была отправлена на фронт, о нем в суматохе забыли. Ему многие говорили, что он может покинуть пост, но он не мог и не хотел нарушить устав. И стоял бессменно много дней подряд. Кончился запас продовольствия, он стоял. Кончилась махорка, он стоял. Прохудились ботинки, он стоял. Однажды на его пост напал вооруженный отряд, состоявший из семи человек, и Чонкин всех их взял в плен.

– Один взял в плен семерых вооруженных? – поразился Сталин.

– Подождите, товарищ Сталин, – довольно дерзко сказал Дрынов. – Послушайте, что было дальше. На помощь этому отряду был брошен полк. Чонкину было предложено сдаться, но он отказался, принял бой и сражался до последнего патрона.

– До последнего патрона, – задумчиво повторил Сталин и смахнул ладонью набежавшую слезу. – Он, конечно, погиб?

– Нет, товарищ Сталин, он был только контужен.

– И взят в плен? – Сталин нахмурился.

– Никак нет, товарищ Сталин. Дело в том, что этот полк был не немецкий.

– А чей же? – удивился Сталин.

– Мой, – сказал Дрынов, решившись на все.

– Как – ваш?

Дрынов рассказал подробности. Сталину эта история ужасно понравилась, он смеялся и хлопал себя по ляжкам. Особенно смешно ему показалось, как разведчики захватили «языка», который впоследствии оказался нашим капитаном. (О том, что капитан был расстрелян, Дрынов из своего рассказа выпустил.) Насмеявшись до слез, Сталин пришел в такое хорошее расположение духа, что даже предложил Дрынову поужинать с ним вдвоем.

– Чонкин, – повторял он на все лады любимую фамилию. – Солдат Чонкин. Между прочим, звучит гораздо лучше, чем боец или красноармеец. Товарищ Дрынов, а как вам кажется, от чего произошла эта фамилия? Может быть, от слова ЧОН?

– Не могу знать! – отвечал Дрынов, не зная, в какой руке держать нож, в какой вилку, и боясь ошибиться.

– Да вы ешьте, как вам удобней, – сказал Сталин и налил гостю стакан водки из запотевшего графина. – Нет, я не думаю, что это от слова ЧОН, я думаю, что фамилия более древнего происхождения. Давайте, товарищ Дрынов, выпьем за простого русского солдата Чонкина.

Подмяв под себя шинель, Чонкин в ожидании исполнения приговора крючился на нарах и предавался своим невеселым думам. Могло ли ему прийти в голову, что в эту минуту Сталин стоя пьет за его здоровье?

Отпустив Дрынова, Сталин занялся текущими своими делами: поочередно принял четырех наркомов, двух директоров заводов, говорил по телефону с командующими фронтами, обсуждал конструкцию нового самолета, давал указания по эвакуации крупного машиностроительного завода, вникал в детали плана создания партизанских соединений, подписал списки наград и расстрелов, продиктовал телеграмму Черчиллю и только в пятом часу, выпив стакан кефира, лег спать. И, отходя ко сну, вспомнил он рассказ генерала Дрынова и снова стал думать о Чонкине, растроганно, с теплотой и любовью.

– Чонкин! Чонкин! – засыпая, бормотал он и вкусно чмокал губами.

Потом ему Чонкин виделся во сне. Он снился ему огромного роста богатырем с длинными русыми волосами и ясным взором голубых глаз. Размахивая палицей, Чонкин громил всех его врагов, и сам Гитлер трусливо бежал на четвереньках, похожий на мелкую злобную собачонку с карикатуры Кукрыниксов.

В тот же вечер, когда Сталин принимал Дрынова, Гитлер получил телефонограмму, что танковая группа Гудериана, форсировав речку Тёпу, приступила к операции «Брудершафт».

В хорошем расположении духа Гитлер лег спать. Ему снился князь Голицын, огромного роста богатырь с длинными русыми волосами и ясным взором голубых глаз. Он ехал на белом коне под белым знаменем, надетым на пику с длинным древком. За князем двигалось несметное воинство длиннородых крестьян в лаптях и в армяках, подпоясанных веревками. Крестьяне поднятием правых рук выражали свое ликование и выкрикивали:

– Хайль Гитлер!

Вечером после суда в райкомовской столовой отмечали окончание дела. Присутствовали местные руководители с женами и члены выездной сессии. Были приглашены и приезжий генерал, и Лужин, и Фигурин. Но они не явились, не удостоили.

Председательствовал, как и на суде, полковник Добренький, но героем вечера был, конечно, Павел Трофимович Евпраксеин. Все знали, от кого получена им личная благодарность, все его поздравляли, интересовались его здоровьем, спрашивали о жене, о детях, а жена Борисова Манька сидела рядом и строила глазки, и терлась своим коленом о его колено, и за всякими закусками лезла непременно в дальний конец стола и при этом ложилась на Евпраксеина всей своей грудью, которая могла не взволновать разве что только чурбана.

Но Евпраксеина она не взволновала, хотя он чурбаном не был, а впрочем, кто его знает, эта сторона жизни его осталась совсем в тени. Во всяком случае, Манькины призывы остались в этот раз совершенно безответными, и Манька, а также и другие участники этого вечера решили, что прокурор просто ошалел от свалившегося на него счастья, а может, и того хуже – зазнался.

А дело было не в том, конечно, что он зазнался, он не зазнавался, он мрачен был с самого начала, он механически поднимался, когда пили за Сталина, за победу, за что-то еще, пил много, закусывал мало и не видел никого, кроме маленького красноухого человека, который стоял перед его, как говорится, мысленным взором и с трудом шевелил одеревеневшими губами: «Прошу простить!»

Патефон играл «На сопках Маньчжурии», полковник Добренький спивал «Ой ты, Галю, Галю молоденька», потом пели и «Хаз-Булат удалой», и «Коробочку», и что-то еще, и Манька Борисова больше всех надрывалась и визжала до слез, а потом, кажется, еще и танцевали под тот же патефон, а прокурор сидел на одном месте, пил, смотрел в одну точку и не видел перед собой никого, кроме Чонкина, шевелившего губами: «Прошу простить!»

Видя, что прокурор настолько ошалел и зазнался от высочайшей благодарности, что никого знать не хочет, все в конце концов махнули



на него рукой, выпустили его из виду, и потом никто не мог вспомнить в точности, когда и как он ушел.

Как показывала потом жена его Азалия Митрофановна, домой прокурор явился среди ночи, ничего особенного в его виде не было. Пальто на нем было, конечно, расстегнуто, и часть пуговиц где-то он потерял, и хлястик был оборван, и правый бок весь был в мелу, и правая же щека была расцарапана, но подобное с ним случалось и раньше. Но вот что правда, то правда, вел он себя несколько необычно. Не шумел, не буянил, а, напротив, старался вести себя совсем тихо, снял в передней сапоги и портянки, прошел босой к своему столу, включил настольную лампу и сел что-то писать. Он всегда в пьяном виде писал какие-то письма и заявления, но обычно с криками, с битьем себя в грудь, с угрозами, что он что-то немедленно сделает, а в этот раз все молча. Один раз он поднял голову, и Аза увидела, что на щеке его дрожала слеза. Она забеспокоилась и хотела спросить, что с ним, но не спросила, боясь разбудить в нем зверя.

Он продолжал что-то писать, и, как выяснилось впоследствии, это были варианты одной и той же мысли: «Процесс над Чонкиным прошу считать недействительным» (зачеркнуто), «Мою речь прошу считать недействительной» (зачеркнуто)...

Он писал, зачеркивал, комкал бумагу и швырял под стол, а потом устал, уронил голову на руки и в таком положении замер. Аза успокоилась и задремала, и ей казалось, что спала она совсем немного, но, когда проснулась, Павла Трофимовича в доме уже не было.

Если бы Аза сразу обнаружила и отсутствие ружья, она могла бы еще выскочить на улицу и, может быть, даже предотвратить несчастье (хотя, конечно, маловероятно), но ей, как она потом объяснила, и в голову не могло прийти, что он это сделает.

В то время, когда она лежала с открытыми глазами и думала, куда бы мог деться муж, он стоял возле уборной с ружьем, и ружье это было заряжено жаканом.

Было темно, подмораживало. Задувал ветер, и снежная крупа сыпалась сквозь редкие звезды. Все вокруг побелело.

«Ну, все! – говорил себе прокурор. – Теперь уже все».

Решение его было твердым. Он думал о предстоящем без страха, спокойно, ничто не могло ему помешать, и он не спешил.

Где-то он читал или слышал, что перед смертью человек вспоминает всю свою жизнь от начала до конца и особенно ярко детство. Он попытался тоже вспомнить что-то из детства, но ничего не мог вспомнить, кроме того, что был он толстым и неуклюжим мальчиком и что в железнодорожном училище, где начинал он свое образование, его звали Колбаса.

Смутно вспоминались и годы юности, когда он, выросший и похудевший, ходил в кожаной куртке с наганом и ловил каких-то мешочников, и врывался в квартиры каких-то буржуев, и состоял в продотряде, и участвовал в раскулачивании и в чем-то еще подобном, и вспоминались ему какие-то люди, которых он отправлял либо в тюрьму, либо подводил под расстрел, и, как ему казалось теперь, все они были похожи на Чонкина, все шевелили одеревеневшими губами и просили простить.

Но он действовал от имени революции, которая никого не позволяла прощать, не позволяла расслабляться, требуя все новых и новых жертв во имя светлого будущего, которое вот-вот должно было будто бы наступить.

Он не прощал и не расслаблялся, и кем-то, но не собой, все жертвовал, и уж, кажется, совсем потерял человеческий облик, а ему говорили: мало, мало. И требовали что-то еще укрепить и что-то усилить, и он со временем стал замечать, что действует не столько из чувства долга и вовсе не из высших соображений, а из страха, что его обвинят в преступной мягкотелости, то есть в том, что был еще недостаточно жестоким, и он старался быть жестоким достаточно, и на всякий случай даже с запасом, но совесть грызла его изнутри. Он пытался залить ее водкой, не получалось. Жизнь, по существу, стала сплошной пыткой, и никакой суд не мог приговорить к худшему наказанию.

Положив подбородок на ствол ружья, прокурор думал, что-то бормотал, что-то вскрикивал, и лицо его было мокрым от слез.

– Ну ладно, – сказал он себе. – Хватит! Человеком быть не сумел, а жить гадом ползучим, червем, тараканом, нет уж, простите.

Чтобы совершить задуманное, прежде всего нужно было снять сапог, что он и попробовал сделать, но в это время в уборной послышался надсадный кашель, скрипнула дверь, какой-то человек, подсвечивая себе спичками, вышел наружу.

– Кто это? – испуганно спросил человек.

Прокурор молчал. Человек приблизился, и Павел Трофимович узнал в нем своего соседа военкома Курдюмова, он был в сапогах и в шинели, накинутой поверх исподнего.

– Трофимыч? – удивился Курдюмов. – Ты что это здесь стоишь? Гуляешь?

– Гуляю, – ответил прокурор хмуро.

– С ружьем?

– С ружьем.

– Гм! Да! – Поведение прокурора показалось Курдюмову странным. – Погоды нынче стоят необычно холодные, – пожевав губами, сказал он. – В прошлом году, помнится, я еще на Октябрьскую в гимнастерочке бегал, а теперь и в шинели зябко. А? – Военком зевнул, широко раскрыв рот.

Прокурор ничего не ответил. Он стоял, опершись на ружье, и смотрел мимо Курдюмова. Холодная слеза сорвалась с подбородка и покатилась куда-то под воротник.

– А все ж таки не понимаю, – сказал Курдюмов, – как это люди не сознают необходимости культурного поведения в местах общего пользования. В уборной большое количество необходимых отверстий, а они валят кучи перед дверями и где ни попадя, так что без спичек очень просто можно вступить в какой-нибудь экскремент. Ты бы, Трофимыч, как прокурор, вывесил объявление, что кто будет злостно срать мимо дырки, будет привлекаться к уголовной ответственности, а, Трофимыч? Верно ведь говорю, а?

– Иди на... – сказал прокурор сквозь зубы.

– Что? – не понял Курдюмов.

– Иди на..., сволочь! – отчетливо повторил Евпраксеин.

– А-а, – сказал Курдюмов и, втянув голову в плечи, немедленно пошел прочь. – Эй, ты! – закричал он откуда-то из мрака. – Ты бы ружье-то бросил. Нечего с ружьями по ночам!

Но прокурор его уже не слышал.

– Пора! – сказал он себе. – Хватит! Хватит! – повторил он, упираясь левым носком в правый задник. – Наслаждался жизнью, погулял, спасибо и до свиданья.

С трудом стащил сапог, затем, дрыгая ногой, размотал и скинул портянку. Ветер подхватил ее и понес, переворачивая.

– Ну вот, – сказал он облегченно, – а теперь уж дело совсем простое.

Опираясь на ствол ружья, он поднял правую ногу и ввел большой палец в дужку спускового крючка. Осталось только шевельнуть пальцем, да, всего лишь шевельнуть пальцем, и все будет тут же окончательно решено. И что удивительно, он не испытывал никакого страха перед настоящим, он был совершенно спокоен.

– Ну ладно, – сказал он и, закрыв подбородком ствол, попытался сделать движение пальцем, но ничего не произошло, и прокурор не сразу понял, что его собственный палец отказывается ему подчиниться. – Ерунда какая-то, – пробормотал он и опять попытался шевельнуть пальцем, и опять палец не подчинился. Это было странно и удивительно, он решил двинуть ногой, но и нога, согнутая в колене, не шевельнулась.

«Да что же это такое? – подумал он почти в панике. – Неужели я такой трус и тряпка, неужели я не могу сделать то, что хочу? Ведь я готов к этому, я не боюсь этого, я совершенно спокоен».

– А! – вскрикнул он, как будто рубил дрова, и, выставив вперед плечо, сделал новое волевое усилие, чтобы двинуть ногой, но она была неподвижна. Весь его организм бунтовал и отказывался выполнять посланные мозгом приказы.

От внутреннего напряжения ему стало жарко, и дыхание участилось. Он решил передохнуть, собраться с новыми силами, усыпить бдительность организма.

– Сейчас, – пообещал он себе, – сейчас все будет в порядке. Надо только взять себя в руки. Я и в самом деле ведь не боюсь, я готов. Ничего страшного в смерти нет. Смерть не несчастье, смерть – это просто ничто, пустота.

Он почувствовал, что его знобит, и течение мысли переменилось. «Но как же другие? – подумал он. – Другие же не лучше меня. Они грабят, режут, лгут, предают ближайших друзей, отрекаются от жен, детей и родителей и, ничем не терзаясь, доживают до своего срока и спокойно умирают в своих постелях. А я еще молод и полон сил, я бы мог еще что-то сделать, за что же мне, если я так страдал, смертная казнь? Я жить хочу, жить! Пусть кем угодно – негодяем, бандитом, гадом ползучим, червем, тараканом, но только жить!»

Ему стало страшно, как никогда, он почувствовал, что весь дрожит, и поднятая нога его дергается непроизвольно, и палец вот-вот зацепит спусковой крючок.

– Не хочу! – хрипло прокричал он в пространство и шевельнул ногой, чтобы выдернуть палец.

В этот момент он потерял равновесие, наступил всей тяжестью на спусковой крючок и одновременно закрыл ствол ладонями, как бы пытаясь удержать смерть, рвущуюся оттуда.

Огненный шар вспыхнул в его ладонях, пронзил их насквозь и упруго ткнулся в подбородок. Что-то глухо треснуло, засиял и распространился повсюду сиреневый свет.

Павлу Трофимовичу стало так хорошо, как не бывало раньше. Он почувствовал, что становится лужей, которая растекается, растекается, растекается и уходит в песок...

Когда народ сбежался к месту происшествия, там все уже было оцеплено милицией и штатскими. Прокурор с обезображенным лицом лежал, опрокинувшись навзничь. Руки и ноги раскинуты, ружье откатилось в сторону. Одна нога в сапоге, другая без. Азалия Митрофановна стояла рядом и, кусая губы, смотрела в сторону. Два милиционера измеряли что-то длинной рулеткой, один при помощи магниевой вспышки фотографировал, главный врач райбольницы Раиса Семеновна Гурвич, положив тетрадь на капот милицейского автомобиля, при свете карманного фонаря писала свое заключение. Майор Фигурин в новенькой, перетянутой ремнями шинели стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину.

К Фигурину пробился толстый лейтенант милиции.

– Вот, – сказал он, подавая бумагу. – Лежало у него на столе.

Фигурин поднес бумагу к глазам и осветил фонариком.

– Пьяный бред, – сказал он, бегло ознакомившись, и положил бумагу в карман.

С тех пор никто этой бумаги не видел, и точное содержание ее осталось бы тайной, но впоследствии со слов Азалии Митрофановны стало известно, что предсмертное заявление состояло из одной фразы: «Мою жизнь прошу считать недействительной».

Вернувшись к себе в Учреждение, майор Фигурин еще долго занимался этим делом. Ему звонили и полковник Добренький, и Борисов, и кто-то еще. И сам он звонил в область уехавшему сразу после суда Лужину. Затем приходил новый редактор газеты Лившиц, просил принять, несмотря на позднее время. Лившиц хотел посоветоваться, давать ли в завтрашнем номере извещение о смерти, а если давать, то в каком виде: «скоропостижно скончался» или «трагически погиб».

– Какая уж тут трагедия? – хмуро сказал Фигурин. – Погиб как трус. Дезертировал в самый острый момент. Напишите примерно так:

«Покончил жизнь самоубийством в состоянии тяжелой депрессии, вызванной хроническим алкоголизмом».

В ту ночь Фигурин почти не спал. После ухода Лившица он еще провел оперативное совещание.

День предстоял трудный. Приведение в исполнение приговора и отдельный суд над остальными сообщниками. Было решено сообщников судить «всем списком», без прокурора, приговорить к ссылке на неопределенный срок в отдаленные районы Сибири.

Вызвали на совещание начальника станции и предложили ему за ночь подготовить к отправке спецэшелон. Начальник божился, что у него нет в наличии ни одного свободного вагона.

– А вам нужен целый эшелон! – закричал он. – Вы смеетесь! Где я его возьму?

Ему сказали:

– Где хочешь. Если завтра к двенадцати ноль-ноль эшелона не будет, будешь валяться на перроне с дыркой в башке.

Вызвали начальника местного гарнизона, предложили привести имеющиеся в наличии войсковые подразделения в состояние боевой готовности на случай возможных беспорядков и провокаций и усилить наряды военного патруля.

В четвертом часу Фигурин явился домой усталый и на тревожный вопрос сонной жены, почему так поздно, ответил односложно: «Дела».

Он поставил будильник на восемь часов, разделся и лег, сунув револьвер под подушку.

Будильник ему не понадобился. Он проснулся от какого-то шума и увидел, что Маргарита, мятая после сна, со спутанными волосами, сидит на кровати и испуганно смотрит в окно.

– Ты что? – спросил он удивленно.

Где-то что-то отдаленно ухнуло, задрезжали стекла.

– Слышишь? – спросила шепотом Маргарита.

– Слышу, – ответил он, потягиваясь. – И что же тебя волнует?

Снова ухнуло, и снова задрезжали стекла.

– Учебные стрельбы, – объяснил Федот Федотович.

– Ты уверен, что учебные? – спросила она с сомнением.

– Безусловно, учебные, – уверил он. – Немцы от нас еще далеко.

Он встал, сделал короткую зарядку, обтерся холодной водой, позавтракал и отправился на службу.

Пока шел, еще где-то несколько раз ухнуло. Шедшая навстречу старуха перекрестилась. «Темнота», – подумал Фигурин и пошел дальше. Ничего странного он на улице не заметил, но потом вспоминал, что улицы были, пожалуй, необычайно безлюдными. Впрочем, они и обычно также были безлюдными.

Придя на работу, он удивился, не обнаружив в приемной своей секретарши. Ящики двух столов были выдвинуты, шкаф и сейф открыты, на полу валялись бумаги, некоторые с грифом «секретно» и даже «совершенно секретно». Фигурин вбежал в кабинет и ахнул: в кабинете тоже были открыты ящики стола и сейф и бумаги тоже были разбросаны по полу, и даже с первого взгляда было видно, что многого не хватает. Только на самом столе все было, как всегда, аккуратно разложено: баночка с разноцветными карандашами, мраморная чернильница, мраморное пресс-папье, настольный календарь, телефонная книга, папка с надписью «текущие дела» и сверху на папке два листа бумаги с текстом, напечатанным на машинке. Это были секретные телефонограммы, видимо, полученные ночью. Вот текст первой из них:

«В связи с неожиданным прорывом немцев на данном участке фронта и возможным занятием Долгова и окрестностей в соответствии с распоряжением вышестоящих инстанций приговор врагу народа



Голицыну привести в исполнение немедленно. С сообщниками поступить сообразно обстоятельствам.

ЛУЖИН».

Телефонограмма вторая:

«Верховный Главнокомандующий приказал: рядового Чонкина немедленно доставить в Москву для представления к правительственной награде. Исполнение данного приказа возлагаю на вас.

ЛУЖИН».

И там, и там было указано время приема: 6 ч. 04 м.

Не понимая, что все это значит, Фигурин оторвал взгляд от бумаг, глянул на противоположную стену и оцепенел. Там, где еще вчера был портрет Сталина с девочкой на руках, теперь висел портрет Гитлера, тоже с девочкой, и похоже, что с той же самой. Причем Гитлер на портрете улыбался девочке, а сам при этом косил одним глазом на Фигурину, как бы говоря: вот видишь, какое дело!

Впившись глазами в изображение, Фигурин не сразу заметил, а когда заметил, то уже воспринял как должное, что прямо под портретом было начертано губной помадой и торопливым почерком с обратным наклоном: «Хайль Гитлер!» – и подписано: «Курт».

– Что за дурацкие шутки? – сказал Фигурин. – Дурацкие шутки. Дурацкие шутки. Дурацкие шутки! – закричал он, вскочив на ноги и тряся кулаками.

Тут он пришел в нервное возбуждение, сорвал со стены Гитлера и стал топтать его, все время повторяя, как попугай: «Дурацкие шутки! Дурацкие шутки!» Выбежал в приемную и закричал:

– Есть здесь кто-нибудь?

Ему никто не ответил.

– Есть здесь кто-нибудь? – прокричал он и в коридоре, но, не дождавшись ответа, выхватил пистолет и стал палить в потолок.

Открылась дверь комнаты отдыха, из нее вышел удивленный Свинцов.

Фигурин прекратил стрельбу и спросил Свинцова, где остальные.

– Все удрамши, – сказал Свинцов, глядя на пистолет, из которого медленно вытекала тонкая струйка дыма.

– Что значит удрамши?

– Ну, убегли, значит, – пояснил Свинцов.

– Куда? – Фигурин и сам понял, что вопрос звучит глупо. – А что в школе, не знаешь?

– Звонил начальник конвоя. Сымаю, говорит, охрану и отвожу. Всех арестованных, говорит, освобождаю.

– Освобождает? – поднял брови Фигурин. – А кто разрешил? Свинцов пожал плечами.

– Ну ладно, – сказал Фигурин, несколько успокоившись. – Иди опять в комнату и жди. Ты мне еще понадобишься.

Он вернулся в кабинет и снял трубку телефона.

– Товарищ Фигурин? – отозвалась телефонистка. – Скажите, что происходит?

– А что происходит? – сказал Фигурин. – Ничего, по-моему, не происходит. Дайте мне Борисова.

Борисова не оказалось ни дома, ни на работе. Фигурин позвонил в Дом колхозника полковнику Добренькому. Не было на месте и его.

– Соедините меня с областью, – приказал Фигурин.

Отозвалась областная телефонистка.

– Лужина мне! – резко приказал Фигурин.

– Какого Лужина? – спросила она.

– Того самого.

– Ах, того самого, – засмеялась телефонистка. – Соединяю.

«Почему она смеется? – подумал Фигурин. – Наверное, там еще ничего не знают».

К телефону долго никто не подходил, и Фигурин нетерпеливо постукивал по рычагу. Он уже начал терять терпение, когда какой-то голос сказал что-то странное.

– Что? Что? – переспросил Фигурин.

– Stellvertreter des Militarkommandeurs, Oberleutnant Meier am Apparat, <sup>[9]</sup> – повторил голос.

Фигурин положил трубку и задумался. Потом опять схватил трубку и нервно бил по рычагу, но больше никто не отзывался.

Через некоторое время он вошел в комнату отдыха и застал там Свинцова, который преспокойно спал на голом деревянном топчане, подложив под голову кулак.

«Железные нервы», – с завистью подумал Фигурин.

Растолкав Свинцова, он приказал ему собираться.

– Куда? – спросил Свинцов.

– Пойдешь в тюрьму.

– В тюрьму? Я? – переспросил Свинцов.

– Дослушай до конца, – усмехнулся Фигурин. – Пойдешь в тюрьму, возьмешь, если он там еще... этого... ну, как его... Голицына, или Чонкина, или хрен его знает, кто он, и вместе с ним отправляйся из города.

– Куда?

– Куда-нибудь на восток. Пешком или на чем-нибудь, дело твое. И там где-нибудь по дороге ты его... ну, в общем, сам понимаешь... при попытке к бегству... понял?

– Так тут чего ж не понять, – отозвался Свинцов. – Дело простое.

– Ну ладно, – сказал Фигурин. – Дойдешь до наших, скажи: «Майор Фигурин, верный своему долгу... так и скажи: верный своему долгу, остался уничтожать секретные документы, чтобы они не попали в руки врагу». Потом постараюсь выбраться. Если сам попадусь, живым не дамся. Понял?

– Понял, – кивнул Свинцов.

– Ну что ж, Свинцов, давай простимся. – Фигурин шагнул к Свинцову, обнял его и трижды облобызал. Свинцов в это время стоял, вытянув руки по швам, воротил морду и морщился.

Дорога некруто шла в гору. По обеим сторонам ее было какое-то безжизненное пространство – не то степь, не то пустыня, ни куста, ни травинки, ни песка, ни камня, что-то гладкое, ни с чем не сопоставимое, и посередине эта жаркая, белая, пыльная дорога без конца, без края, идущая, по всей видимости, из ниоткуда в никуда.

Чонкин думал и не мог вспомнить, как попал он на эту дорогу, сколько времени по ней идет и почему вверх, а не вниз, если все равно неизвестно, что ожидает его там или там.

Он был бос, но в обмотках, они разматывались и уползали назад, как змеи, он думал, не подобрать ли их, но, оглянувшись, увидел, что это бессмысленно: двумя траурными лентами окаймляя дорогу, они терялись вместе с ней в бесконечности.

Решив скинуть обмотки совсем, он наклонился и стал их разматывать сверху, но и с этой стороны конца не было, обмотки падали кольцами в пыль и уползали, слегка извиваясь.

– Эй, ты, вставай! – сказали ему.

Он поднял голову и увидел, что находится на той же дороге, но она уже не пустынна, по ней в том же направлении бесконечной колонной движутся молчаливые путники, похожие на военнопленных. Он распрямылся и пошел вместе со всеми.

– Здорово! – сказал рядом с ним некто.

Он посмотрел и увидел настоящего черта с хвостом и рогами и с шерстью, забитой пылью. Вглядевшись получше, он узнал Самушкина.

– Далеко идешь? – поинтересовался Самушкин без особого, кажется, любопытства.

– Куда все, – сказал Чонкин.

– Может, к нам запишешься?

– Это куда же?

– В ад, конечно, куда же еще.

– Ну да, – сказал он, – была охота жариться на сковороде.

– Дурень! – Самушкин возмущенно помотал рогами. – Это про нас враги наши клевету распускают. Да зачем же мы своих-то грешников будем жарить? Если, конечно, праведник попадет, уж этого

мы зажарим, но ты же не праведник. Сколько ты, к примеру, душ загубил?

– Я? – Чонкин посмотрел на него с удивлением. – Да что же я, душегуб?

– А что? Ни одного человека? За всю жизнь?

– Ни одного.

– Вот те на! – пробормотал Самушкин. – Но ведь крал небось, а?

– Было дело, – признался Чонкин. – В колхозе мешок проса...

– В колхозе это не в счет. А вот ты мне скажи, – понадеялся Самушкин, – может, ты с чужими женами жил?

– Нет, – подумав, ответил Чонкин. – Не попадались.

– Ну и дурак, – сказал Самушкин, исчезая.

Вместе с ним исчезли все люди, исчезла дорога, за большим столом, покрытым белой скатертью, на стульях с высокими спинками сидели полковник Добренький и заседатели.

– Кто такой? – строго спросил Добренький.

Один из заседателей глянул в толстую книгу и сказал:

– Раб божий Иван Чонкин. Прибыл по приговору Военного три...

– Знаю, знаю, – перебил Добренький и улыбнулся. – Ну, раб божий Иван, говори, с чем пришел, что ты сделал хорошего в отпущенной тебе жизни?

– Ничего, – перебрав в памяти свою жизнь, сказал Чонкин.

– Этого не может быть, – сказал Добренький. – Ты же недаром жил на свете, что-нибудь хорошее должен был сделать. Ведь, наверное, когда-нибудь кому-нибудь ты помог, протянул руку, вытащил кого-нибудь из воды или огня или последнюю отдал рубаху?

Чонкин подумал. Насчет воды и огня он не помнил, а рубаху... да кто б ее взял?

– Нет, – сказал он со вздохом, – ничего подобного не было.

– Ну ладно, пусть будет так. Но раз ты ничего не делал плохого, уже одно это хорошо. К тому же, являясь лицом невинно, можно сказать, убиенным, ты можешь получить все, чего тебе не хватало или чего очень хотелось в жизни. Что ты хочешь?

– Ничего, – сказал Чонкин.

– Как это ничего? Всякий человек чего-нибудь хочет. Может быть, ты хочешь славы?

– Нет.

– Власти над другими людьми?

– Нет.

– Ну, тогда чего же? Может, просто хорошо жить? Иметь много денег, баб, водки?

– Нет.

– Тогда, может быть, тихой семейной жизни? Может быть, с Нюрой жить хочешь?

– Нет, – покачал головой Чонкин. – Ничего не хочу.

В это время ударил гром, и он пробудился.

В первую минуту он не мог сообразить, где он и что с ним, потом понял, что он в камере, что он жив, он огорчился и заплакал.

В отдохнувшем его теле пробудились желания: хотелось еще поспать, помочиться, поесть, почесать под лопаткой и, что самое неприятное было в его положении, хотелось жить.

Где-то за стенами снова ударил гром, его тряхнуло, он повернул голову – за обрезом верхних нар свет лампочки качался сквозь слезы.

Громыкнуло еще и еще, за дверью кто-то пробежал, стуча сапогами, и громко ругнулся матом.

Потом стало бить подряд, словно кто-то тяжелым молотом крушил стену снаружи. Чонкин понял, что это стреляют из пушек, и стреляют где-то неподалеку. Он не думал о том, кто стреляет, в кого и зачем, но ему почему-то казалось, что эта канонада обещает ему спасение.

Вдруг он забеспокоился, что снаряд попадет сюда и его здесь завалит живого, но удары неожиданно прекратились, и в камере стало тихо.

Вытерев слезы, он спустился с нар, подошел к дверям и прислушался. За дверью было тихо: ни голосов, ни шагов, ни бряканья ключей.

Помочившись в парашу, он хотел снова залечь на нары, но передумал и стал слоняться по камере. Впервые он мог подробно ее рассмотреть, раньше ему было не до этого. Теперь он увидел, что все стены камеры испещрены какими-то надписями, клятвами, угрозами, изречениями, стихами, признаниями в любви и сожалениями о бесцельно прожитых годах. Справа от двери чем-то острым, должно быть гвоздем, было выцарапано лаконичное сообщение: «Здесь сидел инспектор Маслов».

Потом еще всякая ерунда: какие-то цифры в столбик, рисунок с очень простым и доступным смыслом, матерные слова без всякого смысла, рецепт приготовления какого-то блюда с перечислением всех компонентов от баранины до соли и пряностей, фраза «Жил грешно, умер смешно», за ней еще что-то матерное, а за матерным с переходом на другую стену уверенным почерком того же инспектора Маслова: «А все-таки она вертится!» (что вертится, для чего и в какую сторону, сказано не было).

Переходя от стены к стене, Чонкин читал все, что на этих стенах было написано, и сам захотел здесь оставить какое-нибудь назидание потомству или что-нибудь в этом духе. Он отколупнул от нар щепку и подошел к стене. Но стена была уже исписана слишком густо, он мог вставить какие-то слова разве что между строк. Замечательная идея пришла ему в голову. Он подтащил к стене парашу, стал на ее края, теперь он мог писать выше всех. Раз уж смог он подняться выше всех, ему следовало написать что-нибудь необыкновенное, что-нибудь такое... Но ничего такого в голову не приходило, и он, рискуя свалиться вместе с парашей и изрядно потрудившись, написал одно слово: «Чонкин». Только свою фамилию, ничего больше, но зато выше всех. Удовлетворенный, он спрыгнул с параша, отошел к нарам, глянул и обомлел. Его фамилия была высоко, выше самых верхних, может быть, на вершок. Но еще выше, на самом потолке, таким полукругом написано было другое имя. Некий то ли Кузяков, то ли Пузяков, не желая пропасть бесследно, неразборчиво намазал свою фамилию дерьмом, впоследствии окаменевшим. Удивительно было, конечно, не то, что дерьмом (тюремный народ писал кто чем сумеет), удивительно было, что на потолке, как он туда забрался, ведь не муха же, а человек. Чонкин и так ломал голову, и эдак примеривался, никак к этому Ку – или Пузякову даже мысленно подобраться не мог. Вроде и с нар не дотянешься, и сбоку, хоть даже две параша друг на друга поставь, никак не достанешь. Видать, очень ему хотелось, этому Ку – или Пузякову, оставить в памяти хотя бы ближайших поколений зэков недолгую весть о том, что жил на свете человек с такой, в общем, невзрачной фамилией.

Заскрежетал в замке ключ, Чонкин очнулся от своих праздных мыслей. Дверь отворилась, в проеме появился Свинцов, сильно

вооруженный. На боку в парусиновой кобуре висел у него наган, в руках он держал винтовку.

– Выходи! – сказал Свинцов Чонкину и мотнул головой.

«На расстрел!» – обреченно подумал Чонкин, но на всякий случай спросил:

– А шинелку взять можно?

Он так думал, что если на расстрел, то шинель навряд ли дадут, зачем же хорошую вещь зря дырявить?

– Возьми, – сказал Свинцов.

Кроме шинели, он взял и пустой вещмешок, если не на расстрел, тоже авось пригодится.

Во дворе тюрьмы стояла телега, запряженная гнедой низкорослой лошадкой. В телеге было набросано сено. Свинцов взъерошил сено, кинул в него винтовку и кивнул Чонкину:

– Залази!

Чонкин послушно залез, примостился сзади, поджав ноги по-азиатски.

Свинцов сел на облучок, поерзал, устраиваясь поудобнее, разобрал вожжи и концом их слегка хлестнул лошадь. Лошадь вздрогнула и лениво пошла. Телега закрипела, застучала колесами по булыжнику и выкатилась на улицу через никем не охраняемые ворота.

Вскоре выехали из города.

За третьей деревней пошла желтая унылая степь, отороченная вдалеке стеною поблекшего леса.

– Эй, парень! – обернулся Свинцов. – Ты там еще не озяб?

– Не, – сказал Чонкин, – ничего.

Он сидел, нахохлившись, спрятав руки в рукава.

– А ты побегай, погрейся, – предложил Свинцов.

– Неохота.

– А чего ж неохота? Вишь ты как озяб, нос даже совсем посинел. Пробежись, говорю. А то покуда до места доедем, околеешь совсем.

Чонкин хотел спросить, до какого места они должны доехать, но промолчал, а Свинцов, пытаясь увлечь его личным примером, соскочил на землю и побежал рядом с телегой, похлопывая себя по бокам.

– Ох, как хорошо-то! Как здорово! – восклицал он. – Прямо вот чувствуешь, как кровь по жилам бежит. Ух, хорошо!



Но Чонкин и на это ничего не ответил, даже и не посмотрел на Свинцова, и тот, сознавая напрасность своих усилий, опять вскочил в телегу и сердито сопел, отдуваясь.

Они уже приближались к лесу, когда до слуха Чонкина донесся знакомый звук. Он сначала не обратил на этот звук никакого внимания, но потом встрепнулся и стал, глядя наверх, крутить головой. Далеко на горизонте он увидел маленькую точку. От этой точки и шел звук. «Самолет!» – мысленно ахнул Чонкин. Но тут же сам себя осадил, вспомнив, как однажды принял за самолет комара. Теперь он не верил ни своим глазам, ни предчувствиям. Он зажмурился. Но звук продолжался... Больше того, с каждой секундой он нарастал и становился все более мощным.

Чонкин открыл глаза и увидел настоящий самолет. Теперь уже в этом не было никаких сомнений.

– Самолет! – крикнул Чонкин и ткнул Свинцова кулаком в спину.

– Ну и что, что самолет, – сказал Свинцов. – Впервые, что ли, видишь?

– Дурила! – закричал Чонкин. – И как же ты не можешь понять глупой своей головой! Дак ведь это ж за мной!

– Ну да! – усмехнулся, не веря, Свинцов.

– Вот тебе и «ну да». Эгей! – Чонкин вскочил на ноги, сорвал с головы пилотку и стал ею размахивать, приглашая летчиков снизиться. – Эй, ты! – кричал он, подпрыгивая в трясущейся телеге и не заботясь о равновесии. – Давай сюда! Вот он я, здесь!

Словно отвечая на призыв Чонкина, самолет резко клюнул носом и, набирая скорость, пошел на снижение.

– Давай! – кричал Чонкин, размахивая пилоткой. – Садися! На дорогу садися!

В его сознании все произошло как бы отдельно. Сначала он увидел, как вспорол на повороте дорогу. Фонтанчики пыли брызнули вверх и выстроились в ряд, соскользнувший к обочине. Потом уже услышал пулеметную очередь. Над самой головой Чонкина с ужасным воем самолет круто взмыл вверх, и Иван увидел на крыльях отчетливые кресты. Он не успел удивиться, потому что в это время лошадь рванула и понесла. Чонкин, потеряв равновесие, свалился с телеги.

Некоторое время он лежал, и ему казалось, что он убит. Самолет еще раз прошел над ним. Чонкин съежился. Самому себе он казался огромным, слишком огромным пятном на пыльной дороге. Он понимал, что надо укрыться хотя бы за придорожные кусты, где он был бы не так заметен, но у него не хватало для этого сил. Наконец он поднялся и тут в третий раз увидел над собой самолет. Летчик, видимо, не ожидал, что Чонкин поднимется. Он дал очередь, но было поздно, пули вспороли землю далеко впереди.

– Во! – вскочив на ноги, крикнул Чонкин и покрутил у виска пальцем. – Дурак ненормальный!

Наверное, летчик обиделся. Но пока он выполнял боевой разворот, Чонкин со всех ног кинулся к лесу. И, вбежав в лес, прильнул грудью к большой сосне. Снова приблизился рев мотора. Мелькнули в просвете крылья с крестами, но на этот раз летчик Чонкина не увидел, и последняя очередь по кустам была уже совсем невпопад.

Выждав сколько-то времени и видя, что самолет не возвращается, Чонкин оторвался от сосны и двинулся дальше. Он шел напрямую, не зная куда и зачем, но зная почему и откуда, шел, впервые сознательно нарушив обязанности солдата и заключенного, впервые уклоняясь от уготованной ему судьбы.

Пройдя через болото и колючий кустарник, оказался он на неширокой поляне, посреди которой лежало большое трухлявое дерево с обрубленными ветвями.

Чонкин огляделся. Вокруг было тихо и мирно. Непуганый дятел долбил верхушку полуиссохшей сосны, и в осенней тоске где-то заливалась кукушка.

Он сел на ствол трухлявого дерева, перемотал одну портянку, принялся за вторую. Вдруг зашевелились и затрещали кусты.

«Медведь!» – обмирая, подумал Чонкин и с ботинком в руках вскочил на ноги.

Кусты раздвинулись, и на поляне, с расцарапанной щекой, с винтовкой и пустым вещмешком Чонкина, появился Свинцов. Глядя на Чонкина исподлобья, он приближался. Отступая вдоль дерева, Чонкин сбросил для удобства портянку и переложил ботинок из своей левой руки в правую. Ботинок, конечно, не граната и против винтовки оружие слабое, но если бы залепить им удачно в лоб...

– На, держи! – сказал Свинцов и кинул винтовку как на ученье.

Чонкин успел выронить ботинок и схватить винтовку, но ушиб большой палец.

– И это держи! – И у его ног плавно опустился пустой вещмешок.

Свинцов сел на дерево и, трогая корявым пальцем царапину на щеке, кратко объяснил свое поведение:

– Надумал и я от них убежать. – И криво усмехнулся. – Надоели.

Было как-то странно, чудно, непонятно. Обдумывая происшедшее, Чонкин подобрал портянку, сел поодаль от Свинцова. С одного конца портянка была совсем мокрая, с другого еще ничего. Отжав мокрый конец, он сухой приложил к ступне и стал пеленать ее, как ребенка.

– Демаскируешь, – покрутил носом Свинцов.

– Чего? – не понял Чонкин.

– Мотай, говорю, скорее, а то нас с тобой тут унюхают.

– А-а, – сказал Чонкин и, приняв слова Свинцова всерьез, заторопился.

Покончив с портянкой, натянул ботинок, поглядел на него критически – надолго не хватит.

Свинцов достал папиросы, одну протянул Чонкину, и тот взял ее осторожно, все еще опасаясь подвоха.

Закурили.

– Ну что, – сказал Свинцов, помолчав, – далее вместе пойдем или же каждый поврозь?

– Куда идтить-то? – грустно вздохнул Чонкин.

– Куда? – переспросил Свинцов. – Да по лесам будем шататься. Поглубже зайдем, салаш построим и станем жить на воле, как хичники. А чего? – Свинцов вскинул голову. – Оружие есть, патроны есть, дичи всяческой настреляем, грибов, ягод засушим, компот варить будем. Компот любишь?

– Компот? – Чонкин посмотрел на Свинцова как на придурка. – Надо же! – покрутил головой. – Компот, говорит. Да для компота же сахар нужен.

– От сахара зубы болят, – возразил Свинцов, усмехаясь. – А вот, конечно бы, соли, да табачку, да спичек запаста надо. Ну ничего. До Красного дочапаем, там поглядим. Ежели все спокойно, забежишь к Нюрке, на первое время чего надо возьмешь. Ну, побалуешься с ней напоследок. Оставаться не советую. Пымают. Согласный?

Насчет всего прочего Чонкин еще не обдумал, а встретиться с Нюрой хоть ненадолго желалось ему даже очень.

Вечерело, когда приблизились к Красному.

Оставив винтовку Свинцову, Чонкин вышел из лесу с пустым вещмешком. Пройдя часть пути берегом Тёпы, поднялся он к стоявшим на отшибе амбарам и за ними долго таился, однако из-за амбаров ни черта не было видно.

Перебежал к Нюриной избе, ткнулся в дверь – заперта. Хотел было сунуться за ключом под половицу, да, услышав отдаленные голоса, взгляделся и увидел, что в сумерках возле конторы снова народ сгустился, а на дороге, покрытая пылью, стоит легковая машина.

«Неужли обратно митинг?» – подумал Чонкин и, раздираемый опасным для него любопытством, двинулся сперва к забору, потом к

избе Гладышева и короткой перебежкой к машине, а уж от нее к конторе.

Народ стоял, тесно сомкнувшись. Чонкин привстал на цыпочки, выдвинул вперед подбородок и раскрыл рот.

На крыльце конторы худой длинный немец в черном мундире и в очках размахивал руками, выкрикивая:

– Крестьяне! Победоносная германская армия пришла к вам на помощь и навсегда освободила вас от власти большевиков. Евреи и комиссары никогда больше не будут вас грабить. Германское верховное командование надеется, что вы с благодарностью встретите своих освободителей и добровольно сдадите излишки продуктов нашим уполномоченным.

Широко расставив ноги, впереди всех в своей широкополой соломенной шляпе стоял Кузьма Гладышев.

– Правильно! – говорил он, в нужных местах ударяя в ладоши.

Чонкин попятился назад к машине и, никем не замеченный, покинул деревню.

---

**notes**

# Примечания

# 1

Рамзай – судя по уточненным данным, кличка известного советского разведчика Рихарда Зорге. (Всепримеч. авт.)

**2**

Канарис – шеф абвера (немецкой военной разведки).



### 3

Законсервированный – очевидно, специальный термин. Трудно предположить, чтобы личный агент адмирала Канариса был законсервирован в буквальном смысле, то есть запечатан в жестяную банку. Впрочем, некоторые агенты, я слышал, бывают весьма неприхотливы.

4

Тов. Лаврентьев – кличка Л.П. Берия.

## 5

Имя Рихарда Зорге в то время было известно весьма узкому кругу лиц, в число которых Лужин, видимо, не входил.

# 6

БСМ – бригада содействия милиции.

В сноске автор просил не путать последних с Буцефалом, конем Александра Македонского.

## 8

Стремясь к наибольшей объективности, я лично думаю, что он был не орел и не свинья, а что-то среднее.

**9**

Помощник коменданта обер-лейтенант Майер у аппарата (нем.).

# Содержание

[Владимир Войнович Претендент на престол](#)

[Часть первая От тюрьмы да сумы...](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[28](#)

[29](#)

[30](#)

[31](#)



32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39

Часть вторая Побег

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

[29](#)  
[30](#)  
[31](#)  
[32](#)  
[33](#)  
[34](#)  
[35](#)  
[36](#)  
[37](#)  
[38](#)  
[39](#)  
[40](#)  
[41](#)  
[42](#)  
[43](#)  
[44](#)  
[45](#)  
[46](#)  
[47](#)  
[48](#)  
[49](#)  
[50](#)  
[51](#)  
[52](#)  
[53](#)  
[54](#)  
[55](#)  
[56](#)  
[57](#)  
[58](#)  
[59](#)  
[60](#)  
[61](#)  
[62](#)  
[63](#)  
[64](#)  
[65](#)

66

67

68

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9